

Сергей Аксаков

Детские годы Багрова-внука

К ЧИТАТЕЛЯМ

Я написал отрывки из «Семейной хроники»¹ по рассказам семейства гг. Багровых, как известно моим благосклонным читателям. В эпилоге к пятому и последнему отрывку я простился с описанными мною личностями, не думая, чтобы мне когда-нибудь привелось говорить о них. Но человек часто думает ошибочно: внук Степана Михайлыча Багрова рассказал мне с большими подробностями историю своих детских годов; я записал его рассказы с возможною точностью, а как они служат продолжением «Семейной хроники», так счастливо обратившей на себя внимание читающей публики, и как рассказы эти представляют довольно полную историю дитяти, жизнь человека в детстве, детский мир, созидающийся постепенно под влиянием ежедневных, новых впечатлений, – то я решился напечатать записанные мною рассказы. Желая, по возможности, передать живость изустного повествования, я везде говорю прямо от лица рассказчика. Прежние лица «Хроники» выходят опять на сцену, а старшие, то есть дедушка и бабушка, в продолжение рассказа оставляют ее навсегда... Снова поручаю моих Багровых благосклонному вниманию читателей.

С.Аксаков

ВСТУПЛЕНИЕ

Я сам не знаю, ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память? Если я помню действительно случившиеся события, то это назвать воспоминаниями не только детства, но даже младенчества. Разумеется, я ничего не помню в связи, в непрерывной последовательности, но многие случаи живут в моей памяти до сих пор со всею яркостью красок, со всею живостью вчерашнего события. Будучи лет трех или четырех, я рассказывал окружающим меня, что помню, как отнимали меня от кормилицы... Все смеялись моим рассказам и уверяли, что я наслушался их от матери или няньки и подумал, что это я сам видел. Я спорил и в доказательство приводил иногда такие обстоятельства, которые не могли мне быть рассказаны и которые могли знать только я да моя кормилица или мать. Наводили справки, и часто оказывалось, что действительно дело было так и что рассказать мне о нем никто не мог. Но не все, казавшееся мне виденным, видел я в самом деле; те же справки иногда доказывали, что многого я не мог видеть, а мог только слышать.

Итак, я стану рассказывать из доисторической, так сказать, эпохи моего детства только то, в действительности чего не могу сомневаться.

ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Самые первые предметы, уцелевшие на ветхой картине давно прошедшего, картине, сильно полинявшей в иных местах от времени и потока шестидесяти годов, предметы и образы, которые еще носятся в моей памяти, – кормилица, маленькая сестрица и мать; тогда они не имели для меня никакого определенного значенья и были только безыменными образами. Кормилица представляется мне сначала каким-то таинственным, почти невидимым существом. Я помню себя лежащим ночью то в кроватке, то на руках матери и горько плачущим: с рыданием и воплями повторял я одно и то же слово, призывая кого-то, и

¹ «Семейная хроника» С.Т.Аксакова вышла из печати в 1856 году, за два года до того, как вышли в свет «Детские годы Багрова-внука».

кто-то являлся в сумраке слабоосвещенной комнаты, брал меня на руки, клал к груди... и мне становилось хорошо. Потом помню, что уже никто не являлся на мой крик и призывы, что мать, прижав меня к груди, напевая одни и те же слова успокоительной песни, бегала со мной по комнате до тех пор, пока я засыпал. Кормилица, страстно меня любившая, опять несколько раз является в моих воспоминаниях, иногда вдали, украдкой смотрящая на меня из-за других, иногда целующая мои руки, лицо и плачущая надо мною. Кормилица моя была господская крестьянка и жила за тридцать верст; она отправлялась из деревни пешком в субботу вечером и приходила в Уфу рано поутру в воскресенье; наглядевшись на меня и отдохнув, пешком же возвращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину. Помню, что она один раз приходила, а может быть и приезжала как-нибудь, с моей молочной сестрой, здоровой и краснощекой девочкой.

Сестрицу я любил сначала больше всех игрушек, больше матери, и любовь эта выражалась беспрестанным желаньем ее видеть и чувством жалости: мне все казалось, что ей холодно, что она голодна и что ей хочется кушать; я беспрестанно хотел одеть ее своим платьицем и кормить своим кушаньем; разумеется, мне этого не позволяли, и я плакал. Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием. Ее образ неразрывно соединяется с моим существованием, и потому он мало выдается в отрывочных картинах первого времени моего детства, хотя постоянно участвует в них.

Тут следует большой промежуток, то есть темное пятно или полинявшее место в картине давно минувшего, и я начинаю себя помнить уже очень больным, и не в начале болезни, которая тянулась с лишком полтора года, не в конце ее (когда я уже оправлялся), нет, именно помню себя в такой слабости, что каждую минуту опасались за мою жизнь. Один раз, рано утром, я проснулся или очнулся, и не узнаю, где я. Все было незнакомо мне: высокая, большая комната, голые стены из претолстых новых сосновых бревен, сильный смолистый запах; яркое, кажется летнее, солнце только что всходит и сквозь окно с правой стороны, поверх рединного полога,² который был надо мною опущен, ярко отражается на противоположной стене... Подле меня тревожно спит, без подушек и нераздетая, моя мать. Как теперь, гляжу на черную ее косу, растрепавшуюся по худому и желтому ее лицу. Меня накануне перевезли в подгородную деревню Зубовку, верстах в десяти от Уфы. Видно, дорога и произведенный движением спокойный сон подкрепили меня; мне стало хорошо и весело, так что я несколько минут с любопытством и удовольствием рассматривал сквозь полог окружающие меня новые предметы. Я не умел поберечь сна бедной моей матери, тронул ее рукой и сказал: «Ах, какое солнышко! Как хорошо пахнет!» Мать вскочила, в испуге сначала, и потом обрадовалась, вслушавшись в мой крепкий голос и взглянув на мое посвежевшее лицо. Как она меня ласкала, какими называла именами, как радостно плакала... этого не расскажешь! Полог подняли; я попросил есть, меня покормили и дали мне выпить полрюмки старого рейнвейну,³ который, как думали тогда, один только и подкреплял меня. Рейнвейну налили мне из какой-то странной бутылки со сплюснутым, широким, круглым дном и длинною узенькою шейкою. С тех пор я не видывал таких бутылок. Потом, по просьбе моей, достали мне кусочки или висюльки сосновой смолы, которая везде по стенам и косякам топилась, капала, даже текла понемножку, застывая и засыхая на дороге и висая в воздухе маленькими сосульками, совершенно похожими своим наружным видом на обыкновенные ледяные сосульки. Я очень любил запах сосновой и еловой смолы, которую курили иногда в наших детских комнатах. Я понюхал, полюбовался, поиграл душистыми и прозрачными смоляными сосульками; они растаяли у меня в руках и склеили мои худые, длинные пальцы; мать вымыла мне руки, вытерла их насухо, и я стал дремать...

Предметы начали мешаться в моих глазах; мне казалось, что мы едем в карете, что мне

² Рединный полог – занавес из рядна, то есть неплотного, редкого

³ Рейнвейн – сладкое виноградное вино.

хотят дать лекарство и я не хочу принимать его, что вместо матери стоит подле меня нянька Агафья или кормилица... Как заснул я и что было после – ничего не помню.

Часто припоминаю я себя в карете, даже не всегда запряженной лошадьми, не всегда в дороге. Очень помню, что мать, а иногда нянька держит меня на руках, одетого очень тепло, что мы сидим в карете, стоящей в сарае, а иногда вывезенной на двор; что я хнычу, повторяя слабым голосом: «Супу, супу», которого мне давали понемножку, несмотря на болезненный, мучительный голод, сменявшийся иногда совершенным отвращением от пищи. Мне сказывали, что в карете я плакал менее и вообще был гораздо спокойнее. Кажется, господа доктора в самом начале болезни дурно лечили меня и наконец залечили почти до смерти, доведя до совершенного ослабления пищеварительные органы; а может быть, что мнительность, излишние опасения страстной матери, беспрестанная перемена лекарств были причиной отчаянного положения, в котором я находился.

Я иногда лежал в забытии, в каком-то среднем состоянии между сном и обмороком; пульс почти переставал биться, дыхание было так слабо, что прикладывали зеркало к губам моим, чтобы узнать, жив ли я; но я помню многое, что делали со мной в то время и что говорили около меня, предполагая, что я уже ничего не вижу, не слышу и не понимаю, – что я умираю. Доктора и все окружающие давно осудили меня на смерть: доктора – по несомненным медицинским признакам, а окружающие – по несомненным дурным приметам, неосновательность и ложность которых оказались на мне весьма убедительно. Страданий матери моей описать невозможно, но восторженное присутствие духа и надежда спасти свое дитя никогда ее не оставляли.

«Матушка Софья Николаевна, – не один раз говорила, как я сам слышал, преданная ей душою дальняя родственница Чепрунова, – перестань ты мучить свое дитя; ведь уж и доктора и священник сказали тебе, что он не жилец. Покорись воле божией: положи дитя под образа, затепли свечку и дай его ангельской душеньке выйти с покоем из тела. Ведь ты только мешаешь ей и тревожишь ее, а пособить не можешь...» Но с гневом встречала такие речи моя мать и отвечала, что, покуда искра жизни тлеется во мне, она не перестанет делать все, что может, для моего спасенья, – и снова клала меня, бесчувственного, в крепительную ванну, вливая в рот рейнвейну или бульону, целые часы растирала мне грудь и спину голыми руками, а если и это не помогало, то наполняла легкие мои своим дыханьем – и я, после глубокого вздоха, начинал дышать сильнее, как будто просыпался к жизни, получал сознание, начинал принимать пищу и говорить, и даже поправлялся на некоторое время. Так бывало не один раз. Я даже мог заниматься своими игрушками, которые расставляли подле меня на маленьком столике; разумеется, все это делал я, лежа в кровати, потому что едва шевелил своими пальцами.

Но самое главное мое удовольствие состояло в том, что приносили ко мне мою милую сестрицу, давали поцеловать, погладить по головке, а потом нянька садилась с нею против меня, и я подолгу смотрел на сестру, указывая то на одну, то на другую мою игрушку и приказывая подавать их сестрице. Заметив, что дорога мне как будто полезна, мать ездила со мной беспрестанно: то в подгородные деревушки своих братьев, то к знакомым помещикам; один раз, не знаю куда, сделали мы большое путешествие; отец был с нами. Дорогой, довольно рано поутру, почувствовал я себя так дурно, так я ослабел, что принуждены были остановиться; вынесли меня из кареты, постлали постель в высокой траве лесной поляны, в тени деревьев, и положили почти безжизненного. Я все видел и понимал, что около меня делали. Слышал, как плакал отец и утешал отчаянную мать, как горячо она молилась, поднимая руки к небу. Я все слышал и видел явственно и не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться – и вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. Лес, тень, цветы, ароматный воздух мне так понравились, что я упросил не трогать меня с места. Так и простояли мы тут до вечера. Лошадей выпрягли и пустили на траву близехонько от меня, и мне это было приятно. Где-то нашли родниковую воду; я слышал, как толковали об этом; развели огонь, пили чай, а мне дали выпить отвратительной римской ромашки с рейнвейном, приготовили кушанье, обедали, и все отдыхали, даже мать моя спала долго. Я

не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие и спокойствие, или, вернее сказать, я не понимал, что чувствовал, но мне было хорошо. Уже довольно поздно вечером, несмотря на мои просьбы и слезы, положили меня в карету и перевезли в ближайшую на дороге татарскую деревню, где и ночевали. На другой день поутру я чувствовал себя также свежее и лучше против обыкновенного. Когда мы воротились в город, моя мать, видя, что я стал немножко покрепче, и сообразя, что я уже с неделю не принимал обыкновенных микстур и порошков, помолилась богу и решила оставить уфимских докторов, а принялась лечить меня по домашнему лечебнику Бухана. Мне становилось час от часу лучше, и через несколько месяцев я был уже почти здоров; но все это время, от кормежки на лесной поляне до настоящего выздоровления, почти совершенно изгладилось из моей памяти. Впрочем, одно происшествие я помню довольно ясно; оно случилось, по уверению меня окружающих, в самой середине моего выздоровления...

Чувство жалости ко всему страдающему доходило во мне, в первое время моего выздоровления, до болезненного излишества. Прежде всего это чувство обратилось на мою маленькую сестрицу: я не мог видеть и слышать ее слез или крика и сейчас начинал сам плакать; она же была в это время нездорова.

Сначала мать приказала было перевести ее в другую комнату; но я, заметив это, пришел в такое волнение и тоску, как мне после говорили, что поспешили возвратить мне мою сестрицу. Медленно поправляясь, я не скоро начал ходить и сначала целые дни, лежа в своей кроватке и посадив к себе сестру, забавлял ее разными игрушками или показываньем картинок. Игрушки у нас были самые простые: небольшие гладкие шарики или кусочки дерева, которые мы называли чурочками; я строил из них какие-то клетки, а моя подруга любила разрушать их, махнув своей ручонкой. Потом начал я бродить и сидеть на окошке, растворенном прямо в сад. Всякая птичка, даже воробей, привлекала мое внимание и доставляла мне большое удовольствие. Мать, которая все свободное время от посещения гостей и хозяйственных забот проводила около меня, сейчас достала мне клетку с птичками и пару ручных голубей, которые ночевали под моей кроваткой. Мне рассказывали, что я пришел от них в такое восхищение и так его выражал, что нельзя было смотреть равнодушно на мою радость. Один раз, сидя на окошке (с этой минуты я все уже твердо помню), услышал я какой-то жалобный визг в саду; мать тоже его услышала, и когда я стал просить, чтобы послали посмотреть, кто это плачет, что «верно, кому-нибудь больно», – мать послала девушку, и та через несколько минут принесла в своих пригоршнях крошечного, еще слепого, щеночка, который, весь дрожа и не твердо опираясь на свои кривые лапки, тыкаясь во все стороны головой, жалобно визжал, или скучал, как выражалась моя нянька. Мне стало так его жаль, что я взял этого щеночка и закутал его своим платьем. Мать приказала принести на блюдечке тепленького молочка, и после многих попыток, толкая рыльцем слепого кутенка в молоко, выучили его лакать. С этих пор щенков по целым часам со мной не расставался; кормить его по несколько раз в день сделалось моей любимой забавой; его называли Суркой, он сделался потом небольшой дворняжкой и жил у нас семнадцать лет, разумеется уже не в комнате, а на дворе, сохраняя всегда необыкновенную привязанность ко мне и к моей матери.

Выздоровление мое считалось чудом, по признанию самих докторов. Мать приписывала его, во-первых, бесконечному милосердию божию, а во-вторых, лечебнику Бухана. Бухан получил титул моего спасителя, и мать приучила меня в детстве молиться богу за упокой его души при утренней и вечерней молитве. Впоследствии она где-то достала гравированный портрет Бухана, и четыре стиха, напечатанные под его портретом на французском языке, были кем-то переведены русскими стихами, написаны красиво на бумажке и наклеены сверх французских. Все это, к сожалению, давно исчезло без следа.

Я приписываю мое спасение, кроме первой вышеприведенной причины, без которой ничто совершиться не могло, – неусыпному уходу, неослабному попечению, безграничному вниманию матери и дороге, то есть движению и воздуху. Внимание и попечение было вот

какое: постоянно нуждаясь в деньгах, перебиваясь, как говорится, с копейки на копейку, моя мать доставала старый рейнвейн в Казани, почти за пятьсот верст, через старинного приятеля своего покойного отца, кажется, доктора Рейслеяна, за вино платилась неслыханная тогда цена, и я пил его понемногу, несколько раз в день. В городе Уфе не было тогда так называемых французских белых хлебов – и каждую неделю, то есть каждую почту, щедро вознаграждаемый почтальон привозил из той же Казани по три белых хлеба. Я сказал об этом для примера; точно то же соблюдалось во всем. Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни: едва он начинал угасать, она питала его магнетическим излиянием собственной жизни, собственного дыхания. Прочла ли она об этом в какой-нибудь книге или сказал доктор – не знаю. Чудное целительное действие дороги не подлежит сомнению. Я знал многих людей, от которых отступались доктора, обязанных ей своим выздоровлением. Я считаю также, что двенадцатичасовое лежание в траве на лесной поляне дало первый благотворный толчок моему расслабленному телесному организму. Не один раз я слышал от матери, что именно с этого времени сделалась маленькая перемена к лучшему.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

После моего выздоровления я начинаю помнить себя уже дитятей, не крепким и резвым, каким я сделался впоследствии, но тихим, кротким, необыкновенно жалостливым, большим трусом и в то же время беспрестанно, хотя медленно, уже читающим детскую книжку с картинками, под названием «Зеркало добродетели». Как и когда я выучился читать, кто меня учил и по какой методе – решительно не знаю; но писать я учился гораздо позднее и как-то очень медленно и долго. Мы жили тогда в губернском городе Уфе и занимали огромный зубинский деревянный дом, купленный моим отцом, как я после узнал, с аукциона за триста рублей ассигнациями. Дом был обит тесом, но не выкрашен; он потемнел от дождей, и вся эта громада имела очень печальный вид. Дом стоял на косогоре, так что окна в сад были очень низки от земли, а окна из столовой на улицу, на противоположной стороне дома, возвышались аршина три над землей; парадное крыльцо имело более двадцати пяти ступенек, и с него была видна река Белая почти во всю свою ширину. Две детские комнаты, в которых я жил вместе с сестрой, выкрашенные по штукатурке голубым цветом, находившиеся возле спальни, выходили окошками в сад, и посаженная под ними малина росла так высоко, что на целую четверть заглядывала к нам в окна, что очень веселило меня и неразлучного моего товарища – маленькую сестрицу. Сад, впрочем, был хотя довольно велик, но не красив: кое-где ягодные кусты смородины, крыжовника и барбариса, десятка два-три тощих яблонь, круглые цветники с ноготками, шафранами и астрами, и ни одного большого дерева, никакой тени; но и этот сад доставлял нам удовольствие, особенно моей сестрице, которая не знала ни гор, ни полей, ни лесов; я же изъездил, как говорили, более пятисот верст: несмотря на мое болезненное состояние, величие красот божьего мира незаметно ложилось на детскую душу и жило без моего ведома в моем воображении; я не мог удовольствоваться нашим бедным городским садом и беспрестанно рассказывал моей сестре, как человек бывалый, о разных чудесах, мною виденных; она слушала с любопытством, устремив на меня, полные напряженного внимания, свои прекрасные глазки, в которых в то же время ясно выражалось: «Братец, я ничего не понимаю». Да и что мудреного: рассказчику только пошел пятый год, а слушательнице – третий.

Я сказал уже, что был робок и даже трусоват; вероятно, тяжкая и продолжительная болезнь ослабила, утончила, довела до крайней восприимчивости мои нервы, а может быть, и от природы я не имел храбрости. Первые ощущения страха поселили во мне рассказы няньки. Хотя она собственно ходила за сестрой моей, а за мной только присматривала, и хотя мать строго запрещала ей даже разговаривать со мною, но она иногда успевала сообщить мне кое-какие известия о буке, о домовых и мертвецах. Я стал бояться ночной темноты и даже днем боялся темных комнат. У нас в доме была огромная зала, из которой две двери вели в две небольшие горницы, довольно темные, потому что окна из них выходили в длинные

сени, служившие коридором; в одной из них помещался буфет, а другая была заперта; она некогда служила рабочим кабинетом покойному отцу моей матери; там были собраны все его вещи: письменный стол, кресло, шкаф с книгами и проч. Нянька сказала мне, что там видят иногда покойного моего дедушку Зубина, сидящего за столом и разбирающего бумаги. Я так боялся этой комнаты, что, проходя мимо нее, всегда зажимивал глаза. Один раз, идучи по длинным сеням, забывшись, я взглянул в окошко кабинета, вспомнил рассказ няньки, и мне почудилось, что какой-то старик в белом шлафроке⁴ сидит за столом. Я закричал и упал в обморок. Матери моей не было дома. Когда она воротилась и я рассказал ей обо всем случившемся и обо всем, слышанном мною от няни, она очень рассердилась: приказала отпереть дедушкин кабинет, ввела меня туда, дрожащего от страха, насильно и показала, что там никого нет и что на креслах висело какое-то белье. Она употребила все усилия растолковать мне, что такие рассказы – вздор и выдумки глупого невежества. Няньку мою она прогнала и несколько дней не позволяла ей входить в нашу детскую. Но крайность заставила призвать эту женщину и опять приставить к нам; разумеется, строго запретили ей рассказывать подобный вздор и взяли с нее клятвенное обещание никогда не говорить о простонародных предрассудках и поверьях; но это не вылечило меня от страха. Нянька наша была странная старуха, она была очень к нам привязана, и мы с сестрой ее очень любили.

Когда ее сослали в людскую и ей не позволено было даже входить в дом, она прокрадывалась к нам ночью, целовала нас сонных и плакала. Я это видел сам, потому что один раз ее ласки разбудили меня. Она ходила за нами очень усердно, но, по закоренелому упрямству и невежеству, не понимала требований моей матери и потихоньку делала ей все наперекор. Через год ее совсем отослали в деревню. Я долго тосковал: я не умел понять, за что маменька так часто гневалась на добрую няню, и оставался в том убеждении, что мать просто ее не любила.

Я всякий день читал свою единственную книжку «Зеркало добродетели» моей маленькой сестрице, никак не догадываясь, что она еще ничего не понимала, кроме удовольствия смотреть картинки. Эту детскую книжку я знал тогда наизусть всю; но теперь только два рассказа и две картинки из целой сотни остались у меня в памяти, хотя они, против других, ничего особенного не имеют. Это «Признательный лев» и «Сам себя одевающий мальчик». Я помню даже физиономию льва и мальчика! Наконец «Зеркало добродетели» перестало поглощать мое внимание и удовлетворять моему ребячьему любопытству, мне захотелось почитать других книжек, а взять их решительно было негде, тех книг, которые читывали иногда мой отец и мать, мне читать не позволяли. Я принялся было за «Домашний лечебник Бухана», но и это чтение мать сочла почему-то для моих лет неудобным; впрочем, она выбирала некоторые места и, отмечая их закладками, позволяла мне их читать; и это было в самом деле интересное чтение, потому что там описывались все травы, соли, коренья и все медицинские снадобья, о которых только упоминается в лечебнике. Я перечитывал эти описания в позднейшем возрасте и всегда с удовольствием, потому что все это изложено и переведено на русский язык очень толково и хорошо. Благодетельная судьба скоро послала мне неожиданное новое наслаждение, которое произвело на меня сильнейшее впечатление и много расширило тогдашний круг моих понятий. Против нашего дома жил в собственном же доме С.И.Аничков, старый богатый холостяк, слывший очень умным и даже ученым человеком; это мнение подтверждалось тем, что он был когда-то послан депутатом от Оренбургского края в известную комиссию, собранную Екатериною Второй для рассмотрения существующих законов. Аничков очень гордился, как мне рассказывали, своим депутатством и смело поговаривал о своих речах и действиях, не принесших, впрочем, по его собственному признанию, никакой пользы. Аничкова не любили, а только уважали и даже прибаивались его резкого языка и негибкого нрава. К моему отцу и матери он благоволил и даже давал взаймы денег, которых просить у

⁴ Шлафрок (нем.) – домашний халат.

него никто не смел. Он услышал как-то от моих родителей, что я мальчик прилежный и очень люблю читать книжки, но что читать нечего. Старый депутат, будучи просвещеннее других, естественно, был покровителем всякой любознательности. На другой день вдруг присылает он человека за мною; меня повел сам отец. Аничков, расспросив хорошенько, что я читал, как понимаю прочитанное и что помню, остался очень доволен: велел подать связку книг и подарил мне... О счастье!.. «Детское чтение для сердца и разума»,⁵ изданное безденежно при «Московских ведомостях» Н.И.Новиковым.

Я так обрадовался, что чуть не со слезами бросился на шею старику и, не помня себя, запрыгал и побежал домой, оставя своего отца беседовать с Аничковым. Помню, однако, благосклонный и одобрительный хохот хозяина, загремевший в моих ушах и постепенно умолкавший по мере моего удаления.

Боясь, чтоб кто-нибудь не отнял моего сокровища, я пробежал прямо через сени в детскую, лег в свою кроватку, закрылся пологом, развернул первую часть – и позабыл все меня окружающее. Когда отец воротился и со смехом рассказал матери все происходившее у Аничкова, она очень встревожилась, потому что и не знала о моем возвращении. Меня отыскивали лежащего с книжкой.

Мать рассказывала мне потом, что я был точно как помешанный: ничего не говорил, не понимал, что мне говорят, и не хотел идти обедать. Должны были отнять книжку, несмотря на горькие мои слезы. Угроза, что книги отнимут совсем, заставила меня удержаться от слез, встать и даже обедать. После обеда я опять схватил книжку и читал до вечера. Разумеется, мать положила конец такому иступленному чтению: книги заперла в свой комод и выдавала мне по одной части, и то в известные, назначенные ею, часы. Книжек всего было двенадцать, и те не по порядку, а разрозненные. Оказалось, что это не полное собрание «Детского чтения», состоявшего из двадцати частей. Я читал свои книжки с восторгом и, несмотря на разумную бережливость матери, прочел все с небольшим в месяц. В детском уме моем произошел совершенный переворот, и для меня открылся новый мир... Я узнал в «рассуждении о громах», что такое молния, воздух, облака; узнал образование дождя и происхождение снега. Многие явления в природе, на которые я смотрел бессмысленно, хотя и с любопытством, получили для меня смысл, значение и стали еще любопытнее. Муравьи, пчелы и особенно бабочки с своими превращениями из яичек в червяка, из червяка в хризалиду и наконец из хризалиды в красивую бабочку – овладели моим вниманием и сочувствием; я получил непреодолимое желание все это наблюдать своими глазами. Собственно нравоучительные статьи производили менее впечатления, но как забавляли меня «смешной способ ловить обезьян» и басня «о старом волке», которого все пастухи от себя прогоняли! Как восхищался я «золотыми рыбками»!

С некоторого времени стал я замечать, что мать моя нездорова. Она не лежала в постели, но худела, бледнела и теряла силы с каждым днем. Нездоровье началось давно, но я этого сперва не видел и не понимал причины, от чего оно происходило. Только впоследствии узнал я из разговоров меня окружавших людей, что мать сделалась больна от телесного истощения и душевных страданий во время моей болезни. Ежеминутная опасность потерять страстно любимое дитя и усилия сохранить его напрягали ее нервы и придавали ей неестественные силы и как бы искусственную бодрость; но когда опасность миновалась – общая энергия упала, и мать начала чувствовать ослабление: у нее заболела грудь, бок, и наконец появилось лихорадочное состояние; те же самые доктора, которые так безуспешно лечили меня и которых она бросила, принялись лечить ее. Я услышал, как она говорила моему отцу, что у нее начинается чахотка. Я не знаю, до какой степени это было справедливо, потому что больная была, как все утверждали, очень мнительна, и не знаю,

⁵ «Детское чтение для сердца и разума» – первый русский детский журнал, выходивший как еженедельное приложение к газете «Московские ведомости», издавался Н.И.Новиковым в 1785–1789 годах. В журнале печатались статьи по физике, истории, географии, были также и произведения художественной литературы.

притворно или искренно, но мой отец и доктора уверяли ее, что это неправда.

Я имел уже смутное понятие, что чахотка какая-то ужасная болезнь. Сердце у меня замерло от страха, и мысль, что я причиною болезни матери, мучила меня беспрестанно. Я стал плакать и тосковать, но мать умела как-то меня разуверить и успокоить, что было и не трудно при ее беспредельной нравственной власти надо мною. Не имея полной доверенности к искусству уфимских докторов, мать решилась ехать в Оренбург, чтоб посоветоваться там с доктором Деобольтом, который славился во всем крае чудесными излечениями отчаянно больных. Она сама сказала мне об этом с веселым видом и уверила, что возвратится здоровою. Я совершенно поверил, успокоился, даже повеселел и начал приставать к матери, чтоб она ехала поскорее. Но для этой поездки надобно было иметь деньги, а притом куда девать, на кого оставить двух маленьких детей? Я вслушивался в беспрестанные разговоры об этом между отцом и матерью и наконец узнал, что дело уладилось: денег дал тот же мой книжный благодетель С.И.Аничков, а детей, то есть нас с сестрой, решились завезти в Багрово и оставить у бабушки с дедушкой. Я был очень доволен, узнав, что мы поедем на своих лошадях и что будем в поле кормить. У меня сохранилось неясное, но самое приятное воспоминание о дороге, которую мой отец очень любил; его рассказы о ней и еще более о Багрове, обещавшие множество новых, еще неизвестных мне удовольствий, воспламенили мое ребячье воображение.

Дедушку с бабушкой мне также хотелось видеть, потому что я хотя и видел их, но помнить не мог: в первый мой приезд в Багрово мне было восемь месяцев; но мать рассказывала, что дедушка был нам очень рад и что он давно зовет нас к себе и даже сердится, что мы в четыре года ни разу у него не побывали. Моя продолжительная болезнь, медленное выздоровление и потом нездоровье матери были тому причиной. Впрочем, мой отец ездил прошлого года в Багрово, однако на самое короткое время. По обыкновению, вследствие природного моего свойства делиться моими впечатлениями с другими, все мои мечты и приятные надежды я рассказал и старался растолковать маленькой моей сестрице, а потом объяснять и всем меня окружавшим. Начались сборы. Я собрался прежде всех: уложил свои книжки, то есть «Детское чтение» и «Зеркало добродетели», в которое, однако, я уже давно не заглядывал; не забыл также и чурочки, чтобы играть ими с сестрицей; две книжки «Детского чтения», которые я перечитывал уже в третий раз, оставил на дорогу и с радостным лицом прибежал сказать матери, что я готов ехать и что мне жаль только оставить Сурку. Мать сидела в креслах, печальная и утомленная сборами, хотя она распоряжалась ими, не вставая с места. Она улыбнулась моим словам и так взглянула на меня, что я хотя не мог понять выражения этого взгляда, но был поражен им. Сердце у меня опять замерло, и я готов был заплакать; но мать приласкала меня, успокоила, ободрила и приказала мне идти в детскую – читать свою любимую книжку и занимать сестрицу, прибавя, что ей теперь некогда с нами быть и что она поручает мне смотреть за сестрою; я повиновался и медленно пошел назад: какая-то грусть вдруг отравила мою веселость, и даже мысль, что мне поручают маленькую мою сестрицу, что в другое время было бы мне очень приятно и очень лестно, теперь не утешила меня. Сборы продолжались еще несколько дней, наконец все было готово.

ДОРОГА ДО ПАРАШИНА

В жаркое летнее утро, это было в исходе июля, разбудили нас с сестрой ранее обыкновенного; напоили чаем за маленьким нашим столиком; подали карету к крыльцу, и, помолившись богу, мы все пошли садиться. Для матери было так устроено, что она могла лежать, рядом с нею сел отец, а против него нянька с моей сестрицей, я же стоял у каретного окна, придерживаемый отцом и помещаясь везде, где открывалось местечко. Спуск к реке Белой был так крут, что понадобилось подтормозить два колеса. Мы с отцом и няня с сестрицей шли с горы пешком.

Здесь начинается ряд еще не испытанных мною впечатлений. Я не один уже раз

переправлялся через Белую, но, по тогдашнему болезненному моему состоянию и почти младенческому возрасту, ничего этого не заметил и не почувствовал; теперь же я был поражен широкою и быстрою рекою, отлогими песчаными ее берегами и зеленою уремой⁶ на противоположном берегу. Нашу карету и повозку стали грузить на паром, а нам подали большую косную лодку,⁷ на которую мы все должны были перейти по двум доскам, положенным с берега на край лодки; перевозчики в пестрых мордовских рубахах, бредя по колени в воде, повели под руки мою мать и няньку с сестрицей; вдруг один из перевозчиков, рослый и загорелый, схватил меня на руки и понес прямо по воде в лодку, а отец пошел рядом по дощечке, улыбаясь и ободряя меня, потому что я, по своей трусости, от которой еще не освободился, очень испугался такого неожиданного путешествия. Четверо гребцов сели в весла, перенесший меня человек взялся за кормовое весло, оттолкнулись от берега шестом, все пятеро перевозчиков перекрестились, кормчий громко сказал: «Призывай бога на помощь», и лодка полетела поперек реки, скользя по вертящейся быстрине, бегущей у самого берега, называющейся «стремя». Я был так поражен этим невиданным зрелищем, что совершенно онемел и не отвечал ни одного слова на вопросы отца и матери. Все смеялись, говоря, что от страха у меня язык отнялся, но это было не совсем справедливо: я был подавлен не столько страхом, сколько новостью предметов и величию картины, красоту которой я чувствовал, хотя объяснить, конечно, не умел. Когда мы стали подплывать к другому, отлогому берегу и по мелкому месту пошли на шестах к пристани, я уже совершенно опомнился, и мне стало так весело, как никогда не бывало. Белые, чистые пески с грядами разноцветной гальки, то есть камешков, широко расстилались перед нами. Один из гребцов соскочил в воду, подвел лодку за носовую веревку к пристани и крепко привязал к причалу; другой гребец сделал то же с кормою, и мы все преспокойно вышли на пристань. Сколько новых предметов, сколько новых слов! Тут мой язык уже развязался, и я с большим любопытством стал расспрашивать обо всем наших перевозчиков. Я не могу забыть, как эти добрые люди ласково, просто и толково отвечали мне на мои бесчисленные вопросы и как они были благодарны, когда отец дал им что-то за труды. С нами на лодке был ковер и подушки, мы разостлали их на сухом песке, подальше от воды, потому что мать боялась сырости, и она прилегла на них, меня же отец повел набирать галечки. Я не имел о них понятия и пришел в восхищение, когда отец отыскал мне несколько прекрасных, гладких, блестящих разными цветами камешков, из которых некоторые имели очень красивую, затейливую фигуру. В самом деле, нигде нельзя отыскать такого разнообразия гальки, как на реке Белой; в этом я убедился впоследствии. Мы тут же нашли несколько окаменелостей, которые и после долго у нас хранились и которые назвать редкостью; это был большой кусок пчелиного сота и довольно большая лепешка или кучка рыбьей икры, совершенно превратившаяся в камень. Переправа кареты, кибитки и девяти лошадей продолжалась довольно долго, и я успел набрать целую кучу чудесных, по моему мнению, камешков; но я очень огорчился, когда отец не позволил мне их взять с собою, а выбрал только десятка полтора, сказав, что все остальные дрянь; я доказывал противное, но меня не послушали, и я с большим сожалением оставил набранную мною кучку. Мы сели в карету и отправились в дальнейший путь. Мать как будто освежилась на открытом воздухе, и я с жаром начал ей показывать и рассказывать о найденных мною драгоценностях, которыми были набиты мои карманы; камешки очень понравились моей сестрице, и некоторое из них я подарил ей. В нашей карете было много дорожных ящиков, один из них мать опростала и отдала в мое распоряжение, и я с большим старанием уложил в него свои сокровища.

⁶ Урема – мелкий лес и кустарник в долинах рек.

⁷ Косная лодка – легкая лодка для переездов, не для рыбной ловли.

Сначала дорога шла лесистой уремой; огромные дубы, вязы и осокори⁸ поражали меня своею грамадностью, и я беспрестанно вскрикивал: «Ах, какое дерево! Как оно называется?» Отец удовлетворял моему любопытству; дорога была песчана, мы ехали шагом, люди⁹ шли пешком; они срывали мне листья и ветки с разных деревьев и подавали в карету, и я с большим удовольствием рассматривал и замечал их особенности. День был очень жаркий, и мы, отъехав верст пятнадцать, остановились покормить лошадей собственно для того, чтоб мать моя не слишком утомилась от перевоза через реку и переезда. Эта первая кормежка случилась не в поле, а в какой-то русской деревушке, которую я очень мало помню; но зато отец обещал мне на другой день кормежку на реке Деме, где хотел показать мне какую-то рыбную ловлю, о которой я знал только по его же рассказам. Во время отдыха в поднавесе крестьянского двора отец мой занимался приготовлением удочек для меня и для себя. Это опять было для меня новое удовольствие. Выдернули волос из лошадиных хвостов и принялись сучить лесы; я сам держал связанные волосы, а отец вил из них тоненькую ниточку, называемую лесом. Нам помогал Ефрем Евсеев, очень добрый и любивший меня слуга. Он не вил, а сучил как-то на своей коленке толстые лесы для крупной рыбы; грузила и крючки, припасенные заранее, были прикреплены и навязаны, и все эти принадлежности, узнанные мною в первый раз, были намотаны на палочки, завернуты в бумажки и положены для сохранения в мой ящик. С каким вниманием и любопытством смотрел я на эти новые для меня предметы, как скоро понимал их назначение и как легко и твердо выучивал их названия! Ночевать мы должны были в татарской деревне, но вечер был так хорош, что матери моей захотелось остановиться в поле; итак, у самой околицы своротили мы немного в сторону и расположились на крутом берегу маленькой речки. Ночевки в поле никто не ожидал. Отец думал, что мать побоится ночной сырости; но место было необыкновенно сухо, никаких болот, и даже лесу не находилось поблизости, потому что начиналась уже башкирская степь; даже влажности ночного воздуха не было слышно. Для меня опять готовилось новое зрелище; отложили лошадей, хотели спутать и пустить в поле, но как степные травы погорели от солнца и завяли, то послали в деревню за свежим сеном и овсом и за всякими съестными припасами. Люди принялись разводить огонь: один принес сухую жердь от околицы, изрубил ее на поленья, настрогал стружек и наколол лучины для подтопки, другой притащил целый ворох хворосту с речки, а третий, именно повар Макей, достал кремь и огниво, вырубил огня на большой кусок труту, завернул его в сухую куделю (ее возили нарочно с собой для таких случаев), взял в руку и начал проворно махать взад и вперед, вниз и вверх и махал до тех пор, пока куделя вспыхнула; тогда подложили огонь под готовый костер дров со стружками и лучиной – и пламя запылало. Стали накладывать дорожный самовар; на разостланном ковре и на подушках лежала мать и готовилась наливать чай; она чувствовала себя бодрее. Я попросил позволения развести маленький огонек возле того места, где мы сидели, и когда получил позволение, то, не помня себя от радости, принялся хлопотать об этом с помощью Ефрема, который в дороге вдруг сделался моим как будто дядькой. Разведение огня доставило мне такое удовольствие, что я и пересказать не могу; я беспрестанно бегал от большого костра к маленькому, приносил щепочек, прутьев и сухого бастыльнику¹⁰ для поддержания яркого пламени, и так суетился, что мать принуждена была посадить меня насильно подле себя. Мы напились чаю и поели супу из курицы, который сварил нам повар. Мать расположилась ночевать с детьми в карете, а отец – в кибитке. Мать скоро легла и положила с собою мою сестрицу, которая давно уже спала на руках у няньки; но мне не хотелось спать, и я остался посидеть с отцом и

⁸ Осокорь – порода тополя, серебристый тополь, пирамидальный тополь.

⁹ Слово «люди» употреблялось в смысле: дворовые, крепостные слуги. «Человек» – слуга.

¹⁰ Бастыльник – сорная трава, бурьян.

поговорить о завтрашней кормежке, которую я ожидал с радостным нетерпением; но посреди разговоров мы оба как-то задумались и долго просидели, не говоря ни одного слова. Небо сверкало звездами, воздух был наполнен благовонием от засыхающих степных трав, речка журчала в овраге, костер пылал и ярко освещал наших людей, которые сидели около котла с горячей кашницей, хлебали ее и весело разговаривали между собою; лошади, припущенные к овсу, также были освещены с одной стороны полосой света... «Не пора ли спать тебе, Сережа?» – сказал мой отец после долгого молчания; поцеловал меня, перекрестил и бережно, чтоб не разбудить мать, посадил в карету. Я не вдруг заснул. Столько увидел и узнал я в этот день, что детское мое воображение продолжало представлять мне в каком-то смешении все картины и образы, носившиеся предо мною. А что же будет завтра, на чудесной Деме... Наконец сон одолел меня, и я заснул в каком-то блаженном упоении.

С ночевки поднялись так рано, что еще не совсем было светло, когда отец сел к нам в карету. Он сел с большим трудом, потому что от спавших детей стало теснее. Я видел, будто сквозь сон, как он садился, как тронулась карета с места и шагом проезжала через деревню, и слышал, как лай собак долго провожал нас; потом крепко заснул и проснулся, когда уже мы проехали половину степи, которую нам надобно было перебить поперек и проехать сорок верст, не встретив жилья человеческого. Когда я открыл глаза, все уже давно проснулось, даже моя сестрица сидела на руках у отца, смотрела в отворенное окно и что-то весело лепетала. Мать сказала, что чувствует себя лучше, что она устала лежать и что ей хочется посидеть. Мы остановились и все вышли из кареты, чтоб переладить в ней ночное устройство на дневное. Степь, то есть безлесная и волнообразная бесконечная равнина, окружала нас со всех сторон; кое-где виднелись деревья и синелось что-то вдаль; отец мой сказал, что там течет Дема и что это синеется ее гористая сторона, покрытая лесом. Степь не была уже так хороша и свежа, как бывает весною и в самом начале лета, какою описывал ее мне отец и какою я после сам узнал ее: по долочкам трава была скошена и сметена в стога, а по другим местам она выгорела от летнего солнца, засохла и пожелтела, и уже сизый ковыль, еще не совсем распутившийся, еще не побелевший, расстилался как волны по необозримой равнине; степь была тиха, и ни один птичий голос не оживлял этой тишины; отец толковал мне, что теперь вся степная птица уже не кричит, а прячется с молодыми детьми по низким ложбинкам, где трава выше и гуще. Мы уселись в карете по-прежнему и взяли к себе няню, которая опять стала держать на руках мою сестрицу. Мать весело разговаривала с нами, и я неумолкаемо болтал о вчерашнем дне; она напомнила мне о моих книжках, и я признался, что даже позабыл о них. Я достал, однако, одну часть «Детского чтения» и стал читать, но был так развлечен, что в первый раз чтение не овладело моим вниманием и, читая громко вслух: «Канарейки, хорошие канарейки, так кричал мужик под Машиним окошком» и проч., я думал о другом и всего более о текущей там, вдалеке, Деме. Видя мою рассеянность, отец с матерью не могли удержаться от смеха, а мне было как-то досадно на себя и неловко. Наконец кончив повесть об умершей с голоду канарейке и не разжалобясь, как бывало прежде, я попросил позволения закрыть книжку и стал смотреть в окно, пристально следя за синеющею в стороне далью, которая как будто сближалась с нами и шла пересечь нашу дорогу; дорога начала неприметно склоняться под изволок, и кучер Трофим, тряхнув вожжами, весело крикнул: «Эх вы, милые, пошевеливайтесь! Недалеко до Демы!..» И добрые кони наши побежали крупною рысью. Уже обозначилась зеленеющая долина, по которой текла река, ведя за собою густую, также зеленую урему. «А вон, Сережа, – сказал отец, выглянув в окно, – видишь, как прямо к Деме идет тоже зеленая полоса и как в разных местах по ней торчат беловатые острые шиши? Это башкирские войлочные кибитки, в которых они живут по летам, это башкирские „кочи“. Кабы было поближе, я сводил бы тебя посмотреть на них. Ну, да когда-нибудь после». Я с любопытством рассматривал видневшиеся вдалеке летние жилища башкирцев и пасущиеся кругом их стада и табуны. Обо всем этом я слышал от отца, но видел своими глазами в первый раз. Вот уже открылась и река, и множество озер, и прежнее русло Демы, по которому она текла некогда, которое

тянулось длинным рукавом и называлось Старицей. Спуск в широкую зеленую долину был крут и косогорист; надобно было тормозить карету и спускаться осторожно; это замедление раздражало мою нетерпеливость, и я бросался от одного окошка к другому и суетился, как будто мог ускорить приближение желанной кормежки. Мне велели сидеть смирно на месте, и я должен был нехотя утомиться. Но вот мы наконец на берегу Демы, у самого перевоза; карета своротила в сторону, остановилась под тенью исполинского осокоря, дверцы отворились, и первый выскочил я – и так проворно, что забыл свои удочки в ящике. Отец, улыбнувшись, напомнил мне о том и на мои просьбы идти поскорее удить сказал мне, чтоб я не торопился и подождал, покуда он все уладит около моей матери и распорядится кормом лошадей. «А ты погуляй покуда с Ефремом, посмотри на перевоз да червячков приготовьте». Я схватил Ефрема за руку, и мы пошли на перевоз. Величавая, полноводная Дема, не широкая, не слишком быстрая, с какою-то необыкновенною красотою, тихо и плавно, наравне с берегами, расстилалась передо мной. Мелкая и крупная рыба металась беспрестанно. Сердце так и стучало у меня в груди, и я вздрагивал при каждом всплеске воды, когда щука или жерех выскакивали на поверхность, гоняясь за мелкой рыбкой. По обоим берегам реки было врыто по толстому столбу, к ним крепко был привязан мокрый канат толщиной в руку; по канату ходил плот, похожий устройством на деревянный пол в комнате, утвержденный на двух выдолбленных огромных деревянных колодах, которые назывались там «комягами». Скоро я увидел, что один человек мог легко перегонять этот плот с одного берега на другой. Двое перевозчиков были башкирцы, в остроконечных своих войлочных шапках, говорившие ломаным русским языком. Ефрем, или Евсеич, как я его звал, держа меня крепко за руку, вошел со мною на плот и сказал одному башкирцу: «Айда, знаком, гуляй на другой сторона». И башкирец очень охотно, отвязав плот от причала, засучив свои жилистые руки, став лицом к противоположному берегу, упершись ногами, начал тянуть к себе канат обеими руками, и плот, отделяясь от берега, поплыл поперек реки; через несколько минут мы были на том берегу, и Евсеич, все держа меня за руку, походив по берегу, повысмотрев выгодных мест для ужения, до которого был страстный охотник, таким же порядком воротился со мною назад. Тут начал он толковать с обоими перевозчиками, которые жили постоянно на берегу в плетеном шалаше; немилосердно коверкая русский язык, думая, что так будет понятнее, и примешивая татарские слова, спрашивал он: где бы отыскать нам червяков для ужения. Один из башкирцев скоро догадался, о чем идет дело, и отвечал: «Екши, екши, бачка, ладно! Айда» – и повел нас под небольшую поветь, под которой стояли две лошади в защите от солнца: там мы нашли в изобилии, чего желали. Подойдя к карете, я увидел, что все было устроено: мать расположилась в тени кудрявого осокоря, погребец был раскрыт и самовар закипал. Все припасы для обеда были закуплены с вечера в татарской деревне, не забыли и овса, а свежей, сейчас накошенной травы для лошадей купили у башкирцев. Великолепная урема окружала нас. Необыкновенное разнообразие ягодных деревьев и других древесных пород, живописно перемешанных, поражало своей красотой. Толстые, как бревна, черемухи были покрыты уже потемневшими ягодами; кисти рябины и калины начинали краснеть; кусты черной спелой смородины распространяли в воздухе свой ароматический запах; гибкие и цепкие стебли ежевики, покрытые крупными, еще зелеными ягодами, обвивались около всего, к чему только прикасались; даже малины было много. На все это очень любовался и указывал мне отец; но, признаюсь, удочка так засела у меня в голове, что я не мог вполне почувствовать окружавшую меня пышную и красивую урему. Как только мы напились чаю, я стал просить отца, чтобы он показал мне ужение. Наконец мы пошли, и Евсеич с нами. Он уже вырубил несколько вязовых удилищ, наплавки сделали из толстого зеленого камыша, лесы привязали и стали удить с плоту, поверя словам башкирцев, что тут «ай-ай, больно хорошо берет рыба». Евсеич приготовил мне самое легонькое удилище и навязал тонкую лесу с маленьким крючком; он насадил крошечный кусочек мятого хлеба, закинул удочку и дал мне удилище в правую руку, а за левую крепко держал меня отец: ту же минуту наплавков привстал и погрузился в воду, Евсеич закричал: «Тащи, тащи...», и я с большим трудом вытащил

порядочную плотичку. Я весь дрожал как в лихорадке и совершенно не помнил себя от радости. Я схватил свою добычу обеими руками и побежал показать ее матери: Евсеич провожал меня. Мать не хотела верить, чтоб я мог сам поймать рыбу, но, задыхаясь и заикаясь от горячности, я уверял ее, ссылаясь на Евсеича, что точно я вытащил сам эту прекрасную рыбку. Евсеич подтвердил мои слова. Мать не имела расположения к ужению, даже не любила его, и мне было очень больно, что она холодно приняла мою радость; а к большему горю, мать, увидя меня в таком волнении, сказала, что это мне вредно, и прибавила, что не пустит, покуда я не успокоюсь. Она посадила меня подле себя и послала Евсеича сказать моему отцу, что придет Сережу, когда он отдохнет и придет в себя. Это был для меня неожиданный удар; слезы так и брызнули из моих глаз, но мать имела твердость не пустить меня, покуда я не успокоился совершенно. Немного погодя отец сам пришел за мной. Мать была недовольна. Она сказала, что, отпуская меня, и не воображала, что я сам стану удить. Но отец уговорил мать позволить мне на этот раз поймать еще несколько рыбок, и мать, хотя не скоро, согласилась. Как я благодарил моего отца! Я не знаю, что бы сделалось со мной, если б меня не пустили. Мне кажется, я бы непременно захворал с горя. Сестрица стала проситься со мной, и как ужение было всего шагах в пятидесяти, то отпустили и ее с няней посмотреть на наше рыболовство. Когда мы пришли, отец показал мне несколько крупных окуней и плотиц, которых он выудил без меня: другая рыба в это время не брала, потому что было уже поздно и жарко, как объяснял мне Евсеич. Я выудил еще несколько плотичек, и всякий раз почти с таким же восхищением, как и первую.

Но как мать отпустила меня на короткое время, то мы скоро воротились.

Отец приказал повару Макею сварить и зажарить несколько крупных окуней, а всю остальную рыбу отдал людям, чтобы они сварили себе уху.

Ужение просто свело меня с ума! Я ни о чем другом не мог ни думать, ни говорить, так что мать сердилась и сказала, что не будет меня пускать, потому что я от такого волнения могу захворать; но отец уверял ее, что это случилось только в первый раз и что горячность моя пройдет; я же был уверен, что никогда не пройдет, и слушал с замирающим сердцем, как решается моя участь. Удочка, дрожащий и ныряющий наплавок, согнутое от тяжести удилище, рыба, трепещущая на лесе, – приводили меня при одном воспоминании в восторг, в самозабвение. Все остальное время на кормежке я был невесел и не смел разговаривать о рыбках ни с отцом, ни с сестрицей, да и все были как будто чем-то недовольны. В таком расположении духа отправились мы в дальнейший путь. Мать дорогой принялась мне растолковывать, почему нехорошо так безумно предаваться какой-нибудь забаве, как это вредно для здоровья, даже опасно; она говорила, что, забывая все другие занятия для какой-нибудь охоты, и умненький мальчик может поглупеть, и что вот теперь, вместо того чтоб весело смотреть в окошко, или читать книжку, или разговаривать с отцом и матерью, я сижу молча, как будто опущенный в воду. Все это она говорила и нежно и ласково, и я как будто почувствовал правду ее слов, успокоился несколько и начал вслух читать свою книжку. Между тем к вечеру пошел дождь, дорога сделалась грязна и тяжела; высунувшись из окошка, я видел, как налипала земля к колесам и потом отваливалась от них толстыми пластами; мне это было любопытно и весело, а лошадам нашим накладно, и они начинали приставать. Кучер Трофим, наклонясь к переднему окну, сказал моему отцу, что дорога стала тяжела, что нам не доехать засветло до Парашина, что мы больно запоздаем и лошадей перегоним, и что не прикажет ли он заехать для ночевки в чувашскую деревню, мимо околицы которой мы будем проезжать. Отец мой и сам уже говорил об этом; мы поутру проехали сорок верст, да после обеда надо было проехать сорок пять – это было уже слишком много, а потому он согласился на предложение Трофима. Хотя матери моей и не хотелось бы ночевать в Чувашах, которые по неопрятности своей были ей противны, но делать было нечего, и последовало приказание: завернуть в чувашскую деревню для ночевки. Мы не доехали до Парашина пятнадцать верст. Через несколько минут своротили с дороги и въехали в селение без улиц; избы были разбросаны в беспорядке; всякий хозяин поселился там, где ему угодно, и к каждому двору был свой проезд. Солнце, закрытое

облаками, уже садилось, дождь продолжался, и наступали ранние сумерки; мы были встречены страшным лаем собак, которых чувашки держат еще больше, чем татары. Лай этот, неумолкаемо продолжавшийся и во всю ночь, сливался тогда с резким бормотаньем визгливых чувашек, с звяканьем их медных и серебряных подвесок и бранью наших людей, потому что хозяева прятались, чтоб избавиться от постояльцев. Долго звенела в ушах у нас эта пронзительная музыка. Наконец отыскивали выборного, как он ни прятался, должность которого на этот раз, за отсутствием мужа, исправляла его жена чувашка; она отвела нам квартиру у богатого чувашенина, который имел несколько изб, так что одну из них очистили совершенно для нас. В карете оставаться было сыро, и мы немедленно вошли в избу, уже освещенную горячей лучиной. Тут опять явились для меня новые, невиданные предметы: прежде всего кинулся мне в глаза наряд чувашских женщин: они ходят в белых рубашках, вышитых красной шерстью, носят какие-то черные хвосты, а головы их и грудь увешаны серебряными, и крупными и самыми мелкими, деньгами: все это звенит и брякает на них при каждом движении.

Потом изумили меня огромная изба, закопченная дымом и покрытая лоснящейся сажей с потолка до самых лавок, – широкие, устланные поперек досками лавки, называющиеся «нарами», печь без трубы и, наконец, горящая лучина вместо свечи, ущемленная в так называемый светец, который есть не что иное, как железная полоска, разрубленная сверху натрое и воткнутая в деревянную палку с подножкой, так что она может стоять где угодно. В избе не было никакой нечистоты, но только пахло дымом, и непротивно. Мы расположились очень удобно на широких нарах. Отец доказывал матери моей, что она напрасно не любит чувашских деревень, что ни у кого нет таких просторных изб и таких широких нар, как у них, и что даже в их избах опрятнее, чем в мордовских и особенно русских; но мать возражала, что чувашки сами очень неопрятны и гадки; против этого отец не спорил, но говорил, что они предобрые и пречестные люди. Светец, с ущемленной в него горячей лучиной, которую надобно было беспрестанно заменять новою, обратил на себя мое особенное внимание; иные лучины горели как-то очень прихотливо: иногда пламя пылало ярко, иногда чуть-чуть перебиралось и вдруг опять сильно вспыхивало; обгоревший, обуглившийся конец лучины то загибался крючком в сторону, то падал, треща, и звеня, и ломаясь; иногда вдруг лучина начинала шипеть, и струйка серого дыма начинала бить, как струйка воды из фонтанчика, вправо или влево. Отец растолковал мне, что это была струйка не дыма, а пара, от сырости, находившейся в лучине. Все это меня очень занимало, и мне было досадно, когда принесли дорожную свечу и погасили лучину. Мы все провели ночь очень спокойно под своими пологам, без которых мы никуда не ездили.

Ночью дождь прошел; хотя утро было прекрасное, но мы выехали не так рано, потому что нам надобно было переехать всего пятнадцать верст до Парашина, где отец хотел пробыть целый день. Слыша часто слово Парашино, я спросил, что это такое? И мне объяснили, что это было большое и богатое село, принадлежавшее тетке моего отца, Прасковье Ивановне Куролесовой, и что мой отец должен был осмотреть в нем все хозяйство и написать своей тетушке, все ли там хорошо, все ли в порядке. Верст за восемь до села пошли парашинские поля, покрытые спелюю, высокою и густою рожью, которую уже начали жать.

Поля казались так обширны, как будто им и конца не было. Отец мой говорил, что он и не видывал таких хлебов и что нынешний год урожай отличный.

Молодые крестьяне и крестьянки, работавшие в одних рубахах, узнали наших людей и моего отца; воткнув серпы свои в сжатые снопы, они начали выбегать к карете. Отец велел остановиться. По загорелым лицам жнецов и жниц текли ручьи пота, но лица были веселы; человек двадцать окружили нашу карету. Все были так рады. «Здравствуй, батюшка Алексей Степаныч! – заговорил один крестьянин постарше других, который был десятником, как я после узнал, – давно мы тебя не видали. Матушка Прасковья Ивановна отписала к нам, что ты у нас побываешь. Насилу мы тебя дождались». Отец мой, не выходя из кареты, ласково поздоровался со всеми и сказал, что вот он и приехал к ним и привез свою хозяйку и детей.

Мать выглянула из окна и сказала: «Здравствуйте, мои друзья!» Все поклонились ей, и тот же крестьянин сказал: «Здравствуй, матушка Софья Николавна, милости просим. А это сынок, что ли, твой?» – продолжал он, указав на меня. «Да, это мой сын, Сережа, а дочка спит», – отвечал отец. Меня высунули из окошка. Мне также все поклонились и назвали меня Сергеем Алексеичем, чего я до тех пор не слыхивал. «Всем вам мы рады, батюшка Алексей Степаныч», – сказал тот же крестьянин. Радость была непритворная, выражалась на всех лицах и слышна была во всех голосах. Я был изумлен, я чувствовал какое-то непонятное волнение и очень полюбил этих добрых людей, которые всех нас так любят. Отец мой продолжал разговаривать и расспрашивать о многом, чего я и не понимал; слышал только, как ему отвечали, что, слава богу, все живут помаленьку, что с хлебом не знай, как и совладать, потому что много народу хворает. Когда же мой отец спросил, отчего в праздник они на барщине (это был первый спас, то есть первое августа), ему отвечали, что так приказал староста Мироныч; что в этот праздник точно прежде не работали, но вот уже года четыре как начали работать; что все мужики постарше и бабы ребятницы уехали ночевать в село, но после обедни все приедут, и что в поле остался только народ молодой, всего серпов с сотню, под присмотром десятника. Отец и мать простились с крестьянами и крестьянками. Я отвечал на их поклоны множеством поклонов, хотя карета тронулась уже с места, и, высунувшись из окна, кричал: «Прощайте, прощайте!» Отец и мать улыбались, глядя на меня, а я, весь в движении и волнении, принялся расспрашивать: отчего эти люди знают, как нас зовут? Отчего они нам рады, за что они нас любят? Что такое барщина? Кто такой Мироныч? и проч. и проч. Отец как-то затруднялся удовлетворить всем моим вопросам, мать помогала ему, и мне отвечали, что в Парашине половина крестьян родовых багровских, и что им хорошо известно, что когда-нибудь они будут опять наши; что его они знают потому, что он ездил в Парашино с тетушкой, что любят его за то, что он им ничего худого не делал, и что по нем любят мою мать и меня, а потому и знают, как нас зовут. Что такое староста Мироныч – я хорошо понял, а что такое барщина – по моим летам понять мне было трудно.

В этот раз, как и во многих других случаях, не поняв некоторых ответов на мои вопросы, я не оставлял их для себя темными и нерешенными, а всегда объяснял по-своему: так обыкновенно поступают дети. Такие объяснения надолго остаются в их умах, и мне часто случалось потом, называя предмет настоящим его именем, заключающим в себе полный смысл, совершенно его не понимать. Жизнь, конечно, объяснит все, и узнавание ошибки бывает часто очень забавно; но зато бывает иногда очень огорчительно.

После ржаных хлебов пошли яровые, начинающие уже поспевать. Отец мой, глядя на них, часто говорил с сожалением: «Не успеют нынче убраться с хлебом до ненастья; рожь поспела поздно, а вот уже и яровые поспевают. А какие хлеба, в жизнь мою не видывал таких!» Я заметил, что мать моя совершенно равнодушно слушала слова отца. Не понимая, как и почему, но и мне было жалко, что не успеют убраться с хлебом.

ПАРАШИНО

С плоской возвышенности пошла дорога под изволок, и вот наконец открылось перед нами лежащее на низменности богатое село Парашино, с каменной церковью и небольшим прудом в овраге. Господское гумно стояло, как город, построенный из хлебных кладей, даже в крестьянских гумнах видно было много прошлогодних копен. Отец мой радовался, глядя на такое изобилие хлеба, и говорил: «Вот крестьяне, так крестьяне! Сердце радуется!» Я радовался вместе с ним и опять заметил, что мать не принимала участия в его словах. Наконец мы въехали в село. В самое это время священник в полном облачении, неся крест на голове, предшествуемый диаконом с кадиллом, образами и хоругвями и сопровождаемый огромною толпою народа, шел из церкви для совершения водоосвящения на иордани. Пение дьячков заглушалось колокольным звоном и только в промежутках врвалось в мой слух. Мы сейчас остановились, вышли из кареты и присоединились к народу. Мать вела меня за руку, а нянька несла мою сестрицу, которая с необыкновенным любопытством смотрела на

невиданное ею зрелище; мне же хотя удалось видеть нечто подобное в Уфе, но тем не менее я смотрел на него с восхищением.

После водосвятия, приложившись ко кресту, окропленные святой водою, получив от священника поздравление с благополучным приездом, пошли мы на господский двор, всего через улицу от церкви. Народ окружал нас тесною толпою, и все были так же веселы и рады нам, как и крестьяне на жнитве; многие старики протеснились вперед, кланялись и здоровались с нами очень ласково; между ними первый был малорослый, широкоплечий, немолодой мужик с проседью и с такими необыкновенными глазами, что мне даже страшно стало, когда он на меня пристально поглядел. Толпа крестьян проводила нас до крыльца господского флигеля и потом разошлась, а мужик с страшными глазами взбежал на крыльцо, отпер двери и пригласил нас войти, приговаривая: «Милости просим, батюшка Алексей Степаныч и матушка Софья Николаевна!» Мы вошли во флигель; там было как будто все приготовлено для нашего приезда, но после я узнал, что тут всегда останавливался, наезжавший иногда, главный управитель и поверенный бабушки Куролесовой, которого отец с матерью называли Михайлушкой, а все прочие с благоговением величали Михайлом Максимовичем, и вот причина, почему флигель всегда был прибран. Из слов отца я сейчас догадался, что малорослый мужик с страшными глазами был тот самый Мируныч, о котором я расспрашивал еще в карете. Отец мой осведомлялся у него обо всем, касающемся до хозяйства, и отпустил, сказав, что позовет его, когда будет нужно, и приказав, чтоб некоторых стариков, названных им по именам, он прислал к нему. Как я ни был мал, но заметил, что Мируныч был недоволен приказанием моего отца. Он так отвечал «слушаю-с», что я как теперь слышу этот звук, который ясно выражал: «Нехорошо вы это делаете».

Когда он ушел, я услышал такой разговор между отцом и матерью, который привел меня в большое изумление. Мать сказала, что этот Мируныч должен быть разбойник. Отец улыбнулся и отвечал, что похоже на то, что он прежде слышал об нем много нехорошего, но что он родня и любимец Михайлушки, а тетушка Прасковья Ивановна во всем Михайлушке верит; что он велел послать к себе таких стариков из багровских, которые скажут ему всю правду, зная, что он их не выдаст и что Мирунычу было это невкусно. Отец прибавил, что поедет после обеда осмотреть все полевые работы, и приглашал с собою мою мать; но она решительно отказалась, сказав, что она не любит смотреть на них и что если он хочет, то может взять с собой Сережу. Я обрадовался, стал проситься; отец охотно согласился. «Да, вот мы с Сережей, – сказал мой отец, – после чаю пойдем осматривать конный завод, а потом пройдем на родники и на мельницу». Разумеется, я тоже очень обрадовался и этому предложению, и мать тоже на него согласилась. После чаю мы отправились на конный двор, находившийся на заднем конце господского двора, поросшего травой. У входа в конюшни ожидал нас, вместе с другими конюхами, главный конюх Григорий Ковляга, который с первого взгляда очень мне понравился; он был особенно ласков со мною. Не успели мы войти в конюшни, как явился противный Мируныч, который потом целый день уже не отставал от отца. Мы вошли широкими воротами в какое-то длинное строение; на обе стороны тянулись коридоры, где направо и налево, в особых отгородках, старые большие и толстые лошади, а в некоторых и молодые, еще тоненькие. Тут я узнал, что их комнатки назывались стойлами. Против самых ворот, на стене, висел образ Николая Чудотворца, как сказал мне Ковляга. Осмотрев обе стороны конюшни и похвалив в них чистоту, отец вышел опять на двор и приказал вывести некоторых лошадей. Ковляга сам выводил их с помощью другого конюха. Гордые животные, раскормленные и застоявшиеся, ржали, подымались на дыбы и поднимали на воздух обоих конюхов, так что они висели у них на шеях, крепко держась правою рукою за узду. Я робел и прижимался к отцу; но когда пускали некоторых из этих славных коней бегать и прыгать на длинной веревке вокруг державших ее конюхов, которые, упершись ногами и пригнувшись к земле, едва могли с ними ладить – я очень ими любовался.

Мируныч во все совался, и мне было очень досадно, что он называл Ковлягу Гришка Ковляжонок, тогда как мой отец называл его Григорий. «А где пасутся табуны?» – спросил

мой отец у Ковляги. Мироныч отвечал, что один пасется у «Кошелги», а другой у «Каменного врага», и прибавил: «Коли вам угодно будет, батюшка Алексей Степаныч, поглядеть господские ржаные и яровые хлеба и паровое поле (мы завтра отслужим молебен и начнем сев), то не прикажете ли подогнуть туда табуны? Там будет уж недалеко». Отец отвечал: «Хорошо». С конного двора отправились мы на родники. Отец мой очень любил всякие воды, особенно ключевые; а я не мог без восхищения видеть даже бегущей по улицам воды, и потому великолепные парашинские родники, которых было больше двадцати, привели меня в восторг. Некоторые родники были очень сильны и вырывались из середины горы, другие били и кипели у ее подошвы, некоторые находились на косогорах и были обделаны деревянными срубами с крышей; в срубы были вдолблены широкие липовые колоды, наполненные такой прозрачной водою, что казались пустыми; вода по всей колоде переливалась через край, падая по бокам стеклянною бахромой. Я видел, как приходили крестьянки с ведрами, оттыкали деревянный гвоздь, находившийся в конце колоды, подставляли ведро под струю воды, которая была дугой, потому что нижний конец колоды лежал высоко от земли, на больших каменных плитах (бока оврага состояли все из дикого плитняка). В одну минуту наполнялось одно ведро, а потом другое. Все родники стекали в пруд. Многие необделанные ключи текли туда же ручейками по мелким камешкам, между ними мы с отцом нашли множество прекрасных, точно как обточенных, довольно длинных, похожих на сахарные головки: эти камешки назывались чертовыми пальцами. Я увидел их в первый раз, они мне очень понравились; я набил ими свои карманы, только название их никак не мог объяснить мне отец, и я долго надоедал ему вопросами: что за зверь черт, имеющий такие крепкие пальцы? Еще полный новых и приятных впечатлений, я вдруг перешел опять к новым если не так приятным, зато не менее любопытным впечатлениям: отец привел меня на мельницу, о которой я не имел никакого понятия. Пруд наполнялся родниками и был довольно глубок; овраг перегораживала, запружая воду, широкая навозная плотина; посредине ее стояла мельничная амбарушка; в ней находился один мукомольный постав, который молол хорошо только в полуую воду, впрочем, не оттого, чтобы мало было воды в пруде, как объяснил мне отец, а оттого, что вода шла везде сквозь плотину. Эта дрянная мельница показалась мне чудом искусства человеческого. Прежде всего я увидел падающую из каузной трубы струю воды прямо на водяное колесо, позеленевшее от мокроты, ворочавшееся довольно медленно, все в брызгах и пене; шум воды смешивался с каким-то другим гуденьем и шипеньем. Отец показал мне деревянный ларь, то есть ящик, широкий сверху и узенький внизу, как я увидал после, в который высыплют хлебные зерна. Потом мы сошли вниз, и я увидел вертящийся жернов и над ним дрожащий ковшик, из которого сыпались зерна, попадавшие под камень; вертясь и раздавливая зерна, жернов, окруженный лубочной обечайкой,¹¹ превращал их в муку, которая сыпалась вниз по деревянной лопаточке. Заглянув сбоку, я увидел другое, так называемое сухое колесо, которое вертелось гораздо скорее водяного и, задевая какими-то кулаками за шестерню, вертело утвержденный на ней камень; амбарушка была наполнена хлебной пылью и вся дрожала, даже припрыгивала. Долго находился я в совершенном изумлении, разглядывая такие чудеса и вспоминая, что я видел что-то подобное в детских игрушках; долго простояли мы в мельничном амбаре, где какой-то старик, дряхлый и сгорбленный, которого называли засыпкой, седой и хворый, молол всякое хлебное ухвостье для посыпки господским лошадям; он был весь белый от мучной пыли; я начал было расспрашивать его, но, заметя, что он часто и задыхаясь кашлял, что привело меня в жалость, я обратился с остальными вопросами к отцу: противный Мироныч и тут беспрестанно вмешивался, хотя мне не хотелось его слушать. Когда мы вышли из мельницы, то я увидел, что хлебная пыль и нас выбелила, хотя не так, как засыпку. Я сейчас начал просить отца, чтоб больного старичка положили в постель и напоили чаем; отец улыбнулся и, обратясь к Миронычу, сказал:

¹¹ Обечайка – деревянный обод, согнутый в круг лубок.

«Засыпка, Василий Терентьев, больно стар и хвор; кашель его забил, и ухвостная пыль ему не годится; его бы надо совсем отставить от старичьих работ и не наряжать в засыпки». – «Как изволите приказать, батюшка Алексей Степаныч, – отвечал Мироныч, – да не будет ли другим обидно? Его отставить, так и других надо отставить. Ведь таких дармоедов и лежебоков много. Кто же будет старичьи работы исполнять?»

Отец отвечал, что не все же старики хворы, что больных надо поберечь и успокоить, что они на свой век уже поработали. «Ведь ты и сам скоро состаришься, – сказал мой отец, – тоже будешь дармоедом и тогда захочешь покою». Мироныч отвечал: «Слушаю-с; по приказанию вашему будет исполнено; а этого-то Василья Терентьева и не надо бы миловать: у него внук буян и намнясь чуть меня за горло не сгреб». Отец мой с сердцем отвечал и таким голосом, какого я у него никогда не слыхивал: «Так ты за вину внука наказываешь больного дедушку? Да ты взыскивай с виноватого». Мироныч проворно подхватил: «Будьте покойны, батюшка Алексей Степаныч, будет исполнено по вашему приказанию». Не знаю отчего, я начинал чувствовать внутреннюю дрожь. Василий Терентьев, который видел, что мы остановились, и побрел было к нам, услышав такие речи, сам остановился, трясаясь всем телом и кланяясь беспрестанно. Когда мы взойшли на гору, я оглянулся – старик все стоял на том же месте и низко кланялся. Когда же мы пришли в свой флигель, я, забыв о родниках и мельнице, сейчас рассказал матери о больном старичке.

Мать очень горячо приняла мой рассказ: сейчас хотела призвать и разбранить Мироныча, сейчас отставить его от должности, сейчас написать об этом к тетушке Прасковье Ивановне... И отцу моему очень трудно было удержать ее от таких опрометчивых поступков. Тут последовал долгий разговор и даже спор. Я многого не понимал, многое забыл, и у меня остались в памяти только отцовы слова: «Не вмешивайся не в свое дело, ты все дело испортишь, ты все семейство погубишь, теперь Мироныч не тронет их, он все-таки будет опасаться, чтоб я не написал к тетушке, а если пойдет дело на то, чтоб Мироныча прочь, то Михайлушка его не выдаст. Тогда мне уж в Парашино и заглядывать нечего, пользы не будет, да, пожалуй, и тетушка еще прогневается». Мать поспорила, но уступила. Боже мой! Какое смешение понятий произошло в моей ребячьей голове! За что страдает больной старичок, что такой злой Мироныч, какая это сила Михайлушка и бабушка? Почему отец не позволил матери сейчас прогнать Мироныча? Стало, отец может это сделать?

Зачем же он не делает? Ведь он добрый, ведь он никогда не сердится? Вот вопросы, которые кипели в детской голове моей, и я разрешил себе их тем, что Михайлушка и бабушка недобрые люди и что мой отец их боится.

Чертовы пальцы я отдал милой моей сестрице, которая очень скучала без меня. Мы присоединили новое сокровище к нашим прежним драгоценностям – к чуркам и камешкам с реки Белой, которые я всегда называл «штуфами» (это слово я перенял у старика Аничкова). Я пересказал сестрице с жаром о том, что видел. Я постоянно сообщал ей обо всем, что происходило со мной без нее. Теперь я стал замечать, что сестрица моя не все понимает, и потому, перенимая речи у няньки, старался говорить понятным языком для маленького дитяти.

После обеда на длинных крестьянских роспусках¹² отправились мы с отцом в поле; противный Мироныч также присел с нами. Я ехал на роспусках в первый раз в моей жизни, и мне очень понравилась эта езда; сидя в сложенной вчетверо белой кошме, я покачивался точно как в колыбели, висящей на гибком древесном сучке. По колеям степной дороги роспуски опускались так низко, что растущие высоко травы и цветы хлестали меня по ногам и рукам, и это меня очень забавляло. Я даже успевал срывать цветочки. Но я заметил, что для больших людей так сидеть неловко потому, что они должны были не опускать своих ног, а вытягивать и держать их на воздухе, чтоб не задевать за землю: я же сидел на роспусках почти с ногами, и трава задевала только мои башмаки. Когда мы проезжали между хлебов по

¹² Роспуски – дроги для кладки.

широким межам, заросшим вишенником с красноватыми ягодами и бобовником с зеленоватыми бобами, то я упросил отца остановиться и своими руками нарвал целую горсть диких вишен, мелких и жестких, как крупный горох; отец не позволил мне их отведать, говоря, что они кислы, потому что не успели; бобов же дикого персика, называемого крестьянами бобовником, я нащипал себе целый карман; я хотел и ягоды положить в другой карман и отвезти маменьке, но отец сказал, что «мать на такую дрянь и смотреть не станет, что ягоды в кармане раздавятся и перепачкают мое платье и что их надо кинуть». Мне жаль было вдруг расстаться с ними, и я долго держал их в своей руке, но наконец принужден был бросить, сам не знаю, как и когда.

В тех местах, где рожь не наклонилась, не вылегла, как говорится, она стояла так высоко, что нас с рospусками и лошадьми не было видно. Это новое зрелище тоже мне очень нравилось. Долго мы ехали межами, и вот начал слышаться издали какой-то странный шум и говор людей; чем ближе мы подъезжали, тем становился он слышнее, и наконец сквозь несжатую рожь стали мелькать блестящие серпы и колосья горстей срезанной ржи, которыми кто-то взмахивал в воздухе; вскоре показались плечи и спины согнувшихся крестьян и крестьянок. Когда мы выехали на десятину, которую жали человек с десять, говор прекратился, но зато шарканье серпов по соломе усилилось и наполняло все поле необыкновенными и неслыханными мною звуками. Мы остановились, сошли с рospусков, подошли близко к жнецам и жницам, и отец мой сказал каким-то добрым голосом: «Бог на помощь!» Вдруг все оставили работу, обернулись к нам лицом, низко поклонились, а некоторые крестьяне, постарше, поздоровались с отцом и со мной. На загорелых лицах была написана радость, некоторые тяжело дышали, у иных были обвязаны грязными тряпицами пальцы на руках и босых ногах, но все были бодры. Отец мой спросил: сколько людей на десятине? не тяжело ли им? И получив в ответ, что «тяжеленько, да как же быть, рожь сильна, прихватим вечера...», сказал: «Так жните с богом...», и в одну минуту засверкали серпы, горсти ржи замелькали над головами работников, и шум от резки жесткой соломы еще звучнее, сильнее разнесся по всему полю. Я стоял в каком-то оцепенении. Вдруг плач ребенка обратил на себя мое внимание, и я увидел, что в разных местах, между трех палочек, связанных вверху и воткнутых в землю, висели люльки; молодая женщина воткнула серп в связанный ею сноп, подошла не торопясь, взяла на руки плачущего младенца и тут же, присев у стоящего пятака снопов, начала целовать, ласкать и кормить грудью свое дитя. Ребенок скоро успокоился, заснул, мать положила его в люльку, взяла серп и принялась жать с особенным усилием, чтобы догнать своих подруг, чтобы не отстать от других. Отец разговаривал с Миронычем, и я имел время всмотреться во все меня окружающее. Невыразимое чувство сострадания к работающим с таким напряженьем сил на солнечном зное обхватило мою душу, и много раз потом, бывая на жнитве, я всегда вспоминал это первое впечатление... С этой десятины поехали мы на другую, на третью и так далее. Сначала мы вставали с рospусков и подходили к жнецам, а потом только подъезжали к ним; останавливались, отец мой говорил: «Бог на помощь». Везде было одно и то же: те же поклоны, те же добрые обрадованные лица и те же простые слова: «Благодарствуем, батюшка Алексей Степаныч». Останавливаться везде было невозможно, не достало бы времени. Мы объехали яровые хлеба, которые тоже начинали поспевать, о чем отец мой и Мироныч говорили с беспокойством, не зная, где взять рук и как убраться с жнитвом. «Вот она, страда-то, настоящая-то страда, батюшка Алексей Степаныч, – говорил главный староста. – Ржи поспели поздно, яровые, почитай, поспевают, уже и поздние овсы стали мешаться, а пришла пора сеять. Вчера бог дал такого дождика, что борозду пробил; теперь земля сыренька, и с завтрашнего дня всех мужиков погоню сеять; так извольте рассудить: с одними бабами не много нажнешь, а ржи-то осталось половина несжатой. Не позволите ли, батюшка, сделать лишний сгон?» Отец отвечал, что крестьянам ведь также надо убираться, и что отнять у них день в такую страдную пору дело нехорошее, и что лучше сделать помочь и позвать соседей. Староста начал было распространяться о том, что у них соседи дальние и к помочам непривычные; но в самое это время подъехали мы к горохам и макам, которые

привлекли мое внимание. Отец приказал Миронычу сломить несколько еще зеленых головок мака и выдрать с корнем охапку гороха с молодыми стручками и лопатками; все это он отдал в мое распоряжение и даже позволил съесть один молоденький стручок, плоские горошинки которого показались мне очень сладкими и вкусными. В другое время это заняло бы меня гораздо сильнее, но в настоящую минуту ржаное поле с жнецами и жнищами наполняло мое воображение, и я довольно равнодушно держал в руках за тонкие стебли с десятков маковых головок и охапку зеленого гороха. Возвращаясь домой, мы заехали в паровое поле, довольно заросшее зеленым осотом и козлецом, за что отец мой сделал замечание Миронычу; но тот оправдывался дальностью полей, невозможностью гонять туда господские и крестьянские стада для толоки, и уверял, что вся эта трава подрежется сохами и больше не отрыгнет, то есть не вырастет. Несмотря на все это, отец мой остался не совсем доволен паровым полем, сказал, что пашня местами мелка и борозды редки – отчего и травы много. Солнце опускалось, и мы едва успели посмотреть два господских табуна, нарочно подогнанные близко к пару. В одном находилось множество молодых лошадок всяких возрастов и матерей с жеребятками, которые несколько отвлекли меня от картины жнитва и развеселили своими прыжками и ласками к матерям. Другой табун, к которому, как говорили, и приближаться надо было с осторожностью, осматривал только мой отец, и то ходил к нему пешком вместе с пастухами. Там были какие-то дикие и злые лошади, которые бросались на незнакомых людей. Уже стало темно, когда мы воротились. Мать начинала беспокоиться и жалеть, что меня отпустила. В самом деле, я слишком утомился и заснул, не дождавшись даже чаю.

Проснувшись довольно поздно, потому что никто меня не будил, я увидел около себя большие суеты, хлопоты и сборы. К отцу пришли многие крестьяне с разными просьбами, которых исполнить Мироныч не смел, как он говорил, или, всего вернее, не хотел. Это узнал я после, из разговоров моего отца с матерью. Отец, однако, не брал на себя никакой власти и всем отвечал, что тетушка приказала ему только осмотреть хозяйство и обо всем донести ей; но входить в распоряжения старосты не приказывала. Впрочем, наедине с Миронычем, я сам слышал, как он говорил, что для одного крестьянина бы сделать то-то, а для другого то-то. На такие речи староста обыкновенно отвечал: «Слушаю, будет исполнено», хотя мой отец несколько раз повторял: «Я, братец, тебе ничего не приказываю, а говорю только, не рассудишь ли ты сам так поступить? Я и тетушке донесу, что никаких приказаний тебе не давал, а ты на меня не ссылайся». К матери моей пришло еще более крестьянских баб, чем к отцу крестьян: одни тоже с разными просьбами об оброках, а другие с разными болезнями. Здоровых мать и слушать не стала, а больным давала советы и даже лекарства из своей дорожной аптечки. Накануне вечером, когда я уже спал, отец мой виделся с теми стариками, которых он приказал прислать к себе; видно, они ничего особенно дурного об Мироныче не сказали, потому что отец был с ним ласковее вчерашнего и даже похвалил его за усердие. Священник с попадьей приходили прощаться с нами и отозвались об Мироныче одобрительно. Священник сказал, между прочим, что староста – человек подвластный, исполняет, что ему прикажут, и прибавил с улыбкой, что «един бог без греха и что жаль только, что у Мироныча много родни на селе и он до нее ласков». Я не понял этих слов и думал, что чем больше родни у него и чем он ласковее к ней – тем лучше. Не знаю отчего, сборы продолжались очень долго, и мы выехали около полден. Мироныч и несколько стариков с толпою крестьянских мальчиков и девочек проводили нас до околицы. Нам надобно было проехать сорок пять верст и ночевать на реке Ик, о которой отец говорил, что она не хуже Демы и очень рыбна: приятные надежды опять зашевелились в моей голове.

ДОРОГА ИЗ ПАРАШИНА В БАГРОВО

Дорога удивительное дело! Ее могущество непреодолимо, успокоительно и целительно. Отрывая вдруг человека от окружающей его среды, все равно, любезной ему или даже неприятной, от постоянно развлекающей его множеством предметов, постоянно текущей разнообразной действительности, она сосредоточивает его мысли и чувства в тесный мир

дорожного экипажа, устремляет его внимание сначала на самого себя, потом на воспоминание прошедшего и наконец на мечты и надежды – в будущем; и все это делается с ясностью и спокойствием, без всякой суеты и торопливости. Точно то было тогда со мной. Сначала смешанною толпою новых предметов, образов и понятий роились у меня в голове: Дема, ночевка в Чувашах, родники, мельница, дряхлый старичок-засыпка и ржаное поле со жницами и жнецами, потом каждый предмет отделился и уяснился, явились темные, непонимаемые мной места или пятна в этих картинах: я обратился к отцу и матери, прося объяснить и растолковать их мне. Объяснения и толкования показались мне неудовлетворительными, вероятно, потому, что со мной говорили как с ребенком, не замечая того, что мои вопросы были гораздо старше моего возраста. Наконец я обратился к самому свежему предмету моих недоумений: отчего сначала говорили об Мироныче, как о человеке злом, а простились с ним, как с человеком добрым? Отец с матерью старались растолковать мне, что совершенно добрых людей мало на свете, что парашинские старики, которых отец мой знает давно, люди честные и правдивые, сказали ему, что Мироныч начальник умный и распорядительный, заботливый о господском и о крестьянском деле; они говорили, что, конечно, он потакает и потворствует своей родне и богатым мужикам, которые находятся в милости у главного управителя, Михайлы Максимыча, но что как же быть? Свой своему поневоле друг, и что нельзя не уважить Михайле Максимычу; что Мироныч хотя гуляет, но на работах всегда бывает в трезвом виде и не дерется без толку; что он не поживился ни одной копейкой, ни господской, ни крестьянской, а наживает большие деньги от дегтя и кожевенных заводов, потому что он в части у хозяев, то есть у богатых парашинских мужиков, промысляющих в башкирских лесах сидкою дегтя и покупкою у башкирцев кож разного мелкого и крупного скота; что хотя хозяевам маленько и обидно, ну, да они богаты и получают большие барыши. В заключение старики просили, чтоб Мироныча не трогать и что всякий другой на его месте будет гораздо хуже. Такое объяснение, на которое понадобилось еще много новых объяснений, очень меня озадачило.

Житейская мудрость не может быть понимаема дитятей; добровольные уступки несовместны с чистотой его души, и я никак не мог примириться с мыслью, что Мироныч может драться, не переставая быть добрым человеком. Наконец я надоел своими вопросами, и мне приказали или читать книжку, или играть с сестрицей. Книжка не шла мне в голову, и я принялся разбирать свои камешки и чертовы пальцы, показывая, называя и рассказывая об их качествах моей сестре.

Переезд опять был огромный, с лишком сорок верст. Сначала, верстах в десяти от Парашина, мы проехали через какую-то вновь селившуюся русскую деревню, а потом тридцать верст не было никакого селения и дорога шла по ровному редколесью; кругом виднелись прекрасные рощи, потом стали попадаться небольшие пригорки, а с правой стороны потянулась непрерывная цепь высоких и скалистых гор, иногда покрытых лесом, а иногда совершенно голых. Спускаясь с пологого ската, ведущего к реке Ик, надобно было проезжать мимо чувашско-мордовской и частью татарской деревни, называющейся Ик-Кармала, потому что она раскинулась по пригоркам речки Кармалки, впадающей в Ик, в полуторе версте от деревни. Мы остановились возле околицы, чтоб послать в Кармалу для закупки овса и съестных припасов, которые люди наши должны были привезти нам на ночевку, назначенную на берегу реки Ик. Солнце стояло еще очень высоко; было так жарко, как среди лета. Вдруг мать начала говорить, что не лучше ли ночевать в Кармале, где воздух так сух, и что около Ика ночью непременно будет сыро. Я так и обмер.

Отцу моему также было это неприятно, но он отвечал: «Как тебе угодно, матушка». Мать высунулась из окна, посмотрела на рассеянные чувашские избы и, указав рукою на один двор, стоявший отдельно от прочих и заключавший внутри себя небольшой холм, сказала: «Вот где я желала бы остановиться».

Препятствий никаких не было. Богатый чувашенин охотно пустил нас на ночлег, потому что мы не требовали себе избы, и мы спокойно въехали на огромный, еще зеленый двор и поставили карету, по желанию матери, на самом верху холма, или пригорка. Вид

оттуда был очень хорош на всю живописную окрестность речки Кармалки и зеленую урему Ика, текущего в долине. Но мне было не до прекрасных видов! Все мои мечты поутило вечером, когда, по словам отца, так хорошо клюет рыба на такой реке, которая не хуже Демы, разлетелись как дым, и я стоял точно приговоренный к какому-нибудь наказанию. Вдруг голос отца вывел меня из отчаянного положения. «Сережа, – сказал он, – я попрошу у хозяина лошадь и ролпуски, и он довезет нас с тобой до Ика. Мы там поутиим. Как только солнце станет садиться, я пришлю тебя с Ефремом. А сам я ворочусь, когда уж будет темно. Просись у матери», – прибавил он, смотря с улыбкою в глаза моей матери. Я не говорил ни слова, но когда мать взглянула на меня, то прочла все на моем лице. Она почувствовала невозможность лишить меня этого счастья и с досадой сказала отцу: «Как тебе не стыдно взманить ребенка? Ведь он опять так же взволнуется, как на Деме!» Тут я получил употребление языка и принялся горячо уверять, что буду совершенно спокоен; мать с большим неудовольствием сказала: «Ступай, но чтоб до заката солнца ты был здесь». Так неохотно данное позволение облило меня холодной водой. Я хотел было сказать, что не хочу ехать, но язык не поворотился. Через несколько минут все было готово: лошадь, удочки и червяки, и мы отправились на Ик. Впоследствии я нашел, что Ик ничем не хуже Демы; но тогда я не в состоянии был им восхищаться: мысль, что мать отпустила меня против своего желания, что она недовольна, беспокоится обо мне, что я отпущен на короткое время, что сейчас надо возвращаться – совершенно закрыла мою душу от сладких впечатлений великолепной природы и уже зародившейся во мне охоты, но место, куда мы приехали, было поистине очаровательно! Сажен за двести повыше Ик разделялся на два рукава, или протока, которые текли в весьма близком расстоянии друг от друга. Разделенная вода была уже не так глубока, и на обоих протоках находились высокие мосты на сваях; один проток был глубже и тише, а другой – мельче и быстрее. Такая же чудесная урема, как и на Деме, росла по берегам Ика. Протоки устремлялись в глубь ее и исчезали в густой чаще деревьев и кустов. Далее, по обеим сторонам Ика, протекавшего до сих пор по широкой и открытой долине, подступали горы, то лесистые, то голые и каменистые, как будто готовые принять реку в свое владение. Отец мой выбрал место для уженья, и они оба с Евсеичем скоро принялись за дело. Мне также дали удочку и насадили крючок уже не хлебом, а червяком, и я немедленно поймал небольшого окуня; удочку оправили, закинули и дали мне держать удилице, но мне сделалось так грустно, что я положил его и стал просить отца, чтоб он отправил меня с Евсеичем к матери. Отец удивился, говорил, что еще рано, что солнышко еще целый час не сядет, но я продолжал проситься и начинал уже плакать. Отец мой очень не любил и даже боялся слез, и потому приказал Евсеичу отвезти меня домой, а самому поскорее воротиться, чтобы вечер поутило вместе.

Мое скорое возвращение удивило, даже испугало мать. «Что с тобой, – вскрикнула она, – здоров ли ты?» Я отвечал, что совершенно здоров, но что мне не захотелось утило. По нетвердому моему голосу, по глазам, полным слез, она прочла все, что происходило в моем сердце. Она обняла меня, и мы оба заплакали. Мать хотела опять меня отправить утило к отцу, но я стал горячо просить не посылать меня, потому что желание остаться было вполне искренне. Мать почувствовала, что послать меня было бы таким же насилеи, как и непозволение ехать, когда я просился. Евсеич бегом побежал к отцу, а я остался с матерью и сестрой; мне вдруг сделалось так легко, так весело, что, кажется, я еще и не испытывал такого удовольствия. После многих нежных слов, ласк и разговоров, позаботившись, чтоб хозяйские собаки были привязаны и заперты, мать приказала мне вместе с сестрицей побегать по двору. Мы обежали вокруг пригорка, на котором стояла наша карета, и нашли там такую диковинку, что я, запыхавшись, с радостным криком прибежал рассказать о ней матери. Дело состояло в том, что с задней стороны, из середины пригорка, бил родник; чувашенин подставил колоду, и как все надворные строения были ниже родника, то он провел воду, во-первых, в летнюю кухню, во-вторых, в огромное корыто, или выдолбленную колоду, для мытья белья, и, в-третьих, в хлевы, куда загонялся на ночь скот и лошади.

Все это привело меня в восхищение, и обо всем я с жаром рассказал матери.

Мать улыбалась и хвалила догадливость чувашенина, особенно выгодную потому, что речка было довольно далеко. В дополнение моего удовольствия мать позволила мне развести маленький костер огня у самой кареты, потому что наш двор был точно поле. Великолепно опускалось солнце за темные Икские горы.

Мы напились чаю, потом поужинали при свете моего костра. Отец еще не возвращался. Несколько раз мелькала у меня в голове мысль: что-то делается на берегу Ика? Как-то клюет там рыба? Но эти мысли не смущали моего радостного, светлого состояния души. Какой был вечер! Каким чудным светом озаряла нас постепенно угасающая заря! Как темнела понемногу вся окрестность! Вот уже и урема Ика скрылась в белом тумане росы, и мать сказала мне: «Видишь, Сережа, как там сыро, – хорошо, что мы не там ночуем». Отец все еще не возвращался, и мать хотела уже послать за ним, но только что мы улеглись в карете, как подошел отец к окну и тихо сказал: «Вы еще не спите?» Мать попеняла ему, что он так долго не возвращался. Рыбы поймали мало, но отец выудил большого жереха, которого мне очень захотелось посмотреть. Евсеич принес пук горячей лучины, и я, не вылезая из кареты, полюбовался на эту славную рыбу. Отец перекрестил меня и сел ужинать. Еще несколько слов, несколько ласк от матери – и крепкий сон овладел мною.

Мы никогда еще не поднимались так рано с ночлега, потому что рано остановились. Я вприсонках слышал, как спустили карету с пригорка, и совсем проснулся, когда сел к нам отец. Мысль, что я сейчас опять увижу Ик, разгуляла меня, и я уже не спал до солнечного восхода. При блеске как будто пылающей зари подъехали мы к первому мосту через Ик; вся урема и особенно река точно дымились. Я не смел опустить стекла, которое поднял отец, шепотом сказав мне, что сырость вредна для матери; но и сквозь стекло я видел, что все деревья и оба моста были совершенно мокры, как будто от сильного дождя. Но как хорош был Ик! Легкий пар подымался от быстро текущих и местами завертывающихся струй его. Высокие деревья были до половины закутаны в туман. Как только поднялись мы на изволок, туман исчез и первый луч солнца проник почти сзади в карету и осветил лицо спящей против меня моей сестрицы. Через несколько минут мы все уже крепко спали. Рано поднявшись, довольно рано приехали мы и на кормежку в большое мордовское селение Коровино. Там негде было кормить в поле, но как мать моя не любила останавливаться в деревнях, то мы расположились между последним двором и околицей. Славного жереха, доведенного в мокрой траве совершенно свежим, сварили на обед. Мать только что отведала и то по просьбе отца: она считала рыбу вредною для себя пищей. Мне тоже дали небольшой кусочек с ребер, и я нашел его необыкновенно вкусным, что утверждал и мой отец. Выкормив лошадей, мы вскоре после полден, часу во втором пустились в путь. Это был последний переезд до Багрова, всего тридцать пять верст. Мы торопились, чтоб приехать пораньше, потому что в Коровине, где все знали моего дедушку и отца, мы услышали, что дедушка нездоров. В продолжение дороги мы два раза переехали через реку Насягай по весьма плохим мостам. Первый мост был так дурен, что мы должны были все выйти из кареты, даже лошадей уносных отложили и на одной паре коренных кое-как перетащили нашу тяжелую и нагруженную карету. Тут Насягай был еще невелик, но когда, верст через десять, мы переехали его в другой раз, то уже увидели славную реку, очень быструю и глубокую; но все он был, по крайней мере, вдвое меньше Ика, и урема его состояла из одних кустов. Солнце стояло еще очень высоко, «деревя в два», как говорил Евсеич, когда мы с крутой горы увидели Багрово, лежащее в долине между двух больших прудов, до половины заросших камышами, и с одной стороны окруженное высокими березовыми рощами. Я все это очень хорошо рассмотрел, потому что гора была крута, карету надобно было подтормозить и отец пошел со мною пешком. Не знаю отчего, сердце у меня так и билось.

Когда мать выглянула из окошка и увидела Багрово, я заметил, что глаза ее наполнились слезами и на лице выразилась грусть; хотя и прежде, вслушиваясь в разговоры отца с матерью, я догадывался, что мать не любит Багрова и что ей неприятно туда ехать, но я оставлял эти слова без понимания и даже без внимания и только в эту минуту понял, что есть какие-нибудь важные причины, которые огорчают мою мать. Отец также сделался

невесел. Мне стало грустно, и я с большим смущением сел в карету. В несколько минут доехали мы до крыльца дома, который показался мне печальным и даже маленьким в сравнении с нашим уфимским домом.

БАГРОВО

Бабушка и тетушка встретили нас на крыльце. Они с восклицаниями и, как мне показалось, со слезами обнимались и целовались с моим отцом и матерью, а потом и нас с сестрой перецеловали. Я ту же минуту, однако, почувствовал, что они не так были ласковы с нами, как другие городские дамы, иногда приезжавшие к нам. Бабушка была старая, очень толстая женщина, одетая точно в такой шушун и так же повязанная платком, как наша нянька Агафья, а тетушка была точно в такой же кофте и юбке, как наша Параша. Я сейчас заметил, что они вообще как-то совсем не то, что моя мать или наши уфимские гости.

К дедушке сначала вошел отец и потом мать, а нас с сестрицей оставили одних в зале. Мать успела сказать нам, чтоб мы были смирны, никуда по комнатам не ходили и не говорили громко. Такое приказание вместе с недостаточно ласковым приемом так нас смутило, что мы оробели и молча сидели на стуле совершенно одни, потому что нянька Агафья ушла в коридор, где окружили ее горничные девки и дворовые бабы. Так прошло немало времени.

Наконец вышла мать и спросила: «Где же ваша нянька?» Агафья выскочила из коридора, уверяя, что только сию минуту отошла от нас, между тем как мы с самого прихода в залу ее и не видали, а слышали только бормотанье и шушуканье в коридоре. Мать взяла нас обоих за руки и ввела в горницу дедушки; он лежал совсем раздетый в постели. Седая борода отросла у него чуть не на вершок, и он показался мне очень страшен. «Здравствуйте, внучек и внучка», – сказал он, протянув нам руку. Мать шепнула, чтоб мы ее поцеловали. «Не разгляжу теперь, – продолжал дедушка, жмурясь и накрыв глаза рукою, – на кого похож Сережа: когда я его видел, он еще ни на кого не походил. А Надежа, кажется, похожа на мать. Завтра, бог даст, не встану ли как-нибудь с постели. Дети, чать, с дороги кушать хотят; покормите же их. Ну, ступайте, улаживайтесь на новом гнезде».

Мы все вышли. В гостиной ожидал нас самовар. Бабушка хотела напоить нас чаем с густыми жирными сливками и сдобными кренделями, чего, конечно, нам хотелось; но мать сказала, что она сливок и жирного нам не дает и что мы чай пьем постный, а вместо сдобных кренделей просила дать обыкновенного белого хлеба. «Ну, так ты нам скажи, невестушка, – говорила бабушка, – что твои детки едят и чего не едят: а то ведь я не знаю, чем их потчевать; мы ведь люди деревенские и ваших городских порядков не знаем». Тетушка подхватила, что сестрица сама будет распоряжаться и что пусть повар Степан к ней приходит и спрашивает, что нужно приготовить. Хотя я не понимал тогда тайной музыки этих слов, но я тут же почувствовал что-то чужое, недоброхотное. Мать отвечала очень почтительно, что напрасно матушка и сестрица беспокоятся о нашем кушанье и что одного куриного супа будет всегда для нас достаточно; что она потому не дает мне молока, что была напугана моей долговременной болезнью, а что возле меня и сестра привыкла пить постный чай. Потом бабушка предложила моей матери выбрать для своего помещения одну из двух комнат: или залу, или гостиную. Мать отвечала, что она желала бы занять гостиную, но боится, чтоб не было беспокойно сестрице от такого близкого соседства с маленькими детьми. Тетушка возразила, что стена глухая, без двери, и потому слышно не будет, – и мы заняли гостиную.

С нами была железная двойная кровать, которая вся развинчивалась и разбиралась. Ефрем с Федором сейчас ее собрали и поставили, а Параша повесила очень красивый, не знаю, из какой материи, кажется, кисейный занавес; знаю только, что на нем были такие прекрасные букеты цветов, что я, много лет спустя, находил большое удовольствие их рассматривать; на окошки повесили такие же гардины – и комната вдруг получила совсем другой вид, так что у меня на сердце стало веселее. Дорожные сундуки также притащили в

гостиную и покрыли ковром. Я не забыл своего ящичка с камешками, а также своих книг и все это разложил в углу на столике. Перед ужином отец с матерью ходили к бабушке и остались у него посидеть. Нас также хотели было сводить к нему проститься, но бабушка сказала, что не надо его беспокоить и что детям пора спать. Оставшись одни в новом своем гнезде, мы с сестрицей принялись болтать; я сказал одни потому, что нянька опять ушла и, стоя за дверьми, опять принялась с кем-то шептаться. Я сообщил моей сестрице, что мне невесело в Багрове, что я боюсь бабушки, что мне хочется опять в карету, опять в дорогу, и много тому подобного; но сестрица, плохо понимая меня, уже дремала и говорила такой вздор, что я смеялся. Наконец сон одолел ее, я позвал няню, и она уложила мою сестру спать на одной кровати с матерью, где и мне приготовлено было местечко; отцу же постлали на канаве. Я тоже лег. Мне было сначала грустно, потом стало скучно, и я заснул. Не знаю, сколько времени я спал, но, проснувшись, увидел при свете лампы, теплившейся перед образом, что отец лежит на своем канаве, а мать сидит подле него и плачет.

Мать долго говорила вполголоса, иногда почти шепотом, и я не мог расслушать в связи всех ее речей, хотя старался как вслушиваться. Сон отлетел от моих глаз, и слова матери: «Как я их оставляю? На кого? Я умру с тоски; никакой доктор мне не поможет», а также слова отца: «Матушка, побереги ты себя, ведь ты захворает; ты непременно завтра сляжешь в постель...» — слова, схваченные моим детским напряженным слухом на лету, между многими другими, встревожили, испугали меня. Мысль остаться в Багрове одним с сестрой, без отца и матери, хотя была не новою для меня, но как будто до сих пор не понимаемою; она вдруг поразила меня таким ужасом, что я на минуту потерял способность слышать и соображать слышанное, и потому многих разговоров не понял, хотя и мог бы понять. Наконец мать, по усиленным просьбам отца, согласилась лечь в постель. Она помолилась богу, перекрестила нас с сестрой и легла. Я притворился спящим; но в самом деле заснул уже тогда, когда заснула моя мать.

Оправдалось предсказание моего отца! Проснувшись, я увидел, что он и Параша хлопотали около моей матери. Она очень захворала; у ней разлилась желчь и была лихорадка; она и прежде бывала нездорова, но всегда на ногах, а теперь была так слаба, что не могла встать с постели. Я никогда еще не видал ее так больною... страх и тоска овладели мной. Я уже понимал, что мои слезы огорчат больную, что это будет ей вредно — и плакал потихоньку, завернувшись в широкие полы занавеса, за высоким изголовьем кровати. Отец увидел это и, погрозя пальцем, указал на мать; я кивнул и потряс головою в знак того, что понимаю, в чем дело, и не встревожу больную.

Отец ходил к бабушке и, воротясь, сказал, что ему лучше и что он хочет встать. В зале тетушка разливала чай, няня позвала меня туда, но я не хотел отойти ни на шаг от матери, и отец, боясь, чтобы я не расплакался, если станут принуждать меня, сам принес мне чаю и постный крендель, точно такой, какие присылали нам в Уфу из Багрова; мы с сестрой (да и все) очень их любили, но теперь крендель не пошел мне в горло, и, чтоб не принуждали меня есть, я спрятал его под огромный пуховик, на котором лежала мать. Я слышал в беспрестанно растворяемую дверь, как весело болтала моя сестрица с бабушкой и тетушкой, и мне было отчего-то досадно на нее. Я слышал, как повели ее к бабушке, и почувствовал, что сейчас придут за мной.

Предчувствие исполнилось ту же минуту: тетушка прибежала, говоря, что бабушка меня спрашивает. Отец громко сказал: «Сережа, ступай к бабушке».

Мать тихо подозвала меня к себе, разгладила мои волосы, пристально посмотрела на мои покрасневшие глаза, поцеловала меня в лоб и сказала на ухо: «Будь умен и ласков с бабушкой», и глаза ее наполнились слезами.

Каково же было мне идти! Отец остался с матерью, а тетушка повела меня за руку. Видно, много страдания и страха выражалось на моем лице, потому что тетушка, остановившись в лакейской, приласкала меня и сказала: «Не бойся, Сережа! Бабушка тебя не укусит». Я едва мог удерживать слезы, готовые хлынуть из глаз, и робко переступил порог бабушкиной горницы. Он сидел на кожаных, старинных, каких-то диковинных креслах,

езде по краям унизанных медными шишечками... Как это странно! Эти кресла и медные шишечки прежде всего кинулись мне в глаза, привлекли мое внимание и как будто рассеяли и немного ободрили меня. Дедушка был в халате, на коленях у него сидела сестрица. Увидя меня, он сейчас спустил ее на пол и ласково сказал: «Подойди-ка ко мне, Сережа», и протянул руку. Я поцеловал ее. «Что это у тебя глаза красны? Ты, никак, плакал, да и теперь хочешь плакать? Видно, ты боишься и не любишь дедушку?» – «Маменька больна», – сказал я, собрав все силы, чтоб не заплакать. Тут бабушка и тетушка принялись рассказывать, что я ужас как привязан к матери, что не отхожу от нее ни на пядь и что она уже меня так приучила. Говорили много в этом роде; но дедушка как будто не слушал их, а сам так пристально и добродушно смотрел на меня, что робость моя стала проходить. «Знаете ли, на кого похож Сережа? – громко и весело сказал он. – Он весь в дядю, Григорья Петровича». С этими словами он взял меня, посадил к себе на колени, погладил, поцеловал и сказал: «Не плачь, Сережа. Мать выздоровеет. Ведь это не смертное», – и начал меня расспрашивать очень много и очень долго об Уфе и о том, что я там делал, о дороге и прочее. Я ободрился и разговорился, особенно о книжках и о дороге.

Дедушка слушал меня внимательно, приветливо улыбался, наконец сказал, как-то значительно посмотрев на бабушку и тетушку: «Это хорошо, что ты мать любишь. Она ходила за тобой, не щадя живота. Ступай к ней, только не шуми, не беспокой ее и не плачь». Я отвечал, что маменька не увидит, что я спрячусь в полог, когда захочется плакать, поцеловал руку у дедушки и побежал к матери. Сестрица осталась. Мать как будто испугалась, услышав мои скорые шаги, но увидав мое радостное лицо, сама обрадовалась. Я поспешил рассказать с малейшими подробностями мое пребывание у дедушки, и кожаные кресла с медными шишечками также не были забыты: отец и даже мать не могли не улыбаться, слушая мое горячее и обстоятельное описание кресел. «Слава богу, – сказала мать, – я вижу, что ты дедушке понравился. Он добрый, ты должен любить его...» Я отвечал, что люблю и, пожалуй, сейчас опять пойду к нему; но мать возразила, что этого не нужно, и попросила отца сейчас пойти к дедушке и посидеть у него: ей хотелось знать, что он станет говорить обо мне и об сестрице. Хотя я, по-видимому, был доволен приемом дедушки, но все мне казалось, что он не так обрадовался мне, как я ожидал, судя по рассказам. Я спросил об этом мать. Она отвечала, что дедушка теперь нездоров, что ему не до нас, а потому он и неласков.

Вместе с Парашей я стал хлопотать и ухаживать около больной, подавая ей какое-то лекарство, которое она сделала по Бухану, и питье из клюквы.

Она попросила было лимонов, но ей отвечали, что их даже не видывали. «Как я глупа», – сказала мать как будто про себя и спросила клюквы. Параша сейчас принесла целую полоскательную чашку, прибавя, что «клюквы у них много: им каждый год, по первому зимнему пути, по целому возу привозят ее из Старого Багорова». Потом мать приказала привязать к своей голове черного хлеба с уксусом, который мне так нравился, что я понемножку клал его к себе в рот; потом она захотела как будто уснуть и заставила меня читать. Я сейчас принялся за «Детское чтение», и в самом деле мать заснула и спала целый час. Я видел в окошко, что сестрица гуляла с нянькой Агафьей по саду, между разросшимися, старыми, необыкновенной величины кустами смородины и барбариса, каких я ни прежде, ни после не видывал; я заметил, как выпархивали из них птички с красно-желтыми хвостиками. Заметил, что из одного такого куста выпрыгнула пестрая кошка – и мне очень захотелось туда.

Как только мать проснулась и сказала, что ей немножко получше, вошел отец. Я сейчас попросился гулять в сад вместе с сестрой; мать позволила, приказав мне не подходить к реке, чего именно я желал, потому что отец часто разговаривал со мной о своем любезном Бугуруслане и мне хотелось посмотреть на него поближе. В саду я увидел, что сада нет даже и такого, какие я видал в Уфе. Это был скорее огород, состоявший из одних ягодных кустов, особенно из кустов белой, красной и черной смородины, усыпанной ягодами, и из яблонь, большею частью померзших прошлого года, которые были спилены и вновь привиты

черенками; все это заключалось в огороде и было окружено высокими навозными грядками арбузов, дынь и тыкв, бесчисленным множеством грядок с огурцами и всякими огородными овощами, разными горохами, бобами, редькою, морковью и проч. Вдобавок ко всему везде, где только было местечко, росли подсолнечники и укроп, который там называли «копром», наконец, на ложине, заливаемой весенней водой, зеленело страшное количество капусты... Вся эта некрасивая смесь мне очень понравилась, нравится даже и теперь, и, конечно, гораздо более подстриженных липовых или березовых аллей и несчастных елок, из которых вырезают комоды, пирамиды и шары. С правой стороны, возле самого дома, текла быстрая и глубокая река или речка, которая вдруг поворачивала налево и таким образом составляя угол, с двух сторон точно огораживала так называемый сад. Едва мы успели его обойти и осмотреть, едва успели переговорить с сестрицей, которая с помощью няньки рассказала мне, что дедушка долго продержал ее, очень ласкал и наконец послал гулять в сад, – как прибежал Евсеич и позвал нас обедать; в это время, то есть часу в двенадцатом, мы обыкновенно завтракали, а обедали часу в третьем; но Евсеич сказал, что дедушка всегда обедает в полдень и что он сидит уже за столом. Мы поспешили в дом и вошли в залу.

Дедушка приказал нас с сестрицей посадить за стол прямо против себя, а как высоких детских кресел с нами не было, то подложили под нас кучу подушек, и я смеялся, как высоко сидела моя сестрица, хотя сам сидел немного пониже. Я вспомнил, что, воротившись из сада, не был у матери, и стал проситься сходить к ней; но отец, сидевший подле меня, шепнул мне, чтоб я перестал проситься и что я схожу после обеда; он сказал эти слова таким строгим голосом, какого я никогда не слыхивал, – и я замолчал. Дедушка хотел нас кормить разными своими кушаньями, но бабушка остановила его, сказав, что Софья Николавна ничего такого детям не дает и что для них приготовлен суп.

Дедушка поморщился и сказал: «Ну, так пусть отец кормит их как знает». Сам он и вся семья ели постное, и дедушка, несмотря на то что первый день как встал с постели, кушал ботвинью, рыбу, раки, кашу с каким-то постным молоком и грибы. Запах постного масла бросился мне в нос, и я сказал: «Как нехорошо пахнет!» Отец дернул меня за рукав и опять шепнул мне, чтоб я не смел этого говорить, но дедушка слышал мои слова и сказал: «Эге, брат, какой ты нежен-ка». Бабушка и тетушка улыбнулись, а мой отец покраснел.

После обеда дедушка зашел к моей матери, которая лежала в постели и ничего в этот день не ела. Посидев немного, он пошел почивать, и вот наконец мы остались одни, то есть: отец с матерью и мы с сестрицей. Тут я узнал, что дедушка приходил к нам перед обедом и, увидя, как в самом деле больна моя мать, очень сожалел об ней и советовал ехать немедленно в Оренбург, хотя прежде, что было мне известно из разговоров отца с матерью, он называл эту поездку причудами и пустою тратою денег, потому что не верил докторам. Мать отвечала ему, как мне рассказывали, что теперешняя ее болезнь дело случайное, что она скоро пройдет и что для поездки в Оренбург ей нужно несколько времени оправиться. Снова поразила меня мысль об разлуке с матерью и отцом. Остаться нам одним с сестрицей в Багрове на целый месяц казалось мне так страшно, что я сам не знал, чего желать. Я вспомнил, как сам просил еще в Уфе мою мать ехать поскорее лечиться, но слова, слышанные мною в прошедшую ночь: «Я умру с тоски, никакой доктор мне не поможет», поколебали во мне уверенность, что мать воротится из Оренбурга здоровою.

Все это я объяснял ей и отцу как умел, сопровождая свои объяснения слезами; но для матери моей нетрудно было уверить меня во всем, что ей угодно, и совершенно успокоить, и я скоро, несмотря на страх разлуки, стал желать только одного: скорейшего отъезда маменьки в Оренбург, где непременно вылечит ее доктор. С этих пор я заметил, что мать сделалась осторожна и не говорила при мне ничего такого, что могло бы меня встревожить или испугать, а если и говорила, то так тихо, что я ничего не мог расслышать. Она заставляла меня долее обыкновенного читать, играть с сестрицей и гулять с Евсеичем; даже отпускала с отцом на мельницу и на остров. Пруд и остров очень мне нравились, но, конечно, не так, как бы понравились в другое время и как горячо полюбил я их впоследствии.

Через несколько дней мать встала с постели; ее лихорадка и желчь прошли, но она еще

больше похудела и глаза ее пожелтели. Скоро я заметил, что стали решительно собираться в Оренбург и что сам дедушка торопил отъездом, потому что путь был неблизкий. Один раз мать при мне говорила ему, что боится обременить матушку и сестрицу присмотром за детьми; боится обеспокоить его, если кто-нибудь из детей захворает. Но дедушка возразил, и как будто с сердцем, что это все пустяки, что ведь дети не чужие и что кому же, как не родной бабушке и тетке, присмотреть за ними. Мать говорила, что нянька у нас не благонадежна и что уход за мной она поручает Ефрему, очень доброму и усердному человеку, и что он будет со мной ходить гулять. Дедушка отвечал: «Ну что же, хорошо. Ефрем доброй породы, а не то, пожалуй, я дам тебе свою Аксютку ходить за детьми». Мать отклонила такое милостивое предложение под разными предлогами; она знала, что Аксинья недобрая.

Дедушка с неудовольствием промолвил: «Ну, как хочешь; я ведь с своей Аксюткой не навязываюсь». Слышал я также, как моя мать просила и молила со слезами бабушку и тетушку не оставить нас, присмотреть за нами, не кормить постным кушаньем, и, в случае нездоровья, не лечить обыкновенными их лекарствами: гарлемскими каплями и эссенцией долгой жизни, которыми они лечили всех, и стариков и младенцев, от всех болезней. Бабушка и тетушка, которые были недовольны, что мы остаемся у них на руках, и даже не скрывали этого, обещали, покоряясь воле дедушки, что будут смотреть за нами неусыпно и выполнять все просьбы моей матери. На всякий случай мать оставила некоторые лекарства из своей аптеки и даже написала, как и когда их употреблять, если кто-нибудь из нас захворает. Это было поручено тетушке Татьяне Степановне, которая все-таки была добрее других и не могла не чувствовать жалости к слезам больной матери, впервые расстающейся с маленькими детьми.

Все это время, до отъезда матери, я находился в тревожном состоянии и даже в борьбе с самим собою. Видя мать бледною, худою и слабою, я желал только одного, чтоб она ехала поскорее к доктору; но как только я или оставался один, или хотя и с другими, но не видал перед собою матери, тоска от приближающейся разлуки и страх остаться с дедушкой, бабушкой и тетушкой, которые не были так ласковы к нам, как мне хотелось, не любили или так мало любили нас, что мое сердце к ним не лежало, овладевали мной, и мое воображение, развитое не по летам, вдруг представляло мне такие страшные картины, что я бросал все, чем тогда занимался: книжки, камешки, оставлял даже гулянье по саду и прибегал к матери как безумный, в тоске и страхе.

Несколько раз готов я был броситься к ней на шею и просить, чтоб она не ездила или взяла нас с собою; но больное ее лицо заставляло меня опомниться, и желание, чтоб она ехала лечиться, всегда побеждало мою тоску и страх. Я не понимаю теперь, отчего отец и мать решились оставить нас в Багрове. Они ехали в той же карете, и мы точно так же могли бы поместиться в ней; но мать никогда не имела этого намерения и еще в Уфе сказала мне, что ни под каким видом не может нас взять с собою, что она должна ехать одна с отцом; это намерение ни разу не поколебалось и в Багрове, и я вполне верил в невозможность переменить его.

Через неделю, которая, несмотря на мою печаль и мучительные тревоги, необыкновенно скоро прошла для меня, отец и мать уехали. При прощанье я уже не умел совладеть с собою, и мы оба с сестрой плакали и рыдали; мать также.

Когда карета съехала со двора и пропала из моих глаз, я пришел в испуг, бросился с крыльца и побежал догонять карету с криком: «Маменька, воротись!» Этого никто не ожидал, и потому не вдруг могли меня остановить; я успел перебежать через двор и выбежать на улицу. Евсеич первый догнал меня, за ним бежало множество народа; он схватил меня и, крепко держа на руках, принес домой. Дедушка с бабушкой стояли на крыльце, а тетушка шла к нам навстречу; она стала уговаривать и ласкать меня, но я ничего не слушал, кричал, плакал и старался вырваться из крепких рук Евсеича. Когда он взшел на крыльцо, поставил меня на ноги перед дедушкой, дедушка сердито крикнул: «Перестань реветь. О чем плачешь? Мать воротится, не останется жить в Оренбурге». И я пресмирел.

Дедушка пошел в свою горницу, и я слышал, как бабушка, идя за ним, говорила: «Вот, батюшка, сам видишь. Много будет нам хлопот: дети очень избалованы». Тетушка взяла меня за руку и повела в гостиную, то есть в нашу спальную комнату. Милая моя сестрица, держась за другую мою руку и сама обливаясь тихими слезами, говорила: «Не плачь, братец, не плачь». Когда мы вошли в гостиную и я увидел кровать, на которой мы обыкновенно спали вместе с матерью, я бросился на постель и снова принялся громко рыдать. Тетушка, Евсеич и нянька Агафья употребляли все усилия, чтоб успокоить меня книжками, штуфами, игрушками и разговорами. Евсеич пробовал остановить мои слезы рассказами о дороге, о Деме, об уженье и рыбаках, но все было напрасно; только утомившись от слез и рыдания, я наконец, сам не знаю как, заснул.

ПРЕБЫВАНИЕ В БАГРОВЕ БЕЗ ОТЦА И МАТЕРИ

И с лишком месяц прожили мы с сестрицей, без отца и матери, в негостеприимном тогда для нас Багрове, большую часть времени заключенные в своей комнате, потому что скоро наступила сырая погода и гулянье наше по саду прекратилось. Вот как текла эта однообразная и невеселая жизнь: как скоро мы просыпались, что бывало всегда часу в восьмом, нянька водила нас к дедушке и бабушке; с нами здоровались, говорили несколько слов, а иногда почти и не говорили, потом отсылали нас в нашу комнату; около двенадцати часов мы выходили в залу обедать; хотя от нас была дверь прямо в залу, но она была заперта на ключ и даже завешена ковром, и мы проходили через коридор, из которого тогда еще была дверь в гостиную. За обедом нас всегда сажали на другом конце стола, прямо против дедушки, всегда на высоких подушках; иногда он бывал весел и говорил с нами, особенно с сестрицей, которую называл козулькой; а иногда он был такой сердитый, что ни с кем не говорил; бабушка и тетушка также молчали, и мы с сестрицей, соскучившись, начинали перешептываться между собой; но Евсеич, который всегда стоял за моим стулом, сейчас останавливал меня, шепнув мне на ухо, чтобы я молчал; то же делала нянька Агафья с моей сестрицей. После они сказали нам, чтобы мы не смели говорить, когда старый барин, то есть дедушка, не весел. После обеда мы сейчас уходили в свою комнату, куда в шесть часов приносили нам чай; часов в восемь обыкновенно ужинали, и нас точно так же, как к обеду, водили в залу и сажали против дедушки; сейчас после ужина мы прощались и уходили спать. Первые дни заглядывала к нам в комнату тетушка и как будто заботилась о нас, а потом стала ходить реже и наконец совсем перестала. Мы только и видались с нею и со всеми за обедом, ужином, при утреннем здорованье и вечернем прощанье. Сначала заглядывали к нам, под разными предлогами, горничные девчонки и девушки, даже дворовые женщины, просили у нас «поцеловать ручку», к чему мы не были приучены и потому не соглашались, кое о чем спрашивали и уходили; потом все совершенно нас оставили, и, кажется, по приказанью бабушки или тетушки, которая (я сам слышал) говорила, что «Софья Николавна не любит, чтоб лакеи и девки разговаривали с ее детьми». Нянька Агафья от утреннего чая до обеда и от обеда до вечернего чая также куда-то уходила, но зато Евсеич целый день не отлучался от нас и даже спал всегда в коридоре у наших дверей. Он или забавлял нас рассказами, или играл с нами, или слушал мое чтение. Тут-то мы еще больше сжились с милой моей сестрицей, хотя она была так еще мала, что я не мог вполне разделять с ней всех моих мыслей, чувств и желаний. Она, например, не понимала, что нас мало любят, а я понимал это совершенно; оттого она была смелее и веселее меня и часто сама заговаривала с дедушкой, бабушкой и теткой; ее и любили за то гораздо больше, чем меня, особенно дедушка; он даже иногда присылал за ней и подолгу держал у себя в горнице. Я очень это видел, но не завидовал милой сестрице, во-первых, потому, что очень любил ее, и, во-вторых, потому, что у меня не было расположения к дедушке и я чувствовал всегда невольный страх в его присутствии. Должно сказать, что была особенная причина, почему я не любил и боялся дедушки: я своими глазами видел один раз, как он сердился и топал ногами; я слышал потом из своей комнаты какие-то страшные и жалобные крики. Нянька

Агафья не замедлила мне все объяснить, хотя добрый Евсеич понял, зачем она рассказывает дитяти то, о чем ему и знать не надо.

И так-неприметно устроился у нас особый мир в тесном углу нашем, в нашей гостиной комнате. Первые дни после отъезда отца и матери я провел в беспрестанной тоске и слезах, но мало-помалу успокоился, осмотрелся вокруг себя и устроился. Всякий день я принимался учить читать маленькую сестрицу, и совершенно без пользы, потому что во все время пребывания нашего в Багрове она не выучила даже азбуки. Всякий день заставлял ее слушать «Детское чтение», читая сряду все статьи без исключения, хотя многих сам не понимал. Бедная слушательница моя часто зевала, напряженно устремив на меня свои прекрасные глазки, и засыпала иногда под мое чтение; тогда я принимался с ней играть, строя городки и церкви из чурочек или дома, в которых хозяевами были ее куклы; самая любимая ее игра была игра «в гости»: мы садились по разным углам, я брал к себе одну или две из ее кукол, с которыми приезжал в гости к сестрице, то есть переходил из одного угла в другой. У сестрицы всегда было несколько кукол, которые все назывались ее дочками или племянницами; тут было много разговоров и угощений, полное передразнивание больших людей. Я очень помню, что пускался в разные выдумки и рассказывал разные небывалые со мной приключения, некоторым основанием или образцом которых были прочитанные мною в книжках или слышанные происшествия. Так, например, я рассказывал, что у меня в доме был пожар, что я выпрыгнул с двумя детьми из окошка (то есть с двумя куклами, которых держал в руках); или что на меня напали разбойники и я всех их победил; наконец, что в багровском саду есть пещера, в которой живет Змей Горыныч о семи головах, и что я намерен их отрубить. Мне очень было приятно, что мои рассказы производили впечатление на мою сестрицу и что мне иногда удавалось даже напугать ее; одну ночь она худо спала, просыпалась, плакала и все видела во сне то разбойников, то Змея Горыныча и прибавляла, что это братец ее напугал. Няня погрозила мне, что пожалуется дедушке, и я укротил пламенные порывы моей детской фантазии. Во время отсутствия отца и матери три тетушки перебивали в гостях в Багрове. Первая была Александра Степановна; она произвела на меня самое неприятное впечатление, а также и муж ее, который, однако, нас с сестрой очень любил, часто сажал на колени и беспрестанно целовал. Новая тетушка совсем нас не любила, все насмехалась над нами, называла нас городскими неженками, и сколько я мог понять, очень нехорошо говорила о моей матери и смеялась над моим отцом. Ее муж бывал иногда как-то странен и даже страшен: шумел, бранился, пел песни и, должно быть, говорил очень дурные слова, потому что обе тетушки зажимали ему рот руками и пугали, что дедушка идет, чего он очень боялся и тотчас уходил от нас. Вторая приехавшая тетушка была Аксинья Степановна, крестная моя мать; эта была предобрая, нас очень любила и очень ласкала, особенно без других; она даже привезла нам гостинца, изюма и черносливу, но отдала тихонько от всех и велела так есть, чтобы никто не видал; она пожурела няньку нашу за неопрятность в комнате и платье, приказала переменять чаще белье и погрозила, что скажет Софье Николавне, в каком виде нашла детей; мы очень обрадовались ее ласковым речам и очень ее полюбили. Одно смутило меня: приказанье есть потихоньку подаренные ею лакомства. Мать и отец приучали меня ничего тихонько не делать, и я решился спрятать изюм и чернослив до приезда матери. Третья тетушка, Елизавета Степановна, которую все называли генеральшей, приезжала на короткое время; эта тетушка была прегордая и ничего с нами не говорила. Она привезла с собою двух дочерей, которые были постарше меня; она оставила их погостить у дедушки с бабушкой и сама дня через три уехала. По-видимому, пребывание двух двоюродных сестриц могло бы развеселить нас и сделать нашу жизнь более приятною, но вышло совсем не так, и положение наше стало еще грустнее, по крайней мере мое. Я очень видел, что с ними поступают совсем не так, как с нами; их и любили, и ласкали, и веселили, и угощали разными лакомствами; им даже чай наливали слаще, чем нам: я узнал это нечаянно, взявши ошибкой чашку двоюродной сестры. Девочки эти, разумеется, ни в чем не были виноваты: они чуждались нас, но, как их научили и как им приказывали, так они и обходились с нами.

Я пробовал им читать, но они не хотели слушать и называли меня дьячком. Они были в доме свои: вся девичья и вся дворня их знала и любила, и им было очень весело, а на нас никто и не смотрел. Я часто слышал сквозь дверь в коридоре шепот и сдержанный смех, а иногда и хохот и возню; Евсеич сказывал мне, что это горничные девушки играли с барышнями и прятались за сундуками в перинах и подушках, которыми был завален по обеим сторонам широкий коридор. Евсеич предлагал и мне поиграть, и мне самому иногда хотелось, но у меня недоставало для этого смелости, да и мать, уезжая, запретила нам входить в какие-нибудь игры или разговоры с багровской прислугой. Евсеич в продолжение этих тяжелых пяти недель сделался совершенно моим дядькой, и я очень полюбил его. Я даже читывал ему иногда «Детское чтение». Однажды я прочел ему «Повесть о несчастной семье»,¹³ жившей под снегом». Выслушав ее, он сказал: «Не знаю, соколики мои (так он звал меня всегда), все ли правда тут написано; а вот здесь, в деревне, прошлой зимою, доподлинно случилось, что мужик Арефий Никитин поехал за дровами в лес, в общий колок, всего версты четыре, да и запоздал; поднялся буря, лошаденка была плохая, да и сам он был плох; показалось ему, что он не по той дороге едет, он и пошел отыскивать дорогу, снег был глубокий, он выбился из сил, завяз в долочке – так его снегом там и занесло. Лошадь постояла, отдохнула, видно, прозябла, и пошла шагком, да и пришла домой с возом. Дома Арефья ждали; увидели, что лошадь пришла одна, дали знать старосте, подняли тревогу, и мужиков с десятков поехали отыскивать Арефья. Буря была страшная, зги не видать!

Поездили, искали, да так ни с чем и воротились. На другой день вся барщина ездila отыскивать и также ничего не нашла. Уж на третий день, совсем по другой дороге, ехал мужик из Кудрина, ехал он с зверовой собакой; собака и причуяла что-то недалеко от дороги и начала лапами снег разгребать; мужик был охотник, остановил лошадь и подошел посмотреть, что тут такое есть; и видит, что собака выкопала нору, что оттуда пар идет; вот и принялся он разгребать, и видит, что внутри пустое место, ровно медвежья берлога, и видит, что в ней человек лежит, спит, и что кругом его все обтаяло; он знал про Арефья и догадался, что это он. Мужик поскорее прикрыл дыру снежком, пал на лошадь, да и прискакал к нам в деревню. Народ миглом собрался. Поскакали с лопатами, откопали Арефья, взвалили на сани, прикрыли шубой и привезли домой. Дома его в избу не вдруг внесли, а сначала долго оттирали снегом, а он весь был талый. Арефий от стужи и снегу ровно проснулся; тогда внесли его в избу, но он все был без памяти. Уж на другой день пришел в себя и есть попросил. Теперь здоров, только как-то говорить стал дурно. Вот это, мой соколик, уж настоящая правда. Коли хочешь, то я тебе покажу его, когда он придет на барский двор. С тех пор его зовут не Арефий, а Арева».¹⁴ Рассказ об Арефье очень меня занял, и через несколько дней Евсеич мне показал его, потому что он приходил к дедушке что-то просить.

Арефья все называли дурачком, и в самом деле он ничего не умел рассказать мне, как его занесло снегом и что с ним потом было.

Я попросил один раз у тетушки каких-нибудь книжек почитать. Оказалось, что ее библиотека состояла из трех книг: из «Песенника», «Сонника» и какого-то театрального сочинения вроде водевиля. Песенника почему-то она не рассудила дать мне, а сонник и театральную пиеску отдала. Обе книжки сделали на меня сильное впечатление. Я выучил

¹³ «Детское чтение», часть 1-я. (Примеч. автора.)

¹⁴ Замечательно, что этот несчастный Арефий, не замерзший в продолжение трех дней под снегом, в жестокие зимние морозы, замерз лет через двадцать пять, в сентябре месяце, при самом легком морозе, последовавшем после сильного дождя! Он точно так же ездил в лес за дровами, в тот же общий колок, так же потерял лошадь, которая пришла домой, и так же, вероятно, бродил, отыскивая дорогу. Разумеется, он измок, иззяб и до того, как видно, выбился из сил, что, наконец найдя дорогу, у самой околицы упал в маленький овражек и не имел сил вылезть из него. Осенняя ночь длинная, и потому неизвестно, когда он попал в овражек; но на другой день, часов в восемь утра, поехав на охоту, молодой Багров нашел его уже мертвым и совершенно окоченевшим. (Примеч. автора.)

наизусть, что какой сон значит, и долго любил толковать сны свои и чужие, долго верил правде этих толкований, и только в университете совершенно истребилось во мне это суеверие. Толкования снов в Соннике были крайне нелепы, не имели даже никаких, самых пустых, известных в народе, оснований и применений. Я помню некоторые даже теперь. Вот несколько примеров: «Ловить рыбу значит несчастье. Ехать на телеге означает смерть. Видеть себя во сне в навозе предвещает богатство». Театральная пиеска имела двойное название; первое не помню, а второе было: «Драматическая пустельга». И точно, это была пустельга... но как она мне понравилась! Начиналась она так: пастушка или крестьянская девушка гнала домой стадо гусей и пела куплет, который начинался и оканчивался припевом:

Тига, тига домой,
Тига, тига за мной.

Помню еще два стишка из другого куплета:

Вот василек,
Милый цветок.

Больше ничего не помню; знаю только, что содержание состояло из любви пастушки к пастуху, что бабушка сначала не соглашалась на их свадьбу, а потом согласилась. С этого времени глубоко запала в мой ум склонность к театральным сочинениям и росла с каждым годом. Дедушка получил только одно письмо из Оренбурга с приложением маленькой записочки ко мне от матери, написанной крупными буквами, чтоб я лучше мог разобрать; эта записочка доставила мне великую радость. Тут примешивалась новость впечатления особого рода: в первый раз услышал я речь, обращенную ко мне из-за нескольких сот верст, и от кого же? От матери, которую я так горячо любил, о которой беспрестанно думал и часто тосковал. До сих пор еще никто ко мне не писал ни одного слова, да я не умел и разбирать писаного, хотя хорошо читал печатное.

Пошла уже пятая неделя, как мы жили одни, и наконец такая жизнь начала сильно действовать на мой детский ум и сердце. Чувство какого-то сиротства и робкой грусти выражалось не только на моем лице, но даже во всей моей наружности. Я стал рассеянно играть с сестрицей, рассеянно читать свои книжки и слушать рассказы Евсеича. Часто, разогнув «Детское чтение», я задумывался, и мое ребячье воображение рисовало мне печальные, а потом и страшные картины. Мне представлялось, что маменька умирает, умерла, что умер также и мой отец и что мы остаемся жить в Багрове, что нас будут наказывать, оденут в крестьянское платье, сошлют в кухню (я слышал о наказаниях такого рода) и что наконец и мы с сестрицей оба умрем.

Воображаемые картины час от часу становились ярче, и, сидя за книжкой над каким-нибудь веселым рассказом, я заливался слезами. Сестрица бросалась обнимать меня, целовать, спрашивать и, не всегда получая от меня ответы, сама принималась плакать, не зная о чем. Евсеич и нянька, которая в ожидании молодых господ (так называли в доме моего отца и мать) начала долее оставаться с нами, — не знали, что и делать. Обыкновенные в таких случаях уговариванья и утешенья не имели успеха. На вопросы, о чем мы плачем, я отвечал, что «верно, маменька больна или умирает»; а сестрица отвечала, что «ей жалко, когда братец плачет». Сказали о наших слезах тетушке. Она приходила к нам и на свои о том же вопросы получала такие же ответы. Тетушка уговаривала нас не плакать и уверяла, что маменька здорова, что она скоро воротится и что ее ждут каждый день; но я был так убежден в моих печальных предчувствиях, что решительно не поверил тетушкиным словам и упорно повторял один и тот же ответ: «Вы нарочно так говорите». Тетушка с досадою ушла от нас. На другой день, когда мы пришли здороваться к дедушке, он довольно сурово сказал мне: «Я слышу, что ты все хнычешь, ты плакса, а глядя на тебя и козулька плачет. Чтоб я не слышал о

твоих слезах». Я так испугался, что даже побледнел, как мне после сказывали, и точно, я не смел плакать весь этот день, но зато проплакал почти всю ночь. Дедушки я стал бояться еще более.

В подражание тетушкиным словам и Евсеич, и нянька беспрестанно повторяли: «Маменька здорова, маменька сейчас приедет, вот уж она подъезжает к околице, и мы пойдем их встречать...» Последние слова сначала производили на меня сильное впечатление, сердце у меня так и билось, но потом мне было досадно их слушать. Прошло еще два дня; тоска моя еще более усилилась, и я потерял всякую способность чем-нибудь заниматься. Милая моя сестрица не отходила от меня ни на шаг: часто она просила меня поиграть с ней или почитать ей книжку, или рассказать что-нибудь. Я исполнял ее просьбы, но так неохотно, вяло и невесело, что нередко посреди игры или чтения я переставал играть или читать, и мы молча, печально смотрели друг на друга, и глаза наши наполнялись слезами.

В один из таких скучных тяжелых дней вбежала к нам в комнату девушка Феклуша и громко закричала: «Молодые господа едут!» Странно, что я не вдруг и не совсем поверил этому известию. Конечно, я привык слышать подобные слова от Евсеича и няньки, но все странно, что я так недоверчиво обрадовался; впрочем, слава богу, что так случилось: если б я совершенно поверил, то, кажется, сошел бы с ума или захворал; сестрица моя начала прыгать и кричать: «Маменька приехала, маменька приехала!» Нянька Агафья, которая на этот раз была с нами одна, встревоженным голосом спросила: «Взаправду, что ли?» – «Взаправду, взаправду, уж близко, – отвечала Феклуша, – Ефрем Евсеич побежал встречать», – и сама убежала. Нянька проворно оправила наше платье и волосы, взяла обоих нас за руки и повела в лакейскую; двери были растворены настежь, в сенях уже стояли бабушка, тетушка и двоюродные сестрицы. Дождь лил как из ведра, так что на крыльцо нельзя было выйти; подъехала карета, в окошке мелькнул образ моей матери – и с этой минуты я ничего не помню... Я очнулся или почувствовался уже на коленях матери, которая сидела на канapé, положив мою голову на свою грудь.

Вот была радость, вот было счастье!

Как только я совсем оправился и начал было расспрашивать и рассказывать, моя мать торопливо встала и ушла к дедушке, с которым она еще не успела поздороваться: испуганная моей дурнотой, она не заходила в его комнату. Через несколько минут прислали Евсеичу сказать, чтоб он меня привел к старому барину. На этот раз я пошел без всякой робости. Там была моя мать, при ней я никого не боялся. Дедушка сидел на кровати, а возле него по одну руку отец, по другую мать. Бабушка сидела на дедушкиных креслах, а тетушка и двоюродные сестрицы на стульях. Я не видел или, лучше сказать, не помнил, что видел отца, а потому, обрадовавшись, прямо бросился к нему на шею и начал его обнимать и целовать. «А, так ты так же и отца любишь, как мать, – весело сказал дедушка, – а я думал, что ты только по ней соскучился. Ну, Софья Николавна, – продолжал он, – сынок твой плакса, на всех тоску нагнал, и козулька от него немало поплакала. Я уж на него прикрикнул маленько, так он поунялся». Мать отвечала, что я привык к ней во время своей продолжительной болезни. Милая моя сестрица была так смела, что я с удивлением смотрел на нее: когда я входил в комнату, она побежала мне навстречу с радостными криками: «Маменька приехала, тятенька приехал!», а потом с такими же восклицаниями перебегала от матери к дедушке, к отцу, к бабушке и к другим; даже вскарабкалась на колени к дедушке.

Отец с матерью приехали перед обедом часа за два. После обеда все разошлись, по обыкновению, отдыхать, а мы остались одни. Я рассказывал отцу и матери подробно все время нашего пребывания без них. Я не понимал, что должен был произвести мой рассказ над сердцем горячей матери, не понимал, что моему отцу было вдвойне прискорбно его слушать. Впрочем, если б я и понимал, я бы все рассказал настоящую правду, потому что был приучен матерью к совершенной искренности. Несколько раз мать прерывала мой рассказ; глаза ее блеснули, бледное ее лицо вспыхивало румянцем, и прерывающимся от волнения голосом начинала она говорить моему отцу не совсем понятные мне слова; но отец всякий раз останавливал ее знаком и успокаивал словами: «Побереги себя ради бога,

пожалей Сережу. Что он должен подумать?..» И всякий раз мать овладевала собой и заставляла меня продолжать рассказ. Когда я кончил, она выслала нас с сестрой в залу, приказав няньке, чтобы мы никуда не ходили и сидели тихо, потому что хочет отдохнуть; но я скоро догадался, что мы высланы для того, чтобы мать с отцом могли поговорить без нас. Я даже слышал сквозь запертую и завешенную дверь сначала выразительный и явственный шепот, а потом и жаркий разговор вполголоса, причем иногда вырывались и громкие слова. Понимая дело только вполовину, я, однако, догадывался, что маменька гневается за нас на дедушку, бабушку и тетушку и что мой отец за них заступает; из всего этого я вывел почему-то такое заключение, что мы должны скоро уехать, в чем и не ошибся.

Я в свою очередь расспросил также отца и мать о том, что случилось с ними в Оренбурге. Из рассказов их и разговоров с другими я узнал, к большой моей радости, что доктор Деобольт не нашел никакой чахотки у моей матери, но зато нашел другие важные болезни, от которых и начал было лечить ее; что лекарства ей очень помогли сначала, но что потом она стала очень тосковать о детях и доктор принужден был ее отпустить; что он дал ей лекарств на всю зиму, а весной приказал пить кумыс, и что для этого мы поедем в какую-то прекрасную деревню, и что мы с отцом и Евсеичем будем там удить рыбку. Все это меня успокоило и обрадовало, особенно потому, что другие говорили, да я и сам видел, что маменька стала здоровее и крепче. Робость моя вдруг прошла, и печальное Багрово как будто повеселело. Мне показалось даже, а может быть оно и в самом деле было так, что все стали к нам ласковее, внимательнее и больше заботились о нас. По ребячеству моему я подумал, что все нас полюбили. Впрочем, я и теперь думаю, что в эту последнюю неделю нашего пребывания в Багрове дедушка точно полюбил меня, и полюбил именно с той поры, когда сам увидел, что я горячо привязан к отцу. Он даже высказал мне, что считал меня баловнем матери, матушкиным сыном, который отца совсем не любит, а родных его и подавно, и всем в Багрове «брезгает»; очевидно, что это было ему насказано, а моя неласковость, печальный вид и робость, даже страх, внушаемый его присутствием, утвердили старика в таких мыслях. Теперь же, когда он приласкал меня, когда прошел мой страх и тоска по матери, когда на сердце у меня повеселело и я сам стал к нему ласкаться, — весьма естественно, что он полюбил меня. В несколько дней я как будто переродился; стал жив, даже стал бегать беспрестанно, рассказывать ему всякую всячину и сейчас попотчевал его чтением «Детского чтения», и все это дедушка принимал благосклонно; угрюмый старик также как будто стал добрым и ласковым стариком. Я живо помню, как он любовался на нашу дружбу с сестрицей, которая, сидя у него на коленях и слушая мою болтовню или чтение, вдруг без всякой причины спрыгивала на пол, подбегала ко мне, обнимала и целовала, и потом возвращалась назад и опять вползала к дедушке на колени; на вопрос же его: «Что ты, козулька, вскочила?» — она отвечала: «Захотелось братца поцеловать». Одним словом, у нас с дедушкой образовалась такая связь и любовь, такие прямые сношения, что перед ними все отступило и не смели мешаться в них. Двоюродные наши сестрицы, которые прежде были в большой милости, сидели теперь у печки на стульях, а мы у дедушки на кровати; видя, что он не обращает на них никакого внимания, а занимается нами, генеральские дочки (как их называли), соскучась молчать и не принимая участия в наших разговорах, уходили потихоньку из комнаты в девичью, где было им гораздо веселее.

Хотя мать мне ничего не говорила, но я узнал из ее разговоров с отцом, иногда не совсем приятных, что она имела недружелюбные объяснения с бабушкой и тетушкой, или, просто сказать, ссорилась с ними, и что бабушка отвечала: «Нет, невестушка, не взыщи; мы к твоим детям и приступить не смели. Где нам мешаться не в свое дело? У вас порядки городские, а у нас деревенские». Всего же более мать сердилась на нашу няньку и очень ее бранила. Нянька Агафья плакала, и мне было очень ее жаль, а в то же время она все говорила неправду; клялась и божилась, что от нас и денно и ночью не отходила, и ссылалась на меня и на Евсеича. Я попробовал даже сказать ей: «Зачем ты, нянюшка, говоришь неправду?» Она отвечала, что грех мне на нее нападать, и заплакала навзрыд. Я стал в тупик; мне приходило даже в голову: уж в самом деле не солгал ли я на няньку Агафью; но Евсеич, который в глаза

уличал ее, что она все бегала по избам, успокоил мою робкую ребячью совесть. После этого мать сказала отцу, что она ни за что на свете не оставит Агафью в няньках и что, приехав в Уфу, непременно ее отпустит.

Начали поспешно собираться в дорогу. Срок отпуска моего отца уже прошел, да и время было осеннее. За день до нашего отъезда приехала тетушка Аксиныя Степановна. Мы с сестрицей очень обрадовались доброй тетушке и очень к ней ласкались. Моя мать, при дедушке и при всех, очень горячо ее благодарила за то, что она не оставила своего крестника и его сестры своими ласками и вниманием, и уверяла ее, что, покуда жива, не забудет ее родственной любви. Как я ни был мал, но заметил, что бабушка и тетушка Татьяна Степановна чего-то очень перепугались. После я узнал, что они боялись дедушки. Я даже слышал, как мой отец пенял моей матери и говорил: «Хорошо, что батюшка не вслушался, как ты благодарила сестру Аксиныю Степановну, и не догадался, а то могла бы выйти беда. Ведь уж ты выговорила свое неудовольствие и матушке и сестре; зачем же их подводить под гнев?»

Ведь мы завтра уедем». Мать со вздохом отвечала, что сердце не вытерпело и что она на ту минуту забылась и точно поступила неосторожно. Когда же крестная мать пришла к нам в комнату, то мать опять благодарила ее со слезами и целовала ее руки.

Наконец мы совсем уложились и собрались в дорогу. Дедушка ласково простился с нами, перекрестил нас и даже сказал: «Жаль, что уж время позднее, а то бы еще с недельку надо вам погостить. Невестыньке с детьми было беспокойно жить; ну, да я пристрою ей особую горницу». Все прочие прощались не один раз; долго целовались, обнимались и плакали. Я совершенно поверил, что нас очень полюбили, и мне всех было жаль, особенно дедушку.

Обратная дорога в Уфу, также через Парашино, где мы только переночевали, уже совсем была не так весела. Погода стояла мокрая или холодная, останавливаться в поле было невозможно, а потому кормежки и ночевки в чувашских, мордовских и татарских деревнях очень нам наскучили; у татар еще было лучше, потому что у них избы были белые, то есть с трубами, а в курных избах чувашей и мордвы кормежки были нестерпимы: мы так рано выезжали с ночевок, что останавливались кормить лошадей именно в то время, когда еще топились печи; надо было лежать на лавках, чтоб не задохнуться от дыму, несмотря на растворенную дверь. Мать очень боялась, чтоб мы с сестрой не простудились, и мы обыкновенно лежали в пологу, прикрытые теплым одеялом; у матери от дыму заболели глаза и проболели целый месяц, только в шестой день приехали мы в Уфу.

ЗИМА В УФЕ

После такой скучной, продолжительной и утомительной дороги я очень обрадовался нашему уфимскому просторному дому, большим и высоким комнатам, Сурке, который мне также очень обрадовался, и свободе бегать, играть и шуметь где угодно. В доме нас встретили неожиданные гости, которым мать очень обрадовалась: это были ее родные братья, Сергей Николаич и Александр Николаич; они служили в военной службе, в каком-то драгунском полку, и приехали в домовой отпуск на несколько месяцев. С первого взгляда я полюбил обоих дядей; оба очень молодые, красивые, ласковые и веселые, особенно Александр Николаич: он шутил и смеялся с утра и до вечера и всех других заставлял хохотать. Они воспитывались в Москве, в Университетском благородном пансионе, любили читать книжки и умели наизусть читать стихи; это была для меня совершенная новость: я до сих пор не знал, что такое стихи и как их читают. Вдобавок ко всему дядя Сергей Николаич очень любил рисовать и хорошо рисовал; с ним был ящичек с соковыми красками¹⁵ и кисточками... одно уж это привело меня в восхищение. Я любил смотреть картинки, а

¹⁵ Соковые краски – акварельные краски, красящее вещество которых добыто из соков растений.

рисование их казалось мне чем-то волшебным, сверхъестественным: я смотрел на дядю Сергея Николаича, как на высшее существо.

Хотя печальное и тягостное впечатление житья в Багрове было ослаблено последнею неделей нашего там пребывания, хотя длинная дорога также приготовила меня к той жизни, которая ждала нас в Уфе, но, несмотря на то, я почувствовал необъяснимую радость и потом спокойную уверенность, когда увидел себя перенесенным совсем к другим людям, увидел другие лица, услышал другие речи и голоса, когда увидел любовь к себе от дядей и от близких друзей моего отца и матери, увидел ласку и привет от всех наших знакомых.

Это произвело на меня такое действие, что я вдруг, как говорили, развернулся, то есть стал смелее прежнего, тверже и бойчее. Все говорили, что я переменялся, что я вырос и поумнел. Должно признаться, что, слыша такие отзывы, я стал самолюбивее и самонадеяннее.

Дяди мои поместились в отдельной столовой, из которой кроме двери в залу был ход через общую или проходную комнату в большую столовую; прежде это была горница, в которой у покойного дедушки Зубина помещалась канцелярия, а теперь в ней жил и работал столяр Михей, муж нашей няньки Агафьи, очень сердитый и грубый человек. Я прежде о нем почти не знал; но мои дяди любили иногда заходить в столовую подразнить Михея и забавлялись тем, что он сердился, гонялся за ними с деревянным молотком, бранил их и даже иногда бивал, что доставляло им большое удовольствие и чему они от души хохотали. Мне тоже казалось это забавным, и не подозревал я тогда, что сам буду много терпеть от подобной забавы.

Здоровье моей матери видимо укреплялось, и я заметил, к нам стало ездить гораздо больше гостей, чем прежде; впрочем, это могло мне показаться: прошлого года я был еще мал, не совсем поправился в здоровье и менее обращал внимания на все, происходившее у нас в доме. Всех знакомых ездило очень много, но я их мало знал. Мне хорошо известны и памятливы только те, которые бывали у нас почти ежедневно и которые, как видно, очень любили моего отца и мать и нас с сестрицей. Это были: старушка Мертваго и двое ее сыновей Дмитрий Борисович и Степан Борисович Мертваго, Чичаговы, Княжевичи, у которых двое сыновей были почти одних лет со мною, Воецкая, которую я особенно любил за то, что ее звали так же, как и мою мать, Софьей Николавной, и сестрица ее, девушка Пекарская; из военных всех чаще бывали у нас генерал Мансуров с женою и двумя дочерьми, генерал граф Ланжерон и полковник Л.Н.Энгельгардт; полковой же адъютант Волков и другой офицер Христофович, которые были дружны с моими дядями, бывали у нас каждый день; доктор Авенариус – также это был давнишний друг нашего дома. С детьми Княжевичей и Мансуровых мы были дружны и часто вместе играли. Дети Княжевичей были молодцы, потому что отец и мать воспитывали их без всякой неги; они не знали простуды и ели все, что им вздумается, а я, напротив, кроме ежедневных диетных кушаний, не смел ничего съесть без позволения матери; в сырую же погоду меня не выпускали из комнаты. Надо вспомнить, что я года полтора был болен при смерти, и потому не удивительно, что меня берегли и не жили; но милая моя сестрица даром попала на такую же диету и бережение от воздуха. Иногда гости приезжали обедать, и боже мой! как хлопотала моя мать с поваром Макеем, весьма плохо разумевающим свое дело.

Миндальное пирожное всегда готовила она сама, и смотреть на это приготовление было одним из любимых моих удовольствий. Я внимательно наблюдал, как она обдавала миндаль кипятком, как счищала с него разбухшую кожицу, как выбирала миндалины только самые чистые и белые, как заставляла толочь их, если пирожное готовилось из миндального теста, или как сама резала их ножницами и, замесив эти обрезки на яичных белках, сбитых с сахаром, делала из них чудные фигурки: то венки, то короны, то какие-то цветочные шапки или звезды; все это сажалось на железный лист, усыпанный мукою, и посылалось в кухонную печь, откуда приносилось уже перед самым обедом совершенно готовым и поджарившимся. Мать, щегольски разодетая, по данному ей от меня знаку, выбегала из гостиной, надевала на себя высокий белый фартук, снимала бережно ножичком

чуждое пирожное с железного листа, каждую фигурку окропляла малиновым сиропом, красиво накладывала на большое блюдо и возвращалась к своим гостям. Сидя за столом, я всегда нетерпеливо ожидал миндального блюда не столько для того, чтоб им полакомиться, сколько для того, чтоб порадоваться, как гости будут хвалить прекрасное пирожное, брать по другой фигурке и говорить, что «ни у кого нет такого миндального блюда, как у Софьи Николаовны». Я торжествовал и не мог спокойно сидеть на моих высоких кресельцах и непременно говорил на ухо сидевшему подле меня гостю, что все это маменька делала сама. Я помню, что гости у нас тогда бывали так веселы, как после никогда уже не бывали во все остальное время нашего житья в Уфе, а между тем я и тогда знал, что мы всякий день нуждались в деньгах и что все у нас в доме было беднее и хуже, чем у других. Из военных гостей я больше всех любил сначала Льва Николаевича Энгельгардта: по своему росту и дородству он казался богатырем между другими и к тому же был хорош собою. Он очень любил меня, и я часто сиживал у него на коленях, с любопытством слушая его громозвучные военные рассказы и с благоговением посматривая на два креста, висевшие у него на груди, особенно на золотой крестик с округленными концами и с надписью: «Очаков взят 1788 года 6 декабря». Я сказал, что любил его сначала; это потому, что впоследствии я его боялся; он напугал меня, сказав однажды: «Хочешь, Сережа, в военную службу?» Я отвечал: «Не хочу». – «Как тебе не стыдно, – продолжал он, – ты дворянин и непременно должен служить со шпагой, а не с пером. Хочешь в гренадеры? Я привезу тебе гренадерскую шапку и тесак...» Я перепугался и убежал от него. Энгельгардт вздумал продолжать шутку и на другой день, видя, что я не подхожу к нему, сказал мне: «А, трусишка! Ты боишься военной службы, так вот я тебя насильно возьму...» С этих пор я уж не подходил к полковнику без особенного приказания матери, и то со слезами.

В этом страхе утверждал меня мальчик-товарищ, часто к нам ходивший, кривой Андрюша, сын очень доброй женщины, преданной душевно нашему дому. Он был старше меня, и я ему верил. Потом мне казалось, что он нарочно пугал меня.

После чтения лучшим моим удовольствием было смотреть, как рисует дядя Сергей Николаич. Он не так любил ездить по гостям, как другой мой дядя, меньшей его брат, которого все называли ветреником, и рисовал не только для меня маленькие картинки, но и для себя довольно большие картины. Я не мог, бывало, дожидаться того времени, когда дядя сядет за стол у себя в комнате, на котором стоял уже стакан с водой и чистая фаянсовая тарелка, заранее мною приготовленная. За несколько времени до назначенного часа я уже не отходил от дяди и все смотрел ему в глаза; а если и это не помогало, то дергал его за рукав, говоря самым просительным голосом: «Дяденька, пойдемте рисовать». Наконец он садился за стол, натирал на тарелку краски, обмакивал кисточку в стакан – и глаза мои уже не отрывались от его руки, и каждое появление нового листка на дереве, носа у птицы, ноги у собаки или какой-нибудь черты в человеческом лице приветствовал я радостными восклицаниями. Видя такую мою охоту, дядя вздумал учить меня рисовать; он весьма тщательно приготовил мне оригиналы, то есть мелкие и большие полукружочки и полные круги, без тушевки и оттушеванные, помещенные в квадратах, заранее расчерченных, потом глазки, брови и проч. Дядя, как скоро садился сам за свою картину, усаживал и меня рисовать на другом столе; но учение сначала не имело никакого успеха, потому что я беспрестанно вскакивал, чтоб посмотреть, как рисует дядя; а когда он запретил мне сходить с места, то я тарашил свои глаза на него или влезал на стул, надеясь хоть что-нибудь увидеть. Дядя догадался, что прока не будет, и начал заставлять меня рисовать в другие часы; он не ошибся: в короткое время я сделал блистательные успехи для своего возраста. Дядя пророчил, что из меня выйдет необыкновенный рисовальщик. Но не все пророчества сбываются, и я в зрелых годах не умел нарисовать кружочка, который рисовал в ребячестве.

По книжной части библиотека моя, состоявшая из двенадцати частей «Детского чтения» и «Зеркала добродетели», была умножена двумя новыми книжками: «Детской

библиотекой»¹⁶ Шишкова и «Историей о младшем Кире и возвратном походе десяти тысяч греков, сочинения Ксенофонта». Книги эти подарил мне тот же добрый человек, С.И.Аничков; к ним прибавил он еще толстый рукописный том, который я теперь и назвать не умею. Я помню только, что в нем было множество чертежей и планов, очень тщательно сделанных и разрисованных красками. Ничего не понимая, я с великим наслаждением перелистывал эту, вместе с моей сестрицей, и растолковывал ей, что какая фигура представляет и значит. Я должен был все сочинять и выдумывать, потому что не имел ни малейшего понятия о настоящем деле. Как бы я желал теперь услышать мою тогдашнюю болтовню! «Детская библиотека», сочинение г. Кампе, переведенная с немецкого А.С.Шишковым, особенно детские песни, которые скоро выучил я наизусть, привели меня в восхищение:¹⁷ это и немудрено; но удивительно, что Ксенофонт нравился мне не менее, а в

¹⁶ «Детская библиотека» переведена с немецкого А.С.Шишковым, близким знакомым Аксакова. Шишков был министром народного просвещения, реакционером по своим общественным взглядам; Аксаков его идеализировал.

¹⁷ Александр Семеныч Шишков, без сомнения, оказал великую услугу переводом этой книжки, которая, несмотря на устарелость языка и нравоучительных приемов, до сих пор остается лучшею детскою книгою. Она имела много изданий; кажется, первое было сделано в 1792 году. В изданиях, которые мне случилось видеть и сличать, текст оставался без поправки, без перемен. Некоторые стихотворения, как например: «Дитя, рассуждающее здраво», «Детские забавы», «Фиалка и Терновый куст», «Бабочка», «Счастье благодетельства», «Николашина похвала зимним утехам» (лучше всех написанное), назвать истинными сокровищами для маленьких детей. Я имею теперь под руками три издания «Детской библиотеки» 1806 (четвертое издание), 1820 и 1846 годов (вероятно, их было более десяти); но, к удивлению моему, не нахожу в двух последних небольшой драматической пьески, в которой бедный крестьянский мальчик поет следующую песню, сложенную для его отца каким-то грамотеем. Вот она:

Не в неге я родился,
Не в роскоши я жил;
Работал и трудился,
И хлад и зной сносил.
Терпя различны муки,
Боролся я с судьбой;
Мои суровы руки
Не знали, что покой.
Я солнечного всходу
Ни разу не проспал,
В суровую погоду
Укрыться не искал.
Но, плугом раздирая
Утробу я земли,
То дрогнул, промокая,
То весь горел в пыли.
За разными трудами
Меня зрел солнца бег;
Здесь твердыми стенами
Одел я дикий брег;
Там каменные дома
Воздвигнул для других,
Чуть крышу из соломы
Имея для своих.
Земную жилу роя,
В пещерах погребен,
Я солнечного зноя
И света был лишен.
В количестве премногом
Я злато находил —
И в рубище убогом
Весь век мой проводил.
Однако ж в это время,
Быв молод и здоров,
Не чувствовал я бремя

последующие годы сделался моим любимым чтением. Я и теперь так помню эту, как будто она не сходила с моего стола; даже наружность ее так врезалась в моей памяти, что я точно гляжу на нее и вижу чернильные пятна на многих страницах, протертые пальцем места и завернувшиеся уголки некоторых листов.

Сражение младшего Кира с братом своим Артаксерксом, его смерть в этой битве, возвращение десяти тысяч греков под враждебным наблюдением многочисленного персидского воинства, греческая фаланга, дорийские пляски, беспрестанные битвы с варварами и, наконец, море – путь возвращения в Грецию – которое с таким восторгом увидело храброе воинство, восклицая: «Фалатта! Фалатта!»¹⁸ – все это так сжилось со мною, что я и теперь помню все с совершенной ясностью.

Так безмятежно и весело текла моя жизнь первые месяцы. Не могу в точности припомнить, с какого именно времени начала она возмущаться. Это случилось как-то не приметно. Оба мои дяди и приятель их, адъютант Волков, получили охоту дразнить меня: сначала военной службой, говоря, что вышел указ, по которому велено брать в солдаты старшего сына у всех дворян. Хотя я возражал, что это неправда, что это все их выдумки, но проказники написали крупными буквами указ, приложили к нему какую-то печать – и успели напугать меня. Я всего более поверил кривому Андрюше, который начал ходить к нам всякий день и который, вероятно, был в заговоре. Эта глупая забава продолжалась довольно долго и стоила мне многих волнений, огорчений и даже слез. Всего хуже было то, что я, будучи вспыльчив от природы, сердился за насмешки и начинал говорить грубости, к чему прежде совершенно не был способен. Это забавляло всех; общий смех ободрял меня, и я позволял себе говорить такие дерзости, за которые потом меня же бранили и заставляли просить извинения; а как я, по ребячеству, находил себя совершенно правым и не соглашался извиняться, то меня ставили в угол и доводили наконец до того, что я просил прощения. Конечно, мать вразумляла меня, что все это одни шутки, что за них не должно сердиться и что надобно отвечать на них шутками же; но беда состояла в том, что дитя не может ясно различать границ между шуткою и правдою. Иногда долго я не верил словам моих преследователей и отвечал на них смехом, но вдруг как-то начинал верить, оскорбляться насмешками, разгорячался, выходил из себя и дерзкими бранными словами, как умел, отплачивал моим противникам. Всего более доставалось от меня Волкову; впрочем, развязка всегда была для меня слишком невыгодна. Когда надоело дразнить меня солдатством, да я и привык к тому и не так уже раздражался, отыскивали другую, не менее чувствительную во мне струну. Один раз вдруг дядя говорит мне потихоньку, с важным и таинственным видом, что

Сих тягостных трудов;
Без всякого излишку
Довольно собирал,
Кормил свою семьюшку,
Был сыт и сладко спал.
Но младость промелькнула,
Ее уж боле нет;
Скорбь лютая согнула
Упругий мой хребет...
Мой одр, где я, страдая,
Убог лежу и сир,
Злой смерти ожидая,
Стал ныне весь мой мир.

Почему и кем была исключена драматическая пьеса и песня в изданиях 1820 и 1846 годов, не понимаю. Какая надобность была перепечатывать текст старых изданий 1790 годов, когда было издание 1806 года, исправленное и значительно пополненное самим Шишковым?

А сколько силы и теплоты в приведенной мною песне, несмотря на неприличную для крестьянина книжность некоторых слов и выражений, хотя это извиняется тем, что песню написал какой-то грамотей! Как слышна горячая любовь Шишкова к простолюдину! (Примеч. автора.)

¹⁸ More! More! (греч.)

Волков хочет жениться на моей сестрице и увезти с собой в поход. Я поверил и, не имея ни о чем понятия, понял только, что хотят разлучить меня с сестрицей и сделать ее чем-то вроде солдата. Гнев и ненависть, к какой только может быть способно сердце дитяти, почувствовал я к Волкову, которого и прежде неподлюбливал. Волков на другой день, чтоб поддержать шутку, сказал мне с важным видом, что батюшка и матушка согласны выдать за него мою сестрицу и что он просит также моего согласия. Из этого вышло много весьма печальных историй: я приходил в бешенство, бранился и хотел застрелить из пушки Волкова, если он только дотронется до моей сестрицы. С этим господином в самое это время случилось смешное и неприятное происшествие, как будто в наказание за его охоту дразнить людей, которому я, по глупости моей, очень радовался и говорил: «Вот бог его наказал за то, что он хочет увезти мою сестрицу». Происшествие состояло в следующем: в какой-то торжественный праздник у губернатора был бал. Волков, распудренный, разодетый, в чулках и башмаках, перед самым балом заехал к нам, чтобы вместе с моими дядями отправиться к губернатору. Покуда дяди мои одевались, Волков, от нечего делать, зашел в столярную к Михею и начал, по обыкновению, дразнить его и мешать работать. Михей был особенно не в духе; сначала он довольствовался бранными словами, но, выведенный из терпения, схватил деревянный молоток и так ловко ударил им Волкова по лбу, что у него в одну минуту вскочила огромная шишка и один глаз запух. Ехать на бал было невозможно. Дяди мои хохотали, а бедный Волков плакал от боли и досады, что не мог попасть к губернатору, где ему очень хотелось потанцевать. Разумеется, все узнали это происшествие и долго не могли без смеха смотреть на Волкова, который принужден был несколько дней просидеть дома и даже не ездил к нам: на целый месяц я был избавлен от несносного дразнения.

Еще прежде я слышал мельком, что мой отец покупает какую-то башкирскую землю, в настоящее же время эта покупка совершилась законным порядком.

Превосходная земля, с лишком семь тысяч десятин, в тридцати верстах от Уфы, по реке Белой, со множеством озер, из которых одно было длиною около трех верст, была куплена за небольшую цену. Отец мой с жаром и подробно рассказал мне, сколько там водится птицы и рыбы, сколько родится всяких ягод, сколько озер, какие чудесные растут леса. Рассказы его привели меня в восхищение и так разгорячили мое воображение, что я даже по ночам бредил новою прекрасною землею! Вдобавок ко всему, в судебном акте ей дали имя «Сергеевской пустоши», а деревушку, которую хотели немедленно поселить там в следующую весну, заранее назвали «Сергеевкой». Это мне понравилось. Чувство собственности, исключительной принадлежности чего бы то ни было, хотя не вполне, но очень понимается дитятей и составляет для него особенное удовольствие (по крайней мере, так было со мной), а потому и я, будучи вовсе не скупым мальчиком, очень дорожил тем, что Сергеевка – моя: без этого притяжательного местоимения я никогда не называл ее. Туда весною собиралась моя мать, чтоб пить кумыс, предписанный ей Деобольтом. Я считал дни и часы в ожидании этого счастливого события и без устали говорил о Сергеевке со всеми гостями, с отцом и матерью, с сестрицей и с новой нянькой ее, Парашей. Я забыл сказать, что Агафья уже была давно отставлена.

Вместо Параша мать взяла к себе для услуг горбушку Катерину, княжну, – так всегда ее называли без всякой причины, вероятно в шутку. Это была калмычка, купленная некогда моим покойным дедушкой Зубиным и после его смерти отпущенная на волю. Мать держала ее у себя в девичьей, одевала и кормила так, из сожаленья; но теперь, приставив свою горничную ходить за сестрицей, она попробовала взять к себе княжну и сначала была ею довольна; но впоследствии не было никакой возможности ужиться с калмычкой: лукавая азиатская природа, лстивая и злая, скучливая и непостоянная, скоро до того надоела матери, что она отослала горбушку опять в девичью и запретила нам говорить с нею, потому что точно разговоры с нею могли быть вредны для детей. Катерина имела привычку хвалить в глаза и осыпать самыми униженными ласками всех господ, и больших и маленьких, а за глаза говорила совсем другое; моему отцу и матери она жаловалась и ябедничала на всех наших слуг, а с ними очень нехорошо говорила про моего отца и мать и чуть было не

поссорила ее с Парашей. Даже нам с сестрицей мимоходом хотела внушить недобрые мысли. Я не скрывал от матери ничего мною слышанного, даже ни одной собственной моей мысли; разумеется, все ей рассказал, и она поспешила удалить от нас это вредное существо. Впрочем, горбушка, под именем княжны, прожила в нашем доме до глубокой старости.

Когда забылась шишка на лбу, произведенная молотком Михея, Волков и мои дяди опять принялись мучить и дразнить меня. На этот раз моя любезная Сергеевка послужила к тому весьма действительным средством. Сначала Волков приставал, чтоб я подарил ему Сергеевку, потом принимался торговать ее у моего отца; разумеется, я сердился и говорил разные глупости; наконец повторили прежнее средство, еще с большим успехом: вместо указа о солдатстве сочинили и написали свадебный договор, или рядную, в которой было сказано, что мой отец и мать, с моего согласия, потому что Сергеевка считалась моей собственностью, отдают ее в приданое за моей сестрицей в вечное владение П.Н.Волкову. Бумага была подписана моим отцом и матерью, то есть подписались под их руки, вместо же меня, за неумением грамоте, расписался дядя мой, Сергей Николаич. Бедный мальчик был совершенно сбит с толку! Не веря согласию моего отца и матери, слишком хорошо зная свое несогласие, в то же время я вполне поверил, что эта бумага, которую дядя называл купчей крепостью, лишает меня сестры и Сергеевки; кроме мучительной скорби о таких великих потерях я был раздражен и уязвлен до глубины сердца таким наглым обманом. Бешенство мое превзошло всякие границы и помрачило мой рассудок. Я осыпал дядю всеми бранными словами, какие только знал; назвал его подьячим, приказным крючком¹⁹ и мошенником, а Волкова как главного виновника и преступника хотел непременно застрелить, как только достану ружье, или затравить Суркой (дворовой собачонкой, известной читателям); а чтоб не откладывать своего мщения надолго, я выбежал как иступленный из комнаты, бросился в столярную, схватил деревянный молоток, бегом воротился в гостиную и, подошед поближе, пустил молотком прямо в Волкова... Вот до чего довести доброго и тихого мальчика такими неразумными шутками! По счастью, удар был незначителен; но со мною поступили строго. Наказание, о котором прежде я только слышал, было исполнено надо мною: меня одели в какое-то серое, толстое суконное платье и поставили в угол совершенно в пустой комнате, под присмотром Ефрема Евсеича. Боже мой, как плакала и рыдала моя милая сестрица, бывшая свидетельница происшествия! Дело происходило поутру; до самого обеда я рвался и плакал; напрасно Евсеич убеждал меня, что нехорошо так гневаться, так бранить дяденьку и драться с Петром Николаичем, что они со мной только пошутили, что маленькие девочки замуж не выходят и что как же отнять насильно у нас Сергеевку? Напрасно уговаривал он меня повиниться и попросить прощенья, – я был глух к его словам. Я наконец перестал плакать, но ожесточился духом и говорил, что я не виноват; что если они сделали это нарочно, то все равно, и что их надобно за то наказать, разжаловать в солдаты и послать на войну, и что они должны просить у меня прощенья. Мать, которая страдала больше меня, беспрестанно подходила к дверям, чтоб слышать, что я говорю, и смотреть на меня в дверную щель; она имела твердость не входить ко мне до обеда. Наконец она пришла, осталась со мной наедине и употребила все усилия, чтоб убедить меня в моей вине. Долго говорила она; ее слова, нежные и грозные, ласковые и строгие и всегда убедительные, ее слезы о моем упрямстве поколебали меня: я признавал себя виноватым перед маменькой и даже дяденькой, которого очень любил, особенно за рисованье, но никак не соглашался, что я виноват перед Волковым; я готов был просить прощенья у всех, кроме Волкова. Мать не хотела сделать никакой уступки, скрепила свое сердце и, сказав, что я останусь без обеда, что я останусь в углу до тех пор, пока не почувствую вины своей и от искреннего сердца не попрошу Волкова простить меня, ушла обедать, потому что гости ее ожидали. Тогда я ничего не понимал и только впоследствии почувствовал, каких терзаний стоила эта

¹⁹ Приказный крючок. – Приказный – мелкий служащий в приказе (приказами в старину назывались разные правительственные учреждения). Приказный крючок – взяточник, вымогатель.

твердость материнскому сердцу; но душевная польза своего милого дитяти, может быть иногда неверно понимаемая, всегда была для нее выше собственных страданий, в настоящее время очень опасных для ее здоровья. Евсеичу было приказано сидеть в другой комнате. Я остался один.

Тут-то заработало мое воображение! Я представлял себя каким-то героем, мучеником, о которых я читал и слышал, страдающим за истину, за правду. Я уже видел свое торжество: вот растворяются двери, входят отец и мать, дяди, гости; начинают хвалить меня за мою твердость, признают себя виноватыми, говорят, что хотели испытать меня, одевают в новое платье и ведут обедать... Дверь не отворялась, никто не входил, только Евсеич начинал всхрипывать, сидя в другой комнате; фантазии мои разлетались как дым, а я начинал чувствовать усталость, голод и головную боль. Но воображение мое снова начинало работать, и я представлял себя выгнанным за мое упрямство из дому, бродящим ночью по улицам: никто не пускает меня к себе в дом; на меня нападают злые, бешеные собаки, которых я очень боялся, и начинают меня кусать: вдруг является Волков, спасает меня от смерти и приводит к отцу и матери; я прощаю Волкову и чувствую какое-то удовольствие. Множество тому подобных картин роилось в моей голове, но везде я был первым лицом, торжествующим или погибающим героем. Слова «герой», конечно, я тогда не знал, но заманчивый его смысл ясно выражался в моих детских фантазиях.

Волнение, слезы, продолжительное стояние на ногах утомили меня. Конечно, я мог бы сесть на пол, – в комнате никого не было; но мне приказано, чтоб я стоял в углу, и я ни за что не хотел сесть, несмотря на усталость. Часа через два после обеда приходил ко мне наш добрый друг, доктор Андрей Юрьич (Авенариус). Он также уговаривал меня попросить прощенья у Волкова – я не согласился. Он предложил мне съесть тарелку супу – я отказался, говоря, что «если маменька прикажет, то я буду есть, а сам я кушать не хочу». Вскоре после Авенариуса пришла мать; я видел, что она очень встревожена; она приказала мне есть, и я с покорностью исполнил приказание, хотя пища была мне противна. Мать спросила меня: «Ты не чувствуешь своей вины перед Петром Николаичем, не раскаиваешься в своем поступке, не хочешь просить у него прощенья?» Я отвечал, что я перед Петром Николаичем не виноват, а если маменька прикажет, то прощенья просить буду. «Ты упрямишься, – сказала мать. – Когда ты одумаешься, то пришли за мной Евсеича: тогда и я прощу тебя». Евсеич подал свечку и поставил ее на окошко. Мать ушла, приказав ему остаться со мной, сесть у дверей и ничего не говорить. После пищи я вдруг почувствовал себя нездоровым: голова разболелась и мне стало жарко. Дремота начала овладевать мною, коленки постепенно сгибались, наконец усталость одолела меня, я сам не помню, как сползли мои ноги, и я присел в углу и крепко заснул. После рассказали мне, что Евсеич и сам задремал, что когда пришел отец, то нашел нас обоих спящими. Я проснулся уже тогда, когда Авенариус щупал мою голову и пульс; он приказал отнести меня в детскую и положить в постель; у меня сделался сильный жар и даже бред. Проснувшись, или, лучше сказать, очувствовавшись на другой день поутру, очень не рано, в слабости и все еще в жару, я не вдруг понял, что около меня происходило.

Наконец все стало мне ясно: я захворал от волнения и усталости, моя болезнь всех перепугала, а мать привела в отчаяние. Действительно, сбылись мои мечты, хотя от других причин. Все почувствовали свои вины: дядя Сергей Николаич сидел возле меня и плакал; Волков стоял за дверью, тоже почти плакал и не смел войти, чтоб не раздражить больного; отец очень грустно смотрел на меня, а мать – довольно было взглянуть на ее лицо, чтоб понять, какую ночь она провела! Вошел Авенариус и всех от меня выгнал, приказав на некоторое время оставить меня в совершенном покое. Я выздоровел не вдруг.

Дня через два, когда я не лежал уже в постели, а сидел за столиком и во что-то играл с милой сестрицей, которая не знала, как высказать свою радость, что братец выздоравливает, – вдруг я почувствовал сильное желание увидеть своих гонителей, выпросить у них прощенье и так примириться с ними, чтоб никто на меня не сердился. Я сейчас вызвал из спальни мать и сказал ей, чего мне хочется. Мать обняла меня и заплакала

от радости (как она мне сказала), что у меня такое доброе сердце. Волков был в это время у дядей, и они все трое ту же минуту пришли ко мне. Я с полной искренностью просил их простить меня, особенно Волкова. Меня целовали и обещали никогда не дразнить. Мать улыбнулась и сказала очень твердо: «Да если б вы и вздумали, то я уже никогда не позволю. Я всех больше виновата и всех больше была наказана. Этого урока я никогда не забуду».

Совершенно выздоровев, я опять сделался весел и резв. Я скоро забыл печальную историю; но не мог забыть, что меня называли неумеющим грамоте и потому расписались за меня в известной бумаге, то есть мнимой «рядной», или купчей. Я тогда же возражал, что это неправда, что я умею хорошо читать, а только писать не умею; но теперь я захотел поправить этот недостаток и упросил отца и мать, чтоб меня начали учить писать. Дядя Сергей Николаич вызвался удовлетворить моему желанию. Он начал меня учить чистописанию, или каллиграфии, как он называл, и заставил выписывать «палочки», чем я был очень недоволен, потому что мне хотелось прямо писать буквы; но дядя утверждал, что я никогда не буду иметь хорошего почерка, если не стану правильно учиться чистописанию, что наперед надобно пройти всю каллиграфическую школу, а потом приняться за прописи. Делать нечего, я должен был повиноваться, но между тем потихоньку я выучился писать всю азбуку, срисовывая слова с печатных книг. Чистописание затянулось; срок отпуска моих дядей кончался, и они уехали в полк, с твердым, однако, намерением выйти немедленно в отставку, потому что жизнь в Уфе очень им понравилась. Уезжая, дядя Сергей Николаич, который был отличный каллиграф, уговорил моего отца, особенно желавшего, чтоб я имел хороший почерк, взять мне учителя из народного училища. Учителя звали Матвей Васильич (фамилии его я никогда не слыхивал); это был человек очень тихий и добрый; он писал прописи не хуже печатных и принялся учить меня точно так же, как учил дядя.

Не видя конца палочкам с усами и без усов, кривым чертам и оникам, я скучал и ленился, а потому, чтоб мне было охотнее заниматься, посадили Андрюшу писать вместе со мной. Андрюша начал учиться чистописанию гораздо прежде меня у того же Матвея Васильича в народном училище. Это средство несколько помогло: мне стыдно стало, что Андрюша пишет лучше меня, а как успехи его были весьма незначительны, то я постарался догнать его и в самом деле догнал довольно скоро. Учитель наш имел обыкновение по окончании урока, продолжавшегося два часа, подписывать на наших тетрадях какое-нибудь из следующих слов: «посредственно, не худо, изрядно, хорошо, похвально». Скоро стал я замечать, что Матвей Васильич поступает несправедливо и что если мы с Андрюшей оба писали неудачно, то мне он ставил «не худо», а ему «посредственно», а если мы писали оба удовлетворительно, то у меня стояло «очень хорошо» или «похвально», а у Андрюши «хорошо»; в тех же случаях, впрочем, довольно редких, когда товарищ мой писал лучше меня – у нас стояли одинаковые одобрительные слова. Заметив это, я стал рассуждать: отчего так поступает наш добрый учитель? «Верно, он меня больше любит, – подумал я, – и, конечно, за то, что у меня оба глаза здоровы, а у бедного Андрюши один глаз выпятился от бельма и похож на какую-то белую пуговицу». В этой мысли вскоре убедило меня то, что Матвей Васильич был со мною ласковее, чем с моим товарищем, чего я прежде не замечал. Все мои наблюдения и рассуждения я не замедлил сообщить матери и отцу. Они как-то переглянулись и улыбнулись, и мне ничего не сказали. Но в подписях Матвея Васильича вскоре произошла перемена; на тетрадках наших с Андрюшей появились одни и те же слова, у обоих или «не худо», или «изрядно», или «хорошо», и я понял, что отец мой, верно, что-нибудь говорил нашему учителю, но обращался Матвей Васильич всегда лучше со мной, чем с Андрюшей.

Я и теперь не могу понять, какие причины заставили мою мать послать меня один раз в народное училище, вместе с Андрюшей. Вероятно, это был чей-нибудь совет, и всего скорее М.Д.Княжевича, но, кажется, его дети в училище не ходили. Как ни была умна моя мать, но, по ее недостаточному образованию, не могла ей войти в голову дикая тогда мысль спсылать сына в народное училище, – мысль, которая теперь могла бы быть для всех понятною и служить объяснением такого поступка. Как бы то ни было, только в один очень памятный

для меня день отвезли нас с Андрюшей в санях, под надзором Евсеича, в народное училище, находившееся на другом краю города и помещавшееся в небольшом деревянном домишке. Евсеич отдал нас с рук на руки Матвею Васильичу, который взял меня за руку и ввел в большую неопрятную комнату, из которой несся шум и крик, мгновенно утихнувший при нашем появлении, – комнату, всю установленную рядами столов со скамейками, каких я никогда не видывал; перед первым столом стояла, утвержденная на каких-то подставках, большая черная четверугольная доска; у доски стоял мальчик с обостренным мелом в одной руке и с грязной тряпицей в другой. Половина скамеек была занята мальчиками разных возрастов; перед ними лежали на столах тетрадки, книжки и аспидные доски; ученики были пребольшие, превысокие и очень маленькие, многие в одних рубашках, а многие одетые, как нищие. Матвей Васильич подвел меня к первому столу, велел ученикам потесниться и посадил с края, а сам сел на стул перед небольшим столиком, недалеко от черной доски; все это было для меня совершенно новым зрелищем, на которое я смотрел с жадным любопытством. При входе в класс Андрюша пропал. Вдруг Матвей Васильич заговорил таким сердитым голосом, какого у него никогда не бывало, и с каким-то напевом: «Не знаешь? На колени!», и мальчик, стоявший у доски, очень спокойно положил на стол мел и грязную тряпицу и стал на колени позади доски, где уже стояло трое мальчиков, которых я сначала не заметил и которые были очень веселы; когда учитель оборачивался к ним спиной, они начинали возиться и драться. Класс был арифметический. Учитель продолжал громко вызывать учеников по списку, одного за другим; это была в то же время переключка: оказалось, что половины учеников не было в классе. Матвей Васильич отмечал в списке, кого нет, приговаривая иногда: «В третий раз нет, в четвертый нет – так розги!»

Я оцепенел от страха. Вызываемые мальчики подходили к доске и должны были писать мелом требуемые цифры и считать их как-то от правой руки к левой, повторяя: «Единицы, десятки, сотни». При этом счете многие сбивались, и мне самому казался он непонятным и мудреным, хотя я давно уже выучился самоучкой писать цифры. Некоторые ученики оказались знающими; учитель хвалил их, но и самые похвалы сопровождались бранными словами, по большей части неизвестными мне. Иногда бранное слово возбуждало общий смех, который вдруг вырывался и вдруг утихал. Перекликав всех по списку и испытав в степени знания, Матвей Васильич задал урок на следующий раз: дело шло тоже о цифрах, об их местах и о значении нуля. Я ничего не понял сколько потому, что вовсе не знал, о чем шло дело, столько и потому, что сидел, как говорится, ни жив ни мертв, пораженный всем, мною виденным. Задав урок, Матвей Васильич позвал сторожей; пришли трое, вооруженные пучками прутьев, и принялись сечь мальчиков, стоявших на коленях. При самом начале этого страшного и отвратительного для меня зрелища я зажмурился и заткнул пальцами уши. Первым моим движением было убежать, но я дрожал всем телом и не смел пошевелиться. Когда утихли крики и зверские восклицания учителя, долетавшие до моего слуха, несмотря на заткнутые пальцами уши, я открыл глаза и увидел живую и шумную около меня суматоху; забирая свои вещи, все мальчики выбегали из класса и вместе с ними наказанные, так же веселые и резвые, как и другие. Матвей Васильич подошел ко мне с обыкновенным ласковым видом, взял меня за руку и прежним тихим голосом просил «засвидетельствовать его нижайшее почтение батюшке и матушке». Он вывел меня из опустевшего класса и отдал Евсеичу, который проворно укутал меня в шубу и посадил в сани, где уже сидел Андрюша. «Что, понравилось ли вам училище? – спросил он, заглядывая мне в лицо. И, не получая от меня ответа, прибавил: – Никак, напугались? У нас это всякий день». Приехав домой, я ужасно встревожил свою мать сначала безмолвным волнением и слезами, а потом исступленным гневом на злодейские поступки Матвея Васильича. Мать ничего не знала о том, что обыкновенно происходит в народных училищах, и, конечно, ни за что на свете не подвергла бы моего сердца такому жестокому потрясению.

Успокоить и утешить меня сначала не было никакой возможности; в эту минуту даже власть матери была бессильна надо мной. Наконец, рассказав все до малейшей подробности мною виденное и слышанное, излив мое негодование в самых сильных выражениях, какие

только знал из книг и разговоров, и осудив Матвея Васильича на все известные мне казни, я поутих и получил способность слушать и понимать разумные речи моей матери. Долго она говорила со мной и для моего успокоения должна была коснуться многого, еще мне не известного и не вполне мною тогда понятого. Трудно было примириться детскому уму и чувству с мыслию, что виденное мною зрелище не было исключительным злодейством, разбоем на большой дороге, за которое следовало бы казнить Матвея Васильича, как преступника, что такие поступки не только дозволяются, но требуются от него как исполнение его должности; что самые родители высеченных мальчиков благодарят учителя за строгость, а мальчики будут благодарить со временем; что Матвей Васильич мог браниться зверским голосом, сечь своих учеников и оставаться в то же время честным, добрым и тихим человеком. Слишком рано получил я это раздирающее впечатление и этот страшный урок! Он возмутил ясную тишину моей души. Я долго не мог успокоиться, а от Матвея Васильича получил такое непреодолимое отвращение, что через месяц должны были ему отказать. Чистописанье продолжал я один, а иногда вместе с Андрюшей. Учителя другого в городе не было, а потому мать и отец сами исправляли его должность: всего больше они смотрели за тем, чтоб я писал как похожее на прописи. Матери моей как-то не совсем нравилось товарищество Андрюши, и он начинал реже ходить ко мне. Итак, все мое детское общество, кроме приезжавших иногда маленьких гостей Княжевичей и Мансуровых, с которыми мы очень много играли и резвились, ограничивалось обществом моей милой сестрицы, которая, становясь умнее с каждым днем, могла уже более разделять все мои наклонности, впечатления и забавы.

Здоровье матери было лучше прежнего, но не совсем хорошо, а потому, чтоб нам было воспользоваться летним временем, в Сергеевке делались приготовления к нашему переезду: купили несколько изб и амбаров; в продолжение великого поста перевезли и поставили их на новом месте, которое выбирать ездил отец мой сам; сколько я ни просился, чтоб он взял меня с собою, мать не отпустила. Сергеевка исключительно овладела моим воображением, которое отец ежедневно воспламенял своими рассказами. Дорога в Багрово, природа, со всеми чудными ее красотами, не были забыты мной, а только несколько подавлены новостью других впечатлений: жизнью в Багрове и жизнью в Уфе; но с наступлением весны проснулась во мне горячая любовь к природе; мне так захотелось увидеть зеленые луга и леса, воды и горы, так захотелось побегать с Суркой по полям, так захотелось закинуть удочку, что все окружающее потеряло для меня свою занимательность и я каждый день просыпался и засыпал с мыслию о Сергеевке. Святая неделя прошла для меня незаметно. Я, конечно, не мог понимать ее высокого значенья, но я мало обратил внимания даже на то, что понятно для детей: радостные лица, праздничные платья, колокольный звон, беспрестанный приезд гостей, красные яйца и проч. и проч. Приходская церковь наша стояла на возвышении, и снег около нее давно уже обтаял. Великим моим удовольствием было смотреть, как бегут по косогору мутные и шумные потоки весенней воды мимо нашего высокого крыльца, а еще большим наслаждением, которое мне не часто дозволялось, – прочищать палочкой весенние ручейки. С крыльца нашего была видна река Белая, и я с нетерпением ожидал, когда она вскрыется. На все мои вопросы отцу и Евсеичу: «Когда же мы поедем в Сергеевку?» обыкновенно отвечали: «А вот как река пройдет».

И наконец пришел этот желанный день и час! Торопливо заглянул Евсеич в мою детскую и тревожно-радостным голосом сказал: «Белая тронулась!» Мать позволила, и в одну минуту, тепло одетый, я уже стоял на крыльце и жадно следил глазами, как шла между неподвижных берегов огромная полоса синего, темного, а иногда и желтого льда. Далеко уже уплыла поперечная дорога, и какая-то несчастная черная корова бегала по ней как безумная от одного берега до другого. Стоявшие около меня женщины и девушки сопровождали жалобными восклицаниями каждое неудачное движение бегающего животного, которого рев долетал до ушей моих, и мне стало очень его жалко. Река на повороте загибалась за крутой утес, и скрылись за ним дорога и бегающая по ней черная корова. Вдруг две собаки показались на льду; но их суетливые прыжки возбудили не

жалость, а смех в окружающих меня людях, ибо все были уверены, что собаки не утонут, а перепрыгнут или переплывут на берег. Я охотно этому верил и, позабыв бедную корову, сам смеялся вместе с другими.

Собаки не замедлили оправдать общее ожидание и скоро перебрались на берег. Лед все еще шел крепкою, сплошною, неразрывною, бесконечною глыбою. Евсеич, опасаясь сильного и холодного ветра, сказал мне: «Пойдем, соколик, в горницу, река еще не скоро взломается, а ты прозябнешь. Лучше я тебе скажу, когда лед начнет трескаться». Я очень неохотно послушался, но зато мать была очень довольна и похвалила Евсеича и меня. В самом деле, не ближе как через час Евсеич пришел сказать мне, что лед на реке ломается. Мать опять отпустила меня на короткое время, и, одевшись еще теплее, я вышел и увидел новую, тоже не виданную мною картину: лед трескался, ломался на отдельные глыбы; вода всплескивалась между ними; они набегали одна на другую, большая и крепкая затопляла слабейшую, а если встречала сильный упор, то поднималась одним краем вверх, иногда долго плыла в таком положении, иногда обе глыбы разрушались на мелкие куски и с треском погружались в воду.

Глухой шум, похожий по временам на скрип или отдаленный стон, явственно долетал до наших ушей. Полубовавшись несколько времени этим величественным и страшным зрелищем, я воротился к матери и долго, с жаром рассказывал ей все, что видел. Приехал отец из присутствия, и я принялся с новым жаром описывать ему, как прошла Белая, и рассказывал ему еще долее, еще горячее, чем матери, потому что он слушал меня как-то охотнее. С этого дня Белая сделалась постоянным предметом моих наблюдений. Река начала выступать из берегов и затоплять луговую сторону. Каждый день картина изменялась; и наконец разлив воды, простиравшийся с лишком на восемь верст, слился с облаками. Налево виднелась необозримая водяная поверхность, чистая и гладкая, как стекло, а прямо против нашего дома вся она была точно усеяна иногда верхушками дерев, а иногда до половины затопленными огромными дубами, вязами и осокорями, высота которых только тогда вполне обозначалась; они были похожи на маленькие, как будто плавающие островки.

Долго не сбывала полая вода, и эта медленность раздражала мое нетерпение. Напрасно мать уверяла меня, что она не поедет в Сергеевку до тех пор, покуда не вырастет трава: я все думал, что нам, мешает река и что мы оттого не едем, что она не вошла в берега. Вот уже наступила теплая, даже жаркая погода. Белая вошла в межень, улеглась в своих песках; давно уже зеленели поля и зазеленела урема за рекою, а мы все еще не ехали. Отец мой утверждал, что трудно проехать по тем местам, которые были залиты весеннею водою, что грязно, топко и что в долочках или размыло дорогу, или нанесло на нее илу; но мне все такие препятствия казались совершенно не стоящими внимания. Желание скорее переехать в Сергеевку сделалось у меня болезненным устремлением всех помышлений и чувств к одному предмету; я уже не мог ничем заниматься, скучал и привередничал. Было предвидеть и должно было принять действительные меры, чтоб укротить во мне эту страсть, эту способность увлекаться до самозабвения и впадать в крайности. Впоследствии я слышал сожаление моей матери, что она мало обращала внимания на эту сторону моего характера, великую помеху в жизни и причину многих ошибок.

Я думал, что мы уж никогда не поедем, как вдруг – о счастливый день! – мать сказала мне, что мы едем завтра. Я чуть не сошел с ума от радости. Милая моя сестрица разделяла ее со мной, радуясь, кажется, более моей радости. Плохо я спал ночь. Никто еще не вставал, когда я уже был готов совсем. Но вот проснулись в доме, начался шум, беготня, укладывание, заложили лошадей, подали карету, и наконец часов в десять утра мы спустились на перевоз через реку Белую. Вдобавок ко всему Сурка был с нами.

СЕРГЕЕВКА

Сергеевка занимает одно из самых светлых мест в самых ранних воспоминаниях моего детства. Я чувствовал тогда природу уже сильнее, чем во время поездки в Багрово, но далеко

еще не так сильно, как почувствовал ее через несколько лет. В Сергеевке я только радовался спокойною радостью, без волнения, без замиранья сердца. Все время, проведенное мною в Сергеевке в этом году, представляется мне веселым праздником.

Мы, так же как и прошлого года, переправились через Белую в косной лодке. Такие же камешки и пески встретили меня на другом берегу реки; но я уже мало обратил на них внимания, – у меня впереди рисовалась Сергеевка, моя Сергеевка, с ее озером, рекою Белою и лесами. Я с нетерпением ожидал переправы нашей кареты и повозки, с нетерпением смотрел, как выгружались, как закладывали лошадей, и очень скучал белыми сыпучими песками, по которым надобно было тащиться более версты. Наконец мы въехали в урему, в зеленую, цветущую и душистую урему. Веселое пение птичек неслось со всех сторон, но все голоса покрывались свистами, раскатами и щелканьем соловьев. Около деревьев в цвету вились и жужжали целые рои пчел, ос и шмелей. Боже мой, как было весело! Следы недавно сбывшей воды везде были приметны: сухие прутья, солома, облепленная илом и землей, уже высохшая от солнца, висели клочьями на зеленых кустах; стволы огромных деревьев высоко от корней были плотно как будто обмазаны также высохшею тиной и песком, который светился от солнечных лучей. «Видишь, Сережа, как высоко стояла полая вода, – говорил мне отец, – смотри-ка, вон этот вяз точно в шапке от разного наноса; видно, он почти весь стоял под водою». Многое в таком роде объяснял мне отец, а я в свою очередь объяснял моей милой сестрице, хотя она тут же сидела и также слушала отца. Скоро, и не один раз, подтвердилась справедливость его опасений; даже и теперь во многих местах дорога была размыта, испорчена внешней водою, а в некоторых долочках было так вязко от мокрой тины, что сильные наши лошади с трудом вытаскивали карету. Наконец мы выбрались в чистое поле, побежали шибкою рысью и часу в третьем приехали в так называемую Сергеевку. Подъезжая к ней, мы опять попали в урему, то есть в поемное место, поросшее редкими кустами и деревьями, избитое множеством средних и маленьких озер, уже обраставших зелеными камышами: это была пойма той же реки Белой, протекавшей в версте от Сергеевки и заливавшей весною эту низменную полосу земли. Потом мы поднялись на довольно крутой пригорок, на ровной поверхности которого стояло несколько новых и старых недостроенных изб; налево виднелись длинная полоса воды, озеро Кишки и противоположный берег, довольно возвышенный, а прямо против нас лежала разбросанная большая татарская деревня так называемых «мещеряков». Направо зеленела и сверкала, как стеклами, своими озерами пойма реки Белой, которую мы сейчас переехали поперек. Мы повернули несколько вправо и въехали в нашу усадьбу, обгороженную свежим зеленым плетнем. Усадьба состояла из двух изб: новой и старой, соединенных сенями; недалеко от них находилась людская изба, еще не покрытая; остальную часть двора занимала длинная соломенная поветь вместо сарая для кареты и вместо конюшни для лошадей; вместо крыльца к нашим сеням положены были два камня, один на другой; в новой избе не было ни дверей, ни оконных рам, а прорублены только отверстия для них. Мать была не совсем довольна и выговаривала отцу, но мне все нравилось гораздо более, чем наш городской дом в Уфе. Отец уверял, что рамы привезут завтра и без косяков, которые еще не готовы, приколотят снаружи, а вместо дверей куда советовал повесить ковер. Стали раскладываться и устраиваться: стулья, кровати и столы были привезены заранее. Мы скоро сели обедать. Кушанье, приготовленное также заранее на тагане в яме, вырытой возле забора, показалось нам очень вкусным. В этой яме хотели сбить из глины летнюю кухонную печь. Мать успокоилась, развеселилась и отпустила меня с отцом на озеро, к которому стремились все мои мысли и желания; Евсеич пошел с нами, держа в руках приготовленные удочки; мать смеялась, глядя на нас, и весело сказала: «Окон и дверей нет, а удочки у вас готовы». Я от радости ног под собой не слышал: не шел, а бежал вприпрыжку, так что надо было меня держать за руки. Вот оно наконец мое давно желанное и жданное великолепное озеро, в самом деле великолепное! Озеро Кишки тянулось разными изгибами, затоками и плесами версты на три; ширина его была очень неровная: иногда сажень семьдесят, а иногда полверсты. Противоположный берег представлял лесистую возвышенность, спускавшуюся к воде пологим скатом; налево озеро оканчивалось очень

близко узким рукавом, посредством которого весною, в полую воду, заливалась в него река Белая; направо за изгибом не видно было конца озера, по которому, в полуверсте от нашей усадьбы, была поселена очень большая мешеряцкая деревня, о которой я уже говорил, называвшаяся по озеру также Кишки.

Разумеется, русские звали ее и озеро, и вновь поселенную русскую деревушку Сергеевку, просто «Кишки» – и к озеру очень шло это название, вполне обозначавшее его длинное, искривленное протяжение. Чистая, прозрачная вода, местами очень глубокая, белое, песчаное дно, разнообразное чернолесье, отражавшееся в воде как в зеркале и обросшее зелеными береговыми травами, все вместе было так хорошо, что не только я, но и отец мой и Евсеич пришли в восхищение. Особенно был красив и живописен наш берег, покрытый молодой травой и луговыми цветами, то есть часть берега, не заселенная и потому ничем не загаженная; по берегу росло десятка два дубов необыкновенной вышины и толщины. Когда мы подошли к воде, то увидели новые широкие мостки и привязанную к ним новую лодку: новые причины к новому удовольствию. Отец мой позаботился об этом заранее, потому что вода была мелка и без мостков удить было бы невозможно; да и для мытья белья оказались они очень пригодны, лодка же назначалась для ловли рыбы сетями и неводом. Сзади мостков стоял огромный дуб в несколько охватов толщиной; возле него рос некогда другой дуб, от которого остался только довольно высокий пенёк, гораздо толще стоявшего дуба; из любопытства мы влезли на этот громадный пенёк все трое, и, конечно, занимали только маленький краешек. Отец мой говорил, что на нем могли бы усесться человек двадцать. Он указал мне зарубки на дубовом пне и на растущем дубу и сказал, что башкирцы, настоящие владельцы земли, каждые сто лет кладут такие заметки на больших дубах, в чем многие старики его уверяли; таких зарубок на пне было только две, а на растущем дубу пять, а как пенёк был гораздо толще и, следовательно, старше растущего дуба, то и было очевидно, что остальные зарубки находились на отрубленном стволе дерева. Отец прибавил, что он видел дуб несравненно толще и что на нем находилось двенадцать заметок, следовательно, ему было 1200 лет. Не знаю, до какой степени были справедливы рассказы башкирцев, но отец им верил, и они казались мне тогда истиной, не подверженной сомнению.

Озеро было полно всякой рыбы, и очень крупной; в половодье она заходила из реки Белой, а когда вода начинала убывать, то мешеряки перегораживали плетнем узкий и неглубокий проток, которым соединялось озеро с рекою, и вся рыба оставалась до будущей весны в озере. Огромные щуки и жерехи то и дело выскакивали из воды, гоняясь за мелкой рыбою, которая металась и плавалась беспрестанно. Местами около берегов и трав рябила вода от рыбьих стай, которые теснились на мель и даже выскакивали на береговую траву: мне сказали, что это рыба мечет икру. Всего более водилось в озере окуней и особенно лещей. Мы размотали удочки и принялись удить. Отец взял самую большую, с крепкою лесой, насадил какого-то необыкновенно толстого червяка и закинул как дальше: ему хотелось поймать крупную рыбу; мы же с Евсеичем удили на средние удочки и на маленьких навозных червячков.

Клев начался в ту же минуту; беспрестанно брали средние окуни и подлещики, которых я еще и не видывал. Я пришел в такое волнение, в такой азарт, как говорил Евсеич, что у меня дрожали руки и ноги и я сам не помнил, что делал. У нас поднялась страшная возня от частого вытаскивания рыбы и закидывания удочек, от моих восклицаний и Евсеичевых наставлений и удержанья моих детских порывов, а потому отец, сказав: «Нет, здесь с вами ничего не выудишь хорошего», сел в лодку, взял свою большую удочку, отъехал от нас несколько десятков сажен подальше, опустил на дно веревку с камнем, привязанную к лодке, и стал удить. Множество и легкость добычи охладили, однако, горячность мою и моего дядьки, который, право, горячился не меньше меня. Он стал думать, как бы и нам выудить покрупнее. «Давай, соколик, удить со дна, – сказал он мне, – и станем насаживать червяков побольше, и я закину третью удочку на хлеб». Я, разумеется, охотно согласился: наплавки передвинули повыше, так что они уже не стояли, а лежали на воде, червяков насадили

покрупнее, а Евсеич навдевал их даже десяток на свой крючок, на третью же удочку насадил он кусок умятого хлеба, почти в орех величиною.

Рыба вдруг перестала брать, и у нас наступила совершенная тишина. Как нарочно, для подтверждения слов моего отца, что с нами ничего хорошего не выудишь, у него взяла какая-то большая рыба; он долго возился с нею, и мы с Евсеичем, стоя на мостках, принимали живое участие. Вдруг отец закричал: «Сорвалась!» и вытащил из воды пустую удочку; крючок, однако, остался цел.

«Видно, я не дал хорошенько заглотать», – с досадою сказал он; снова насадил крючок и снова закинул удочку. Евсеич очень горевал. «Экой грех, – говорил он, – теперь уж другая не возьмет. Уж первая сорвалась, так удачи не будет!» Я же, вовсе не выдавший рыбы, потому что отец не выводил ее на поверхность воды, не чувствовавший ее тяжести, потому что не держал удилица в руках, не понимавший, что по согнутому удилицу судить о величине рыбы, я не так близко к сердцу принял эту потерю и говорил, что, может быть, это была маленькая рыбка. Несколько времени мы сидели в совершенной тишине, рыба не трогала. Мне стало скучно, и я попросил Евсеича переладить мою удочку по-прежнему; он исполнил мою просьбу; наплавков мой встал, и клев начался немедленно; но свои удочки Евсеич не переправлял, и его наплавки спокойно лежали на воде. Я выудил уже более двадцати рыб, из которых двух не мог вытащить без помощи Евсеича; правду сказать, он только и делал, что снимал рыбу с моей удочки, сажал ее в ведро с водой или насаживал червяков на мой крючок; своими удочками ему некогда было заниматься, а потому он и не заметил, что одного удилица уже не было на мостках и что какая-то рыба утащила его от нас сажен на двадцать. Евсеич поднял такой крик, что испугал меня; Сурка, бывший с нами, начал лаять. Евсеич стал просить и молить моего отца, чтоб он поймал плавающее удилице. Отец поспешно исполнил его просьбу: поднял камень в лодку и, гребя веслом то направо, то налево, скоро догнал Евсеичево удилице, вытащил очень большого окуня, не отцепляя положил его в лодку и привез к нам на мостки. В этом происшествии я уже принимал гораздо живейшее участие; крики и тревога Евсеича привели меня в волнение: я прыгал от радости, когда перенесли окуня на берег, отцепили и посадили в ведро.

Вероятно, рыба была испугана шумом и движеньем подъезжавшей лодки: клев прекратился, и мы долго сидели, напрасно ожидая новой добычи. Только к вечеру, когда солнышко стало уже садиться, отец мой выудил огромного леща, которого оставил у себя в лодке, чтобы не распугать, как видно, подходившую рыбу; держа обеими руками леща, он показал нам его только издали. У меня начали опять брать подлещики, как вдруг отец заметил, что от воды стал подыматься туман, закричал нам, что мне пора идти к матери, и приказал Евсеичу отвести меня домой. Очень не хотелось мне идти, но я уже столько натешился рыбною ловлею, что не смел попросить позволения остаться и, помогая Евсеичу обеими руками нести ведро, полное воды и рыбы, хотя в помощи моей никакой надобности не было и я скорее мешал ему, – весело пошел к ожидавшей меня матери. Покуда я удил, вытаскивая рыбу, или наблюдая за движением наплавка, или беспрестанно ожидая, что вот сейчас начнется клев, – я чувствовал только волнение страха, надежды и какой-то охотничьей жадности; настоящее удовольствие, полную радость я почувствовал только теперь, с восторгом вспоминая все подробности и пересказывая их Евсеичу, который сам был участник моей ловли, следовательно, знал все так же хорошо, как и я, но который, будучи истинным охотником, также находил наслаждение в повторении и воспоминании всех случайностей охоты. Мы шли и оба кричали, перебивая друг друга своими рассказами, даже останавливались иногда, ставили ведро на землю и доканчивали какое-нибудь горячее воспоминание: как тронуло наплавков, как его утащило, как упиралась или как сорвалась рыба; потом снова хватались за ведро и спешили домой. Мать, сидевшая на каменном крыльце или, лучше сказать, на двух камнях, заменявших крыльцо для входа в наше новое, недостроенное жилище, издали услышала, что мы возвращаемся, и дивилась, что нас долго нет. «О чем это вы с Евсеичем так громко рассуждали?» – спросила она, когда мы подошли к ней. Я снова принялся рассказывать, Евсеич тоже. Хотя я не один уже раз замечал, что мать

неохотно слушает мои горячие описания рыбной ловли, – в эту минуту я все забыл. В подтверждение наших рассказов мы с Евсеичем вынимали из ведра то ту, то другую рыбу, а как это было затруднительно, то наконец вытряхнули всю свою добычу на землю; но, увы, никакого впечатления не произвела наша рыба на мою мать. Угомонившись от рассказов, я заметил, что перед матерью был разведен небольшой огонь и курились две-три головешки, дым от которых прямо шел на нее. Я спросил, что это значит? Мать отвечала, что она не знала, куда деваться от комаров, и только тут, вглядевшись в мое лицо, она вскрикнула: «Посмотри-ка, что сделали с тобою комары! У тебя все лицо распухло и в крови». В самом деле, я был до того искусан комарами, что лицо, шея и руки у меня распухли. И всего этого я даже не заметил – так уже страстно полюбил я уженье. Что же касается до комаров, то я никогда и нигде, во всю мою жизнь, не встречал их в таком множестве, да еще в соединении с мушкaroю, которая, по-моему, еще несноснее, потому что забивается человеку в рот, нос и глаза. Причиною множества комаров и мушкары было изобилие стоячей воды и леса. Наконец комары буквально одолели нас, и мы с матерью ушли в свою комнату без дверей и окон, а как она не представляла никакой защиты, то сели на кровать под рединный полог, и хотя душно было сидеть под ним, но зато спокойно. Полог – единственное спасение от вечерних и ночных нападений комаров. – Отец воротился, когда уже стало темно; он поймал еще двух очень больших лещей и уверял, что клев не прекращался и что он просидел бы всю ночь на лодке, если б не боялся встревожить нас. «Боже мой, – подумал я, – когда я буду большой, чтоб проводить целые ночи с удочкой и Суркой на берегу реки или озера?..» – потому что лодки я прибаивался.

На другой день поутру, хорошенько выспавшись под одним пологом с милой моей сестрицей, мы встали бодры и веселы. Мать с удовольствием заметила, что следы вчерашних уязвлений, нанесенных мне злыми комарами, почти прошли; с вечера натерли мне лицо, шею и руки каким-то составом; опухоль опала, краснота и жар уменьшились. Сестрицу же комары мало искушали, потому что она рано улеглась под наш полог. Началось деятельное устройство нашей полукочевой жизни, а главное – устройство особенного приготовления и правильного употребления кумыса. Для этого надобно было повидаться с башкирским кантонным старшиной, Мавлютом Исеичем (так звали его в глаза, а за глаза – Мавлюткой), который был один из вотчинников, продавших нам Сергеевскую пустошь. Он жил если не в деревне Киишки, то где-нибудь очень близко, потому что отец посылал его звать к себе, и посланный воротился очень скоро с ответом, что Мавлютка сейчас будет. В самом деле, едва мы успели напиться чаю, как перед нашими воротами показалась какая-то странная громада верхом на лошади. Громада подъехала к забору, весьма свободно сошла с лошади, привязала ее к плетню и ввалилась к нам на двор. Мы сидели на своем крыльце; отец пошел навстречу гостю, протянул ему руку и сказал: «Саям маликум, Мавлют Исеич». Я разинул рот от изумления. Передо мной стоял великан необыкновенной толщины; в нем было два аршина двенадцать вершков роста и двенадцать пудов веса, как я после узнал; он был одет в казакин и в широчайшие плисовые шальвары; на макушке толстой головы чуть держалась вышитая золотом запачканная тюбетейка; шеи у него не было; голова с подзобком плотно лежала на широких плечах; огромная саблища тащилась по земле – и я почувствовал невольный страх: мне сейчас представилось, что таков должен быть коварный Тиссаферн, предводитель персидских войск, сражавшихся против младшего Кира. Я не замедлил сообщить свою догадку на ухо своей сестрице и потом матери, и она очень смеялась, отчего и страх мой прошел. Мавлютке принесли скамейку, на которой он с трудом уселся; ему подали чаю, и он выпил множество чашек. Дело о приготовлении кумыса для матери, о чем она сама просила, устроилось весьма удобно и легко. Одна из семи жен Мавлютки была тут же заочно назначена в эту должность; она всякий день должна была приходить к нам и приводить с собой кобылу, чтоб, надоив нужное количество молока, заквасить его в нашей посуде, на глазах у моей матери, которая имела непреодолимое отвращение к нечистоте и неопрятности в приготовлении кумыса. Условились в цене и дали вперед сколько-то денег Мавлютке, чему он, как я заметил, очень обрадовался. Я не мог удержаться от смеха, слушая, как моя

маменька старалась подражать Мавлютке, коверкая свои слова. После этого начался разговор у моего отца с кантонным старшиной, обративший на себя все мое внимание: из этого разговора я узнал, что отец мой купил такую землю, которую другие башкирцы, а не те, у которых мы ее купили, называли своею, что с этой земли надобно было согнать две деревни, что когда будет межевание, то все объявят спор и что надобно поскорее переселить на нее несколько наших крестьян. «Землимир, землимир, скоро тащи, бачка Алексей Степаныч, – говорил визгливым голосом Мавлютка, – землимир вся кончал; белым столбам надо; я сам гуляет на мига». Мавлют Исеич ушел, отвязал свою лошадь, про которую, между прочим, сказал, что она «в целый табун одна его таскай», надел свой войлочный вострый колпак, очень легко сел верхом, махнул своей страшной плетью и поехал домой. Я недаром обратил внимание на разговор башкирского старшины с моим отцом. Оставшись наедине с матерью, он говорил об этом с невеселым лицом и с озабоченным видом; тут я узнал, что матери и прежде не нравилась эта покупка, потому что приобретаемая земля не могла скоро и без больших затруднений достаться нам во владение: она была заселена двумя деревнями припущенников, «Киешками» и «Старым Тимкиным», которые жили, правда, по просроченным договорам, но которых свести на другие, казенные земли было очень трудно; всего же более не нравилось моей матери то, что сами продавцы-башкирцы ссорились между собою и всякий называл себя настоящим хозяином, а другого обманщиком. Теперь я рассказал об этом так, как узнал впоследствии; тогда же я не мог понять настоящего дела, а только испугался, что тут будут спорить, ссориться, а может быть, и драться. Сердце мое почувствовало, что моя Сергеевка не крепкая, и я не ошибся.²⁰

С каждым днем все более и более устраивалась наша полукочевая жизнь.

Оконные рамы привезли и, за неимением косяков, приколотили их снаружи довольно плотно; но дверей не было и их продолжали заменять коврами, что мне казалось несколько не хуже дверей. На дворе поставили большую новую белую калмыцкую кибитку; боковые войлочные стенки было поднять, и решетчатая кибитка тогда представляла вид огромного зонтика с круглым отверстием сверху. Мы обыкновенно там обедали, чтоб в наших комнатах было меньше мух, и обыкновенно поднимали одну сторону кибитки, ту, которая находилась в тени. Кумыс приготовлялся отлично хорошо, и мать находила его уже не так противным, как прежде; но я чувствовал к нему непреодолимое отвращение, по крайней мере, уверял в том и себя и других, и хотя матери моей очень хотелось, чтобы я пил кумыс, потому что я был худ и все думали, что от него потолстею, но я отбил. Сестрица тоже не могла его переносить; он решительно был ей вреден. По совести говоря, я думаю, что мог привыкнуть к кумысу, но я боялся, чтоб его употребление и утренние прогулки, неразлучные с ним, не отняли у меня лучшего времени для уженья. Охота удить рыбу час от часу более овладевала мной; я только из боязни, чтоб мать не запретила мне сидеть с удочкой на озере, с насильственным прилежанием занимался чтением, письмом и двумя первыми правилами арифметики, чему учил меня отец. Я помню, что притворялся довольно искусно и часто пускался в длинные рассуждения с матерью, тогда как на уме моем только и было, как бы поскорее убежать с удочкой на мостки, когда каждая минута промедления была для меня тяжким испытанием. Рыба клевала чудесно; неудач не было или они состояли только в том, что иногда крупной рыбы попадалось меньше. Милая моя сестрица, ходившая также иногда с своей Парашей на уженье, не находила в этом никакого удовольствия, и комары скоро прогоняли ее домой.

Наконец стали приезжать к нам гости. Один раз съехались охотники до рыбной ловли: добрейший генерал Мансуров, страстный охотник до всех охот, с женой и Иван Николаич Булгаков также с женой. Затеяли большую рыбную ловлю неводом; достали невод, кажется,

²⁰ Вся Сергеевская земля до сих пор находится в споре, и тридцать душ крестьян, на ней поселенных, имеют землю в общем владении с деревнями Киешки и Старым Тимкиным. Права настоящих вотчинников-башкирцев так спутаны, что разобрать их не только трудно, даже невозможно. (Примеч. автора.)

у башкирцев, а также еще несколько лодок; две из них побольше связали вместе, покрыли поперек досками, приколотили доски гвоздями и таким образом сделали маленький паром с лавочкой, на которой могли сидеть дамы. В одну чудную, тихую, месячную ночь мы все, кроме матери, отправились на тоню. Я сидел с дамами на пароме. Без всякого шума, осторожно завезли невод и спустили его в воду, окружа один большой затон, или плесо, продолговатым полукругом вдавшееся в берег. Туда ночью на отмель собирались бесчисленные стаи лещей. Едва только подтянули клячи²¹ невода к берегам затона, как уже начало оказываться множество захваченной рыбы; мы следовали на пароме за мотней²² и видели в ней такое движение и возню, что наши дамы, а вместе с ними я, испускали радостные крики; многие огромные рыбы прыгали через верх или бросались в узкие промежутки между клячами и берегом; это были щуки и жерехи. Хранившие до тех пор молчание рыбаки, плывшие с боков на лодках или тянувшие невод, подняли шум, крик и хлопанье клячевыми веревками по воде, чтоб заставить рыбу воротиться в середину невода. Мы поспешили пристать к берегу, чтоб видеть, как будут вытаскивать рыбу. Удивительно и трудно поверить, что я не разделял общего увлечения и потому был внимательным наблюдателем всей этой живой и одушевленной картины. Мансуров и мой отец горячились больше всех; отец мой только распоряжался и беспрестанно кричал: «Выравнивай клячи! Нижние подборы води плотнее! Смотри, чтоб мотня шла посередине!» Мансуров же не довольствовался одними словами: он влез по колени в воду и, ухватя руками нижние подборы невода, тащил их, притискивая их к мелкому дну, для чего должен был, согнувшись в дугу, пятиться назад; он представлял, таким образом, пресмешную фигуру; жена его, родная сестра Ивана Николаича Булгакова, и жена самого Булгакова, несмотря на свое рыбацье увлечение, принялись громко хохотать. Наконец выбрали и накидали целые груды мокрой сети, то есть стен или крыльев невода, показалась мотня, из длинной и узкой сделавшаяся широкою и круглою от множества попавшейся рыбы; наконец стало так трудно тащить по мели, что принуждены были остановиться из опасения, чтоб не лопнула мотня; подняв высоко верхние подборы, чтоб рыба не могла выпрыгивать, несколько человек с ведрами и ушатами бросились в воду и, хватая рыбу, битком набившуюся в мотню, как в мешок, накладывали ее в свою посуду, выбегали на берег, вытряхивали на землю добычу и снова бросались за нею; облегчив таким образом тягость груза, все дружно схватились за нижние и верхние подборы и с громким криком выволокли мотню на берег. Рыбы поймали такое множество, какого не ожидали, и потому послали за телегой; по большей части были серебряные и золотые лещи, ярко блиставшие на лунном свете; попалось также довольно крупной плотвы, язей и окуней; щуки, жерехи и головли повыскакали, потому что были вороваты, как утверждали рыбаки.

Сколько тут было суматошной беготни и веселого крику! Дамы также принимали живое участие. Я часто слышал восклицания Евсеича: «Вот лещ-то! Ровно заслон!» Но, видно, я был настоящий рыбак по природе, потому что и тогда говорил Евсеичу: «Вот если б на удочку вытащить такого леща!» Мне даже как-то стало невесело, что поймали такое множество крупной рыбы, которая могла бы клевать у нас; мне было жалко, что так опустошили озеро, и я печально говорил Евсеичу, что теперь уж не будет такого клева, как прежде; но он успокоил меня, уверив, что в озере такая тьма-тьмущая рыбы, что озеро так велико и тянули неводом так далеко от наших мостков, что клев будет не хуже прежнего. «Вот завтра сам увидишь, соколик», – прибавил он, и я, совершенно успокоенный его словами, развеселился и принял более живое участие в общем деле. Мало-помалу все пришло в порядок: крупной рыбой нагрузили телегу, а остальную понесли в ведрах и ушате. Все общество весело пошло домой за телегой, нагруженною рыбой. Генерал Мансуров был

²¹ Клячами называются боковые концы или края невода, пришитые к деревянным палкам. (Примеч. автора.)

²² Мотня – середина невода, имеющая фигуру длинного и к концу узкого мешка. (Примеч. автора.)

довольнее всех, несмотря на то что весь запачкался и вымочился чуть ли не по пояс.

Мать ожидала нас на дворе, сидя, при дымном костре от комаров, за самоваром и чайным прибором. Шумно и живо рассказывали ей все о наших подвигах, она дивилась общему увлечению, не понимала его, смеялась над нами, а всего более над довольно толстым и мокрым генералом, который ни за что не хотел переодеться. Мать, удостоверившись, что мои ноги и платье сухи, напоила меня чаем и уложила спать под один полог с сестрицей, которая давно уже спала, а сама воротилась к гостям. Как было весело мне засыпать под нашим пологом, вспоминая недавнюю тоню, слыша сквозь дверь, завешенную ковром, громкий смех и веселые речи, мечтая о завтрашнем утре, когда мы с Евсеичем с удочками сядем на мостках! Проснувшись на другой день поутру ранее обыкновенного, я увидел, что мать уже встала, и узнал, что она начала пить свой кумыс и гулять по двору и по дороге, ведущей в Уфу; отец также встал, а гости наши еще спали: женщины занимали единственную комнату подле нас, отделенную перегородкой, а мужчины спали на подволоке, на толстом слое сена, покрытом кожами и простынями. Я проворно оделся, побежал к матери поздороваться и попросился удить. Мать отпустила меня без малейшего затруднения, и я без чаю поспешил с Евсеичем на озеро. Прав был Евсеич!

Никогда так еще не клевала рыба, как в это утро. «Вот видишь, соколик, – говорил Евсеич, – рыбы-то стало больше. Ее вчера напугали неводом, она и привалила сюда». Справедливо ли было заключение Евсеича или нет, только рыба брала отлично. Странно, что моя охотничья жадность слишком скоро удовлетворилась от мысли: «Да куда же нам деваться с этой рыбой, которой и вчера наловлено такое множество?» Впоследствии развилось во мне это чувство в больших размерах и всегда охлаждало мою охотничью горячность. Я сообщил мое сомнение Евсеичу, но он говорил, что это ничего, что всю рыбу сегодня же пересушим или прокоптим. Хотя такое объяснение меня несколько успокоило, но я захотел воротиться домой гораздо ранее обыкновенного.

Гости прогостили у нас еще два дня, Мансуров не мог оставаться без какого-нибудь охотничьего занятия; в этот же день вечером он ходил с отцом и с мужем Параша, Федором, ловить сетью на дудки перепелов. Очень мне хотелось посмотреть этой ловли, но мать не пустила. Федор принес мне живого перепела, которого посадил я в какое-то лукошечко, сплетенное Евсеичем из зеленых прутьев. На другой день Мансуров ходил на охоту с ружьем также вместе с моим отцом; с ними было две легавых собаки, привезенных Мансуровым. Охотники принесли несколько уток и десятка два разных куликов; все это было рассмотрено мною с величайшим вниманием. На охоту с ружьем я не смел уже и попроситься, хотя думал, что почему бы и мне с Суркой не поохотиться? Впрочем, где же было мне ходить за охотниками по кочкам, болотам и камышам? Но зато обе гости каждый вечер ходили удить со мной на озеро; удить они не умели, а потому и рыбы выуживали мало; к тому же комары так нападали на них, особенно на солнечном закате, что они бросали удочки и убегали домой; весьма неохотно, но и я, совершенно свыкшийся с комарами, должен был возвращаться также домой.

Наконец гости уехали, взяв обещание с отца и матери, что мы через несколько дней приедем к Ивану Николаичу Булгакову в его деревню Алмантаево, верстах в двадцати от Сергеевки, где гостил Мансуров с женою и детьми. Я был рад, что уехали гости, и понятно, что очень не радовался намерению ехать в Алмантаево; а сестрица моя, напротив, очень обрадовалась, что увидит маленьких своих городских подруг и знакомых: с девочками Мансуровыми она была дружна, а с Булгаковыми только знакома.

Во все время моего детства и в первые годы отрочества заметно было во мне странное свойство: я не дружился с своими сверстниками и тяготился их присутствием даже тогда, когда оно не мешало моим охотничьим увлечениям, которым и в ребячестве я страстно предавался. Это свойство называли во мне нелюдимством, дикостью и робостью; говорили, что я боюсь чужих. Мне всегда были очень досадны такие обвинения, и, конечно, они умножали мою природную застенчивость. Это свойство не могло происходить из моей природы, весьма общительной и слишком откровенной, как оказалось в юношеских годах;

это происходило, вероятно, от долговременной болезни, с которой неразлучно отчуждение и уединение, заставляющие сосредоточиваться и малое дитя, заставляющие его уходить в глубину внутреннего своего мира, которым трудно делиться с посторонними людьми. Еще более оно происходило от постоянного, часто исключительного сообщества матери и постоянного чтения книг. Голова моя была старше моих лет, и общество однолетних со мною детей не удовлетворяло меня, а для старших я был сам молод.

Здоровье матери видимо укреплялось. Кроме обыкновенных прогулок пешком ежедневно поутру и к вечеру мать очень часто ездила в поле прокатываться, особенно в серенькие дни, вместе с отцом, со мною и сестрицей на длинных крестьянских дрогах, с которыми я познакомился еще в Парашине. Мать скучала этими поездками, но считала их полезными для своего здоровья, да они и были предписаны докторами при употреблении кумыса; отцу моему прогулки также были скучноваты, но всех более ими скучал я, потому что они мешали моему уженью, отнимая иногда самое лучшее время. Редко случалось, чтобы мать отпускала меня с отцом или Евсеичем до окончания своей прогулки; точно то же было и вечером; но почти всякий день я находил время поудить.

В половине июня начались уже сильные жары; они составляли новое препятствие к моей охоте: мать боялась действия летних солнечных лучей; увидев же однажды, что шея у меня покраснела и покрылась маленькими пузырьками, как будто от шпанской мушки, что, конечно, произошло от солнца, она приказала, чтобы всегда в десять часов утра я уже был дома. Как я просил у бога сереньких дней, в которые мать позволяла мне удить до самого обеда и в которые рыба клевала жаднее. Какое счастье сидеть спокойно с Евсеичем на мостках, насаживать, закидывать удочки, следить за наплавками, не опасаясь, что пора идти домой, а весело поглядывая на Сурку, который всегда или сидел, или спал на берегу, развалившись на солнце! Но зато чтение, письмо и арифметика очень туго подвигались вперед, и детские игры с сестрицей начинали терять для меня свою занимательность и приятность.

Через неделю поехали мы к Булгаковым в Алмантаево, которое мне очень не понравилось, чего и ожидать было должно по моему нежеланию туда ехать; но и в самом деле никому не могло понравиться его ровное местоположение и дом на пустополе, без сада и тени, на солнечном припеке. Правда, недалеко от дому протекала очень рыбная и довольно сильная река Уршак, на которой пониже деревни находилась большая мельница с широким прудом; но и река мне не понравилась, во-первых, потому, что вся от берегов поросла камышами, так что и воды было не видно, а во-вторых, потому, что вода в ней была горька и не только люди ее не употребляли, но даже и скот пил неохотно. Впрочем, горьковатость воды не имела дурного влияния на рыбу, которой водилось в Уршаке множество и которую находили все очень вкусно. Удить около дома было невозможно по причине отлогих берегов, заросших густыми камышами, а на мельнице удили только с плотины около кауза и вешняка,²³ особенно в глубокой яме, или водоемине, выбитой под ним водою. Мы ездили туда один раз целым обществом, разумеется, около завтрака, то есть совсем не вовремя, и ловля была очень неудачна; но мельник уверял, что рано утром, до солнышка, особенно с весны и к осени, рыба берет очень крупная и всего лучше в яме под вешняком.

Хозяин, Иван Николаич Булгаков, был большой охотник до лошадей, борзых собак и верховой езды. У них в доме все ездили верхом – и дамы и дети. Булгаков, как-то особенно меня полюбивший, захотел непременно и меня посадить на лошадь. Мне стыдно было сказать, что я боюсь, и я согласился. У меня была мысль, что маменька не позволит; но, как нарочно, мать отвечала, что если я не трушу, то она очень рада. Такие слова укололи мое самолюбие, и я скрепя сердце сказал, что не трушу. Привели детскую маленькую лошадку; все вышли на крыльцо, меня посадили и дали мне в руки повод. Покуда Евсеич вел моего коня, я преодолевал свой страх; но как скоро он выпустил узду – я совершенно растерялся;

²³ Вешняк – подъемные ворота в плотинах и запрудах для спуска излишней воды (при весеннем половодье).

поводья выпали у меня из рук, и никем не управляемая моя лошадка побежала рысью к конюшне. Страх превозмог самолюбие, и я принялся кричать; потеряв равновесие, я, конечно, бы упал, если б выбежавший навстречу конюх не остановил смирную лошадь. Общий хохот на крыльце терзал мое ребячье самолюбие, и я, смутившись окончательно, как только сняли меня с лошади, убежал через заднее крыльцо в занимаемую нами комнату. Я долго неутешно плакал и целый день не мог ни на кого смотреть.

Это обстоятельство мне особенно памятно потому, что я в первый раз сознательно подсадовал на отца и мать: зачем и они смеются надо мною? «Разве они не видят, как мне больно и стыдно? – думал я. – Отчего же сестрица не смеется, а жалеет обо мне и даже плачет?» Тут только я с горестью убедился в моей трусости, и эта мысль долго возмущала мое спокойствие. – По счастью, на другой день мы уехали из Алмантаева. Мать хотела пробыть два дня, но кумыс, которого целый бочонок был привезен с нами во льду, окреп, и мать не могла его пить. О, с какой радостью возвращался я в мою милую Сергеевку!

Сергеевка понравилась мне еще более прежнего, хотя, правду сказать, кроме озера и старых дубов, ничего в ней хорошего не было. Опять по-прежнему спокойно и весело потекла наша жизнь, я начинал понемногу забывать несчастное происшествие с верховой лошадкой, обнаружившее мою трусость и покрывшее меня, как я тогда думал, вечным стыдом. Мать и отец и не поминали об этом, а моя сестрица и подавно. Но Евсеич, мой добрый дядька, неугомонный Евсеич корил меня беспрестанно. «Эх ты, соколики, – говорил он, – ну, чего оробел? Лошадка пресмирная, а ты давай кричать. Ведь это ты не лошади испугался, а чужих людей. Я ведь говорил, что ты чужих боишься. Ну, какой ты будешь кавалер? А про войну читать и рассказывать любишь. Послушаешь тебя, так ты один на целый полк пойдешь!» Эти простые речи, сказанные без всякого умысла, казались мне самыми язвительными укоризнами. Я доказывал Евсеичу, что это совсем другое, что на войне я не испугаюсь, что с греками я бы на всех варваров пошел. Но мысленно я уже давал обещание себе: во-первых, не говорить с Евсеичем о «походе младшего Кира», о котором любил ему рассказывать, и, во-вторых, преодолеть мой страх и выучиться ездить верхом. Я стал просить об этом отца и мать и получил в ответ: «Ну, куда еще тебе верхом ездить!» – и ответ мне очень не понравился. Между тем укоризны Евсеича продолжались и так оскорбляли меня, что я иногда сердился на него, а иногда плакал потихоньку. Я решился попросить, чтоб он не говорил более об этом, и добрый Евсеич наконец перестал поминать про алмантаевское приключение. Я успокоился и стал забывать о нем. Вдруг приехали Булгаковы со старшими детьми. Точно что-нибудь укололо меня в сердце! Я подумал, что как увидят меня, так и начнут смеяться, и хотя этого не случилось при первой встрече, но ежеминутное ожидание насмешек так смущало меня, что я краснел беспрестанно безо всякой причины. Слава богу, все, кроме меня, забыли мой позор!.. Гости прожили у нас несколько дней. Без А.П.Мансурова, этого добрейшего и любезнейшего из людей, охоты не клеились, хотя была и тоня, только днем, а не ночью и, разумеется, не так изобильная, хотя ходили на охоту с ружьями и удили целым обществом на озере. Однако всем было весело, кроме меня, и с тайною радостью проводил я больших и маленьких гостей, впрочем, очень милых и добрых детей.

Проводя гостей, отец вздумал потянуть неводом известное рыбное плесо на реке Белой, которая текла всего в полуверсте от нашего жилья: ему очень хотелось поймать стерлядей, и он даже говорил мне: «Что, Сережа, кабы попалась белорыбица или осетр?» Я уверял, что непременно попадет! Мы поехали после обеда с целым обозом: повезли две лодки, невод и взяли с собой всех людей. Белая тут была неширока, потому что речка Уршак и довольно многоводная река Уфа в нее еще не впадали; она понравилась мне более, чем под городом: песков было менее, русло сжатее, а берега гораздо живописнее. Отец взял с собою ружье и, как нарочно, на дороге попалась нам целая стая куропаток; отец выстрелил и двух убил. Это был первый охотничий выстрел, произведенный при мне и очень близко от меня. Он произвел на меня сильное впечатление, и не страха, а чувства какого-то приятного волнения; когда же я увидел застреленную куропатку, особенно же когда, увлеченный примером

окружающих, я бросился ловить другую, подстреленную, я чувствовал уже какую-то жадность, какую-то неизвестную мне радость. И куда девалась моя жалостливость: окровавленные, бьющиеся красивые эти птички не возбудили во мне никакого сострадания.

Только что мы успели запустить невод, как вдруг прискакала целая толпа мещераков: они принялись громко кричать, доказывая, что мы не можем ловить рыбу в Белой потому, что воды ее сняты рыбаками; отец мой не захотел ссориться с близкими соседями, приказал вытащить невод, и мы ни с чем должны были отправиться домой. Все люди наши были так недовольны, так не хотелось им уступить, что даже не вдруг послушались приказа моего отца.

Если бы не он, вышла бы непременно драка. Мне тоже это было очень досадно, хотя я чувствовал немножко, что мещераки правы, и только две застреленные куропатки, которых я держал в своих руках, меня утешали. Давно уже поспела полевая клубника, лакомиться которою позволяли нам вдоволь. Мать сама была большая охотница до этих ягод, но употреблять их при кумысе доктора запрещали. Вместо прежних бесцельных прогулок мать стала ездить в поле по ягоды, предпочтительно на залежи. Это удовольствие было для меня совершенно неизвестно и сначала очень мне нравилось, но скоро наскучило; все же окружающие меня, и мужчины, и женщины, постоянно занимались этим делом очень горячо. Мы ездили за клубникой целым домом, так что только повар Макей оставался в своей кухне, но и его отпускали после обеда, и он всегда возвращался уже к вечеру с огромным кузовом чудесной клубники. У всякого была своя посуда: у кого ведро, у кого лукошко, у кого бурак,²⁴ у кого кузов. Мать обыкновенно скоро утомлялась собиранием ягод и потому садилась на дроги, выезжала на дорогу и каталась по ней час и более, а потом заезжала за нами; сначала мать каталась одна или с отцом, но через несколько дней я стал проситься, чтобы она брала меня с собою, и потом я уже всегда ездил прогуливаться с нею. У нас с сестрицей были прекрасные с крышечками берестовые бурачки, испещренные вытисненными на них узорами.

Милая моя сестрица не умела брать ягод, то есть не умела различать спелую клубнику от неспелой. Я слышал, как ее нянька Параша, всегда очень ласковая и добрая женщина, вытряхивая бурачок, говорила: «Ну, барышня, опять набрала зеленухи!» – и потом наполняла ее бурачок ягодами из своего кузова; у меня же оказалась претензия, что я умею брать ягоды и что моя клубника лучше Евсеевой: это, конечно, было несправедливо. Вследствие той же претензии я всегда заявлял, что сестрица не сама брала и что я видел, как Параша насыпала ее бурачок своей клубникой. По возвращении домой начиналась новая возня с ягодами: в тени от нашего домика рассыпали их на широкий чистый липовый лубок, самые крупные отбирали на варенье, потом для кушанья, потом для сушки; из остальных делали русскими татарские пастилы; русскими назывались пастилы толстые, сахарные или медовые, процеженные сквозь рединку, а татарскими – тонкие, как кожа, со всеми ягодными семечками, довольно кислые на вкус. Эти приготовления занимали меня сначала едва ли не более собирания ягод; но наконец и они мне наскучили. Более всего любил я смотреть, как мать варила варенье в медных блестящих, тазах на тагане, под которым разводился огонь, – может быть, потому, что снимаемые с кипящего таза сахарные пенки большею частью отдавались нам с сестрицей; мы с ней обыкновенно сидели на земле, поджав под себя ноги, нетерпеливо ожидая, когда масса ягод и сахара начнет пузыриться и покрываться беловатою пеною.

Отец ездил иногда в поле с сетками и дудками ловить перепелов. Я просился несколько раз, но мать не позволяла. Я уже перестал проситься, и вдруг совершенно неожиданно мать отпустила меня один раз с отцом и Федором посмотреть на эту охоту. Она мне очень понравилась: когда на тихий писк дудочки прибегали перепела, подходили под разостланную на траве сеть, когда мы все трое вскакивали, а испуганная и взлетевшая

²⁴ Бурак – ведерко из бересты с деревянным дном и крышкой.

перепелочка попадалась в сетку, — я чувствовал сильное волнение. Но мне захотелось действовать самому, то есть самому манить перепелов. Бить в дудки заранее учил меня Федор, считавшийся в этом деле великим мастером, и я тотчас подумал, что я сам такой же мастер. Я пристал к отцу и Федору с неотступными просьбами, и желание мое исполнили, но опыт доказал, что я вовсе не умею манить: на мои звуки не только перепела не шли под сеть, но даже не откликались. Я очень огорчился и уже в другой раз не просился на эту охоту.

Время для питья кумыса как лекарства проходило; травы достигли зрелости, а некоторые даже начинали сохнуть; кобылье молоко теряло свое целебное свойство, и мы в исходе июля переехали в Уфу. Кумыс и деревенская жизнь сделали моей матери большую пользу. С грустью оставлял я Сергеевку и прощался с ее чудесным озером, мостками, с которых удил, к которым привык и которых вид до сих пор живет в моей благодарной памяти; простился с великолепными дубами, под тенью которых иногда сживал и которыми всегда любовался. Простился — очень надолго.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В УФУ К ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Двухмесячное пребывание в деревне или, правильнее сказать, в недостроенном домишке на берегу озера, чистый воздух, свобода, ужение, к которому я пристрастился, как только может пристраститься ребенок, — все это так разнилось с нашей городской жизнью, что Уфа мне опостылела. Я загорел, как арап, и одичал, по общему выражению всех наших знакомых. Сад наш сделался мне противен, и я не заглядывал в него даже тогда, когда милая моя сестрица весело гуляла в нем; напрасно звала она меня побегать, поиграть или полюбоваться цветами, которыми по-прежнему были полны наши цветники. Я даже сердился на маленькую свою подругу, доказывая ей, что после сергеевских дубов, озера и полей гадко смотреть на наш садишко с тощими яблонями. Иногда я выходил только для того, чтоб погладить, приласкать Сурку и поиграть с ним; житье в Сергеевке так сблизило нас, что один вид Сурки, напоминая мне мою блаженную деревенскую жизнь, производил на меня приятное впечатление. Между тем загар мой не проходил, и мать принялась меня чем-то лечить от него; это было мне очень досадно, и я повиновался очень неохотно. Я не мог обратиться вдруг к прежним своим занятиям и игрушкам, я считал уже себя устаревшим для них. Чистописание мне наскучило, потому что успехи мои без учителя были слишком малы; к чтению также меня не тянуло, потому что все было давно перечитано не один раз и многое выучено наизусть. Но, поскучав с недельку, я принялся, однако, писать по приказанию, а читать старое — уже по охоте. С.И.Аничков не переставал осведомляться о моих занятиях. Он опять потребовал меня к себе, опять сделал мне экзамен, остался отменно доволен и подарил мне такую кучу книг, которую Евсеич едва мог донести; это была уж маленькая библиотека. В числе книг находились: «Древняя Вивлиофика»,²⁵ «Россиада» Хераскова²⁶ и полное собрание в двенадцати томах сочинений Сумарокова.²⁷ Заглянув в «Вивлиофику», я оставил ее в покое, а «Россиаду» и сочинения Сумарокова читал с жадностью и с восторженным увлечением. Зараженный примером одного из моих дядей, который любил декламировать стихи, то есть читать их нараспев, я принялся подражать ему.

²⁵ «Древняя Вивлиофика» — сборник исторических и этнографических материалов, издававшихся Н.И.Новиковым в 1773–1775 годах. Полное название: «Древняя Российская Вивлиофика, или Собрание разных древних сочинений, яко то: Российские посольства в другие государства, редкие грамоты, описание свадебных обрядов и других исторических и географических достопримечательностей, и многие сочинения древних российских стихотворцев, издаваемая помесечно Николаем Новиковым».

²⁶ «Россиада» — эпическая поэма М.М.Хераскова (1733–1807). Поэма издана в Москве в 1779 году.

²⁷ Сумароков Александр Петрович — поэт XVIII века.

Матери и отцу моему, видно, нравилось такое чтение, потому что они заставляли меня декламировать при гостях, которых собиралось у нас в доме уже гораздо менее, чем в прошедшую зиму: дяди мои были в полку, а некоторые из самых коротких знакомых куда-то разъехались. Мать была здоровее прежнего, менее развлечена обществом, более имела досуга, и потому более времени я проводил вместе с ней. Самое любимое мое дело было читать ей вслух «Россиаду» и получать от нее разные объяснения на не понимаемые мною слова и целые выражения. Я обыкновенно читал с таким горячим сочувствием, воображение мое так живо воспроизводило лица любимых моих героев: Мстиславского, князя Курбского и Палецкого, что я как будто видел и знал их давно; я дорисовывал их образы, дополнял их жизнь и с увлечением описывал их наружность; я подробно рассказывал, что они делали перед сражением и после сражения, как советовался с ними царь, как благодарил их за храбрые подвиги, и прочая и прочая. Мать смеялась, а отец удивлялся, и один раз сказал: «Откуда это все у тебя берется? Ты не сделайся лгунишкой». А мать отвечала: «Не беспокойся, это пройдет». Но в то же время мать запрещала мне рассказывать гостям про домашнюю жизнь Палецкого, Курбского и Мстиславского. Каким совершенством казалось мне изображение последнего, то есть князя Мстиславского!

Сей муж в сражениях не дерзок был, не злобен;
Но твердому кремню являлся он подобен,
Который сильный огонь в то время издает,
Когда поверхность кто его железом бьет.

Гидромир и Асталон были личные враги мои, и я скорбел душою, что Гидромир не был убит в единоборстве с Палецким. Я восхищался и казанскими рыцарями, которые

В уста вложив кинжал и в руки взяв мечи,
Которые у них сверкали как лучи...
.....
И войска нашего ударили в ограду,
Как стадо лебедей скрывается от граду,
Так войски по холмам от их мечей текли;
Злодеи скоро бы вломиться в стан могли,
Когда б не прекратил сию кроваву сечу
Князь Курбский с Палецким, врагам текущи встречу.

Последние два стиха произносил я с гордостью и наслаждением. Я должен признаться, что последний стих я и теперь произношу с удовольствием и слышу в нем что-то крепкое и стремительное. Я не преминул похвастаться чтением наизусть стихов из «Россиады» пред моим покровителем С.И.Аничковым: он, выслушав меня, похвалил и обещал подарить Ломоносова.

Все было тихо и спокойно в городе и в нашем доме, как вдруг последовало событие, которое не само по себе, а по впечатлению, произведенному им на всех без исключения, заставило и меня принять участие в общем волнении. В один прекрасный осенний день, это было воскресенье или какой-нибудь праздник, мы возвращались от обедни из приходской церкви Успения божией матери, и лишь только успели взойти на высокое наше крыльцо, как вдруг в народе, возвращающемся от обедни, послышалось какое-то движение и говор. По улице во весь дух проскакал губернаторский ординарец-казак и остановился у церкви; всем встречающимся по дороге верховой кричал: «Ступайте назад в церковь, присягать новому императору!» Народ, шедший врассыпную, приостановился, собрался в кучки, пошел назад и, беспрестанно усиливаясь встречными людьми, уже густою толпою воротился в церковь. Не успели мы получить известия от кого-то из бегущих мимо, что «государыня скончалась», как раздался в соборе колокольный звон и, подхваченный другими десятью приходами,

разлился по всему городу. Отец и мать были очень поражены. Отец даже заплакал, а мать, тоже со слезами на глазах, перекрестилась и сказала: «Царство ей небесное». Я был глубоко поражен, сам не зная отчего. Весь дом сбежался к нам на крыльцо, на лицах всех было написано смущение и горесть; идущий по улице народ плакал. Прибежал, запыхавшись, какой-то приказный из Верхнего земского суда и сказал отцу, чтоб он ехал присягать в собор. Отец поспешно оделся и уехал. Мы с матерью и сестрицей, которая была также чем-то изумлена, вошли в спальную. Мать помолилась богу, села на кресла и грустно задумалась. Мы с сестрицей сидели против нее на стуле и молча, пристально на нее смотрели. Наконец мать обратила на нас внимание и стала говорить с нами, то есть, собственно, со мною, потому что сестра была еще мала и не могла понимать ее слов, даже скоро ушла в детскую к своей няне. Применяясь к моему ребячьему возрасту, мать объяснила мне, что государыня Екатерина Алексеевна была умная и добрая, царствовала долго, старалась, чтоб всем было хорошо жить, чтоб все учились, что она умела выбирать хороших людей, храбрых генералов, и что в ее царствование соседи нас не обижали, и что наши солдаты при ней побеждали всех и прославились. Отчасти я уже имел понятие обо всем этом, а тут понял еще больше, и мне стало очень жаль умершую государыню. «А кто же будет теперь у нас государыней?» – спросил я. «Теперь будет у нас государь, сын ее Павел Петрович». – «А будет ли он такой же умный и добрый?» – «Как угодно богу, и мы будем молиться о том», – отвечала мать. Я возразил, что «бог, вероятно, захочет, чтоб Павел Петрович был умный и добрый». Мать ничего не отвечала и велела мне идти в детскую читать или играть с сестрицей, но я попросил ее, чтоб она растолковала мне, что значит присягать. Она объяснила, и я решительно объявил, что сам хочу присягнуть.

«Детей не приводят к присяге, – сказала мать, – ступай к сестре». Я обиделся. Скоро приехал отец и вслед за ним несколько знакомых. Все были в негодовании на В.**, нашего, кажется, военного губернатора или корпусного командира – хорошенько не знаю, который публично показывал свою радость, что скончалась государыня, целый день велел звонить в колокола и вечером пригласил всех к себе на бал и ужин. Я сейчас подумал, что губернатор В.** должен быть недобрый человек; тут же я услышал, что он имел особенную причину радоваться: новый государь его очень любил, и он надеялся при нем сделаться большим человеком. Я прогневался на В.** еще больше: зачем он радуется, когда все огорчены. Сначала я слышал, как говорила моя мать, что не надо ехать на бал к губернатору, и как соглашались с нею другие, а потом вдруг все решили, что нельзя не ехать. Мать не спорила, но сказала, что останется дома. Поехал и мой отец, но сейчас воротился и сказал, что бал похож на похороны и что весел только В.**, двое его адъютантов и старый депутат, мой книжный благодетель, С.И.Аничков, который не мог простить покойной государыне, зачем она распустила депутатов, собранных для совещания о законах, и говорил, что «пора мужской руке взять скипетр власти...»

И этот день принес мне новые, неизвестные прежде понятия и заставил меня перечувствовать неиспытанные мною чувства. Когда я лег спать в мою кроватку, когда задернули занавески моего ложа, когда все затихло вокруг, воображение представило мне поразительную картину: мертвую императрицу, огромного роста, лежащую под черным балдахином, в черной церкви (я наслушался толков об этом), и подле нее, на коленях, нового императора, тоже какого-то великана, который плакал, а за ним громко рыдал весь народ, собравшийся такою толпою, что край ее мог достать от Уфы до Зубовки, то есть за десять верст. На другой день я уже рассказывал свои грезы наяву Параше и сестрице, как будто я все сам видел или читал об этом описание.

Толки о кончине императрицы долго не уменьшались, а первое время час от часу даже увеличивались. Толковали в спальне у матери, толковали в гостиной, толковали даже в нашей детской, куда заглядывали иногда из девичьей то Аннушка, Ефремова жена, то горбатая княжна калмычка. В спальне и гостиной говорили о переменах в правительстве, которых необходимо ожидать должно: о том, что император удалит всех прежних любимцев государыни, которых он терпеть не может, потому что они с ним дурно поступали. Я часто

слышал выражение, тогда совершенно не понимаемое мною: «Теперь-то Гатчинские²⁸ пойдут в гору». В нашей детской говорили, или, лучше сказать, в нашу детскую доходили слухи о том, о чем толковали в девичьей и лакейской, а толковали там всего более о скоропостижной кончине государыни, прибавляя страшные рассказы, которые меня необыкновенно смущали; я побежал за объяснениями к отцу и матери, и только твердые и горячие уверения их, что все эти слухи совершенный вздор и нелепость, могли меня успокоить. Тогда я побежал в детскую и старался из всех сил убедить Парашу и других, заходивших в нашу комнату, в нелепости их рассказов, но – без всякого успеха! Мне отвечали, что я «еще маленький и ничего не смыслю». Я обижался и очень сердился. После я узнал, что Параше и другим с этих пор строго запретили сообщать мне нелепые толки, ходившие в народе.

Всякий день ожидали новых событий, но по отдаленности Уфы медленно доходили туда известия из столиц. Губернатор В.** скоро уехал, вызванный будто бы секретно императором, как говорили потихоньку.

Скоро наступила жестокая зима, и мы окончательно заключились в своих детских комнатках, из которых занимали только одну. Чтение книг, писанье прописей и занятия арифметикой, которую я понимал как-то тупо и которой учился неохотно, – все это увеличилось само собою, потому что прибавилось времени: гостей стало приезжать менее, а гулять стало невозможно. Доходило дело даже до «Древней Вивлиофики».

Раз как-то вслушался я между слов, что дедушка нездоров; но, кажется, никто об его болезни не беспокоился, и я почти забыл о ней. Вдруг, когда мы все сидели за обедом, подали отцу письмо, присланное с нарочным из Багрова.

Отец распечатал его, начал читать, заплакал и передал матери. Она прочла и хотя не заплакала, но встревожилась. Мы кончили обед очень скоро, и я заметил, что отец с матерью ничего не ели. После обеда они ушли в спальню, нас выслали и о чем-то долго говорили; когда же нам позволили прийти, отец уже куда-то собирался ехать, а мать, очень огорченная, сказала мне: «Ну, Сережа, мы все поедem в Багрово: дедушка умирает». С горестным изумлением выслушал я такие слова. Я уже знал, что все люди умирают, и смерть, которую я понимал по-своему, казалась мне таким страшилищем и злым духом, что я боялся о ней и подумать. Мне было жаль дедушки, но совсем не хотелось видеть его смерть или быть в другой комнате, когда он, умирая, станет плакать и кричать. Смущала меня также мысль, что маменька от этого захворает. «Да как же мы поедem зимой, – думал я, – ведь мы с сестрицей маленькие, ведь мы замерзнем?» Все такие мысли крепко осадили мою голову, и я, встревоженный и огорченный до глубины души, сидел молча, предаваясь печальным картинам моего горячего воображения, которое разыгрывалось у меня час от часу более. Кроме страха, что дедушка при мне умрет, Багрово само по себе не привлекало меня. Я не забыл нашего печального в нем житья без отца и матери, и мне не хотелось туда ехать, особенно зимой. Приехал отец, вошел в спальню торопливо и сказал как будто весело, что меня очень удивило: «Слава богу, все нашел! Возок дает нам С.И.Аничков, а кибитку – Мисайловы. Ну, матушка, теперь собирайся поскорее. Мне завтра же дадут отпуск, и мы завтра же поедem на переменных». Мать, очень огорченная, печально отвечала: «У меня все будет готово, лишь бы твой отпуск не задержал». В тот же вечер начались у нас сборы, укладыванье и приготовленье кушанья на дорогу. Мне позволили взять с собою только несколько книжек. Я высказал все свои сомнения и страхи матери; иных она не могла уничтожить, над опасением же, что «мы замерзнем», рассмеялась и сказала, что нам будет жарко в возке.

На другой день к обеду действительно все сборы были кончены, возок и кибитка уложены, дожидались только отцова отпуска. Его принесли часу в третьем. Мы должны

²⁸ Гатчинские – здесь: сторонники Павла I, который жил во время царствования Екатерины II в опале в Гатчине.

были проехать несколько станций по большой Казанской дороге, а потому нам привели почтовых лошадей, и вечером мы выехали.

ЗИМНЯЯ ДОРОГА В БАГРОВО

Эта дорога, продолжавшаяся почти двое суток, оставила во мне самое тягостное и неприятное воспоминание. Как только мы вышли садиться, я пришел в ужас от низенького кожаного возка с маленькою дверью, в которую трудно было пролезть, – а в возке следовало поместиться мне с сестрицей, Параше и Аннушке. Я просился в кибитку к матери, но мороз был страшный и мне строго приказали лезть в возок. Я повиновался с раздражением и слезами. Мать не могла зимой ездить в закрытом экипаже: ей делалось тошно и дурно; даже в кибитке она сидела каким-то особенным образом, вся наружи, так что воздух обхватывал ее со всех сторон. Скоро в возке сделалось тепло и надобно было развязать платок, которым я, сверх шубы и шапочки, был укутан. Мы быстро скакали по гладкой дороге, и я почувствовал, неизвестное мне до сих пор, удовольствие скорой езды. В обеих дверях возка находилось по маленькому четверугольному окошечку со стеклом, заделанным наглухо. Я кое-как подполз к окошку и с удовольствием смотрел в него; ночь была месячная, светлая; толстые вежи, а иногда деревья быстро мелькали, но увя! скоро и это удовольствие исчезло: стекла затуманились, разрисовались снежными узорами, и наконец покрылись густым слоем непроницаемого инея. Невеселая будущность представлялась мне впереди: печальный багровский дом, весь в сугробах, и умирающий дедушка. Сестрица моя давно уже спала, а наконец и меня посетил благодетельный сон. Проснувшись на другой день поутру, я подумал, что еще рано; в возке у нас был рассвет или сумерки, потому что стеклышки еще больше запушило. Все уже, как видно, давно проснулись, и милая моя сестрица что-то кушала; она приползла ко мне и принялась меня обнимать и целовать. В возке действительно было жарко. Скоро поразил мой слух пронзительный скрип полозьев, и я почувствовал, что мы едва ползем. Тут мне объяснили, что, проехав две с половиной станции, мы своротили с большой дороги и едем теперь уже не на тройке почтовых лошадей в ряд, а тащимся гусем по проселку на обывательских подводах. Это все меня очень огорчило, и милая сестрица не могла развеселить меня. Она знала, до чего я был охотник, и сейчас стала просить, чтоб я почитал ей книжку, которая лежала в боковой сумке; но я не стал даже и читать, так мне было грустно. Наконец доплелись мы до какой-то татарской деревушки, где надобно было переменить лошадей, для заготовления которых ехал впереди кучер Степан. Мы вышли в избу, заранее приготовленную, чтоб напиться чаю и позавтракать. У матери было совершенно больное и расстроенное лицо; она всю ночь не спала и чувствовала тошноту и головокружение: это встревожило и огорчило меня еще больше. В белой татарской избе, на широких нарах, лежала груда довольно сальных перин чуть не до потолка, прикрытых с одной стороны ковром; остальная часть нар покрыта была белою кошмою.²⁹ Мать, разостлав на ней свой дорожный салоп и положила свои же подушки, легла отдохнуть и скоро заснула, приказав, чтобы мы и чай пили без нее. Она проспала целый час, а мы с отцом и сестрицей, говоря шепотом и наблюдая во всем тишину, напились чаю, даже позавтракали разогретым в печке жарким. Сон подкрепил мать, и мы пустились в дальнейший путь. Вечером опять повторилось то же событие, то есть мы остановились переменять лошадей, вышли, только уж не в чистую татарскую, а в гадкую мордовскую избу. Кажется, отвратительнее этой избы я не встречал во всю мою жизнь: нечистота, вонь от разного скота, а вдобавок ко всему узенькие лавки, на которых нельзя было прилечь матери, совершенно измученной от зимней дороги; но отец приставил кое-как скамейку и устроил ей местечко полежать; она ничего не могла есть, только напилась чаю. Мы сидели с ногами на лавке (хотя были тепло обуты), потому что с полу ужасно несло. Говорили, что мороз стал гораздо сильнее; когда отворили

²⁹ Кошма – войлок из овечьей или верблюжьей шерсти.

дверь, то врывающийся холод клубился каким-то белым паром и в одну минуту обхватывал всю избу. Тут мы еще поели разогретого супу и пирожков и пустились в дальнейший путь. Возок наш так настыл от непритворенной по неосторожности двери, что мы не скоро его согрели своим присутствием и дыханием.

Я не могу описать тревоги и волнения, которое я испытывал тогда. У меня было и предчувствие и убеждение, что с нами случится какое-нибудь несчастье, что мы или замерзнем, как воробьи и галки, которые на лету падали мертвыми, по рассказам Параша, или захвораем. Но все мои страхи и опасения относились гораздо более к матери, чем к нам с сестрицей. У нас в возке опять стало тепло, а мать все сидела даже и не внутри повозки, а вся открытая. Предчувствие беды не давало мне спать. Вдруг мы остановились, и через несколько минут эта остановка привела меня в беспокойство: я разбудил Парашу, просил и молил ее постучать в дверь, позвать кого-нибудь и спросить, что значит эта остановка; но Параша, обыкновенно всегда добрая и ласковая, недовольная тем, что я ее разбудил, с некоторою грубостью отвечала мне: «Никого не достучишься теперь. Известно зачем остановились».

Если б она знала, какое мучение испытывал я от неизвестности, то, конечно, сжалилась бы надо мной. Благодарение богу, возок скоро двинулся. Поутру, когда мы опять остановились пить чай, я узнал, что мои страхи были не совсем неосновательны: у нас точно замерз было чувашенин, ехавший фореитором в нашем возке. Будучи плохо одет, он так озяб, что упал без чувств с лошади; его оттерли и довели благополучно до ближайшей деревни.

Тогда же поселились во мне, до сих пор сохраняемые мною, ужас и отвращение к зимней езде на переменных обывательских лошадях по проселочным дорогам: мочальная сбруя, непривычные малосильные лошаденки, которых никогда не кормят овсом, и, наконец, возчики, не довольно тепло одетые для переезда и десяти верст в жестокую стужу... все это поистине ужасно. Дорога наша была совсем не та, по которой мы ездили в первый раз в Багрово, о чем я узнал после. Той летней степной дороги не было теперь и следочка. Зимой, по дальности расстояний, и не прокладывали прямых путей, а кое-какие тропинки шли от деревни до деревни.

Поутру, когда я выполз из тюрьмы на свет божий, я несколько ободрился и успокоился; к тому же и мать почувствовала себя покрепче, попривыкла к дороге; и мороз стал полегче. Скоро прошел короткий зимний день, и ночная темнота, ранее обыкновенного наступавшая в возке, опять нагнала страхи и печальные предчувствия на мою робкую душу, и, к сожалению, опять недаром. Я говорю, к сожалению, потому что именно с этих пор у меня укоренилась вера в предчувствия, и я во всю мою жизнь страдал от них более, чем от действительных несчастий, хотя в то же время предчувствия мои почти никогда не сбывались. Подъезжая к Багрову уже вечером, возок наш наехал на пенек и опрокинулся. Я, сонный, ударился бровью об круглую медную шляпку гвоздя, на котором висела сумка, и, сверх того, едва не задохся, потому что Параша, сестрица и множество подушек упали мне на лицо, и особенно потому, что не скоро подняли опрокинутый возок. Когда мы освободились, то сгоряча я ничего не почувствовал, кроме радости, что не задохся, даже не заметил, что ушибся; но, к досаде моей, Параша, Аннушка и даже сестрица, которая не понимала, что я мог задохнуться и умереть, – смеялись и моему страху, и моей радости. Слава богу, мать не знала, что мы опрокинулись.

БАГРОВО ЗИМОЙ

Наконец послышался лай собак, замелькали бледные дрожащие огоньки из крестьянских изб; слабый свет их пробивался в наши окошечки, менее прежнего запущенные снегом, – и мы догадались, что приехали в Багрово, ибо не было другой деревни на последнем двенадцативерстном переезде. Мы остановились у первого крестьянского двора, и после я узнал, что отец посылал спрашивать о дедушке; отвечали, что он еще жив. Мы ехали

с колокольчиками и очень медленно; нас ожидали, догадались, что это мы едем, и потому, несмотря на ночное время и стужу, бабушка и тетушка Татьяна Степановна встретили нас на крыльце: обе плакали навзрыд и даже завывали потихоньку. Мы без шума вошли в дом. Тетушка взялась хлопотать обо мне с сестрицей, а отец с матерью пошли к дедушке, который был при смерти, но в совершенной памяти и нетерпеливо желал увидеть сына, невестку и внучат. Нам опять отдали гостиную, потому что особая горница, которую обещал нам дедушка, хотя была срублена и покрыта, но еще не отделана. Дом был весь занят, – съехались все тетушки с своими мужьями; в комнате Татьяны Степановны жила Ерлыкина с двумя дочерьми; Иван Петрович Каратаев и Ерлыкин спали где-то в столярной, а остальные три тетушки помещались в комнате бабушки, рядом с горницей больного дедушки. В зале была стужа, да и в гостиной холодно. Едва нашли кровать для матери; нам с сестрицей постлали на канаве, а отцу приготовили перину на полу. Подали самовар и стали нас поить чаем; тут пришла мать; она вся была мокрая от духоты в дедушкиной горнице, в которой было жарко, как в бане. В гостиной ей показалось холодно, и она сейчас принялась ее ухичивать;³⁰ заперли двери в залу, повесили ковром, устлали пол кошками – и гостиная, в которой были две печки, скоро нагрелась и во все время нашего пребывания была очень теплая.

В голове моей происходила совершенная путаница разных впечатлений, воспоминаний, страха и предчувствий; а сверх того, действительно у меня начинала сильно болеть голова от ушиба. Мать скоро заметила, что я нездоров, что у меня запухает глаз, и мы должны были рассказать ей все происшествие. Мне сделали какую-то примочку и глаз завязали. Но мать была больнее меня от бессонницы, усталости, тошноты в продолжение всей дороги.

Она не легла, а упала в изнеможении на свою постель; разумеется, и нас сейчас уложили. Отец остался на всю ночь у дедушки, кончины которого ожидали каждую минуту. Мать скоро уснула, но я долго не мог заснуть. Беспреданно я ожидал, что дедушка начнет умирать, а как смерть, по моему понятию и убеждению, соединялась с мучительной болью и страданием, то я все вслушивался, не начнет ли дедушка плакать и стонать. Сильно я тревожился также о матери; голова болела, глаз закрывался, я чувствовал жар и даже готовность бредить и боялся, что захвораю... но все уступило благотворному, целебному сну. Проснувшись еще до света, я взглянул на мать: она спала, и это меня очень обрадовало. Голова и глаз перестали болеть, но зато глаз совершенно закрылся, запух, и все ушибленное место посинело. Видно, отец еще не приходил: постель его не была измята. Я принялся разглядывать гостиную. Все в ней было точно так же, как и прошлого года, только стекла чудными узорами разрисовались от сильного мороза. На досуге я дал волю своему воображению, или, лучше сказать, соображению, потому что я именно соображал настоящее наше положение с тем, которое ожидало нас впереди.

Разумеется, все это думалось по-детски. Я думал, что когда умрет дедушка, то и бабушка, верно, умрет, потому что она старая и седая. Тогда мы тетушку Татьяну Степановну увезем в Уфу, и будет она жить у нас в пустой детской; а если бабушка не умрет, то и ее увезем, перенесем дом из Багрова в Сергеевку, поставим его над самым озером и станем там летом жить и удить вместе с тетушкой... Но все эти мечтанья исчезали при мысли о дедушкиной кончине, в которой никто не сомневался. Я знал, что он желал нас видеть, и надобно признаться, что это неизбежное свидание наводило на мою душу неописанный ужас. Всего больше я боялся, что дедушка станет прощаться со мной, обнимет меня и умрет, что меня нельзя будет вынуть из его рук, потому что они окоченеют, и что надобно будет меня вместе с ним закопать в землю... Конечно, такое опасение могло родиться из рассказов о покойниках, об окоченелости их членов, но все странно противоречит оно моим тогдашним, здравым уже понятиям об иных предметах. Боже мой, как замирало от страха мое сердце при этой мысли! Дыханье останавливалось, холодный пот

³⁰ Ухичивать – уконопачивать, утеплять; сделать годным для жилья.

выступал на лице, я не мог улежать на своем месте, вскочил и сел поперек своей постельки, даже стал было будить сестрицу, и если не закричал, то, вероятно, оттого, что у меня не было голоса... В самое это время проснулась мать и ахнула, взглянув на мое лицо: перевязка давно свалилась и синяя, даже черная шишка над моим глазом испугала мою мать. Мнимые страхи мои исчезли перед действительным испугом матери, и я прибежал к ней на постель, уверяя, что совершенно здоров и что у меня ничего не болит. Мать успокоилась и сказала мне, что это пройдет. Сон подкрепил ее, она поспешно встала, оделась и ушла к бабушке... Уже стало светло; сестрица моя также проснулась и тоже сначала испугалась, взглянув на мой глаз, но его завязали, и она успокоилась. Она несколько не боялась бабушки, очень сожалела о нем и сама желала идти к нему. Ее бодрость и привязанность к бабушке пристыдили и ободрили меня. Мать скоро воротилась и сказала, что бабушка уже очень слаб, но еще в памяти, желает нас видеть и благословить.

Как я ни старался овладеть собою, но не мог скрыть своего страха и даже побледнел. Мать старалась ободрить меня, говоря: «Можно ли бояться бабушки, который едва дышит и уже умирает?» Я подумал, что того-то я и боюсь, но не смел этого сказать. Она повела нас в горницу к бабушке, который лежал на постели, закрывши глаза; лицо его было бледно и так изменилось, что я не узнал бы его; у изголовья на креслах сидела бабушка, а в ногах стоял отец, у которого глаза распухли и покраснели от слез. Он наклонился к уху больного и громко сказал: «Дети пришли проститься с вами». Бабушка открыл глаза, не говоря ни слова, дрожащею рукой перекрестил нас и прикоснулся пальцами к нашим головам; мы поцеловали его исхудалую руку и заплакали; все бывшие в комнате принялись плакать, даже рыдать, и тут только я заметил, что около нас стояли все тетушки, дядюшки, старые женщины и служившие при бабушке люди. Страх мой совершенно прошел, и в эту минуту я вполне почувствовал и любовь и жалость к умирающему бабушке. В комнате был нестерпимый жар и духота; мать скоро увела нас в гостиную, где мы с сестрицей так расплакались, что нас долго не могли унять. Чтоб рассеять нас, мать позвала к нам двоюродных наших сестриц. Они были гораздо спокойнее и встретили нас ласково; мы сами несколько успокоились и разговорились с ними. Мы проговорили так до обеда, который происходил обыкновенным порядком в зале; кушаний было множество, и, кроме моей матери и отца, который и за стол не садился, все кушали охотно и разговаривали довольно спокойно, только вполголоса. После обеда сестрицы зашли к нам в гостиную, и я принялся очень живо болтать и рассказывать им всякую всячину.

Бессознательно я хотел подавить в себе пустыми разговорами постоянное присутствие мысли о бабушкиной смерти. Мать беспрестанно уходила к больному и позволила нам идти в горницу к двоюродным сестрам. Проходить к ним надобно было через коридор и через девичью, битком набитую множеством горничных девушек и девчонок; их одежда поразила меня: одни были одеты в полосатые платья, другие в телогрейки с юбками, а иные были просто в одних рубашках и юбках; все сидели за гребнями и пряли. Это была для меня совершенная новость, и я, остановясь, с любопытством рассматривал, как пряжи, одною рукою подергивая льняные мочки, другою вертели веретена с намотанной на них пряжей; все это делалось очень проворно и красиво, а как все молчали, то жужжанье веретен и подергивание мочек производили необыкновенного рода шум, никогда мною не слыханный. В самое это время, как я вслушивался и всматривался внимательно, в комнате бабушки раздался плач; я вздрогнул, в одну минуту вся девичья опустела: пряжи, побросав свои гребни и веретена, бросились толпою в горницу умирающего. Я подумал, что бабушка умер; пораженный и испуганный этой мыслью, я сам не помню, как очутился в комнате своих двоюродных сестриц, как влез на тетушкину кровать и забился в угол за подушки. Параша, оставя нас одних, также побежала посмотреть, что делается в горнице бедного старого барина. Мне стало еще страшнее; но Параша скоро воротилась и сказала, что бабушка начал было томиться, но опять отдохнул. «Все уж ночью помрет», – прибавила она очень равнодушно. Мы пробыли у сестер часа два, но я уже не болтал, а сидел как в воду опущенный. Нас позвали пить чай в залу, куда приходили мать, тетушки и бабушка, но

поодиночке, и на короткое время. Отец не приходил, и мне было очень грустно, что я так давно его не вижу. Я уже понимал, как тяжело было ему смотреть на умирающего своего отца. После чаю двоюродные сестры опять зашли к нам в гостиную, и я опять не принимал никакого участия в их разговорах; часа через два они ушли спать. Как было мне завидно, что они ничего не боялись, и как я желал, чтоб они не уходили! Без них мне стало гораздо страшнее. Милая сестрица моя грустила об дедушке и беспрестанно о нем поминала. Она говорила: «Дедушка не будет кушать. Дедушку зароят в снег. Мне его жалко». Она плакала, но так же ничего не боялась и скоро заснула. У меня же все чувства были подавлены страхом, и я был уверен, что не усну во всю ночь. Я умолял Парашу, чтоб она не уходила, и она обещала не уходить, пока не придет мать. Вместо ночника, всегда горевшего тускло, я упросил зажечь свечку. Заметя, что Параша дремлет, я стал с ней разговаривать. Я спросил: «Отчего дедушка не плачет и не кричит? Ведь ему больно умирать?» Параша со смехом отвечала: «Нет, уж когда придется умирать, то тут больно не бывает; тут человек уж ничего и не слышит и не чувствует. Дедушка уже без языка и никого не узнает; хочет что-то сказать, глядит во все глаза, да только губами шевелит...» Новый, еще страшнейший образ умирающего дедушки нарисовало мое воображение. Этот образ неотступно стоял перед моими глазами. Я почувствовал всю бесконечность муки, о которой нельзя сказать окружающим, потому что человек уже не может говорить. Я схватил руку Парашу, не выпуская ее и перестал говорить. Светильня нагорела, надо было снять со свечи, но я не решился и на одну минуту расстаться с рукой Парашу: она должна была идти вместе со мной и переставить свечу на стол возле меня, так близко, чтоб было снимать ее щипцами не вставая с места. Параша принялась дремать, а я беспрестанно ее будить, жалобным голосом повторяя: «Парашенька, не спи». Наконец пришла мать. Она удивилась, что я не сплю, и, узнав причину, перевела меня на свою постель и, не раздеваясь, легла вместе со мною. Я обнял ее обеими руками и, успокоенный ее уверениями, что дедушка умрет не скоро, скоро заснул.

Я спокойно проспал несколько часов, но пробуждение было ужасно. Открыв глаза, я увидел, что матери не было в комнате, Парашу также; свечка потушена, ночник догорал, и огненный язык потухающей светильни, кидаясь во все стороны на дне горшочка с выгоревшим салом, изредка озарял мелькающим неверным светом комнату, угрожая каждую минуту оставить меня в совершенной темноте. Нет слов для выражения моего страха! Точно кипятком обливалось мое сердце, и в то же время мороз пробежал по всему телу. Я завернулся с головой в одеяло и чувствовал, как холодный пот выступал по мне. Напрасно зажмуривал я глаза – дедушка стоял передо мной, смотря мне в глаза и шевеля губами, как говорила Параша. Кузнечики ковали в голых деревянных стенах, и слабые эти звуки болезненно пронзали мой слух. Если б в это время что-нибудь стукнуло или треснуло, мне кажется, я бы умер от испуга. Вдруг мне послышался издали сначала плач; я подумал, что это мне почудилось... но плач перешел в вопль, стон, визг... я не в силах был более выдерживать; раскрыл одеяло и принялся кричать так громко, как мог: сестрица проснулась и принялась также кричать. Вероятно, долго продолжались наши крики, никем не услышанные, потому что в это время в самом деле скончался дедушка; весь дом сбежался в горницу к покойнику, и все подняли такой громкий вой, что никому не было возможности услышать наши детские крики. Я терял уже сознание и готов был упасть в обморок или помешаться, как вдруг вбежала Параша, которая преспокойно спала в коридоре у самой нашей двери и которую наконец разбудили общие вопли; по счастью, нас с сестрой она расслышала прежде, потому что мы были ближе. Она зажгла свечу у потухающего ночника, посадила нас к себе на колени и кое-как успокоила. Наконец пришла мать, сама расстроенная и больная, сказала, что дедушка скончался в шесть часов утра и что сейчас придет отец и ляжет спать, потому что уже не спал две ночи. В самом деле, скоро пришел отец, поцеловал нас, перекрестил и сказал: «Не стало вашего дедушки» – и горько заплакал; заплакали и мы с сестрицей.

Общее вытье в доме умолкло. Отец лег и ту ж минуту заснул. Свечка горела в углу,

чем-то заставленная, в окнах появилась белизна, я догадался, что начинает светать; это меня очень ободрило, и скоро я заснул вместе с матерью и сестрою.

Я проспал очень долго. Яркое зимнее солнце заглянуло уже в наши окна, когда я открыл глаза. Прежде всего слух мой был поражен церковным пением, происходившим в зале, а потом услышал я и плач и рыдание. Событие прошедшей ночи ожило в моей памяти, и я сейчас догадался, что, верно, молятся богу об умершем дедушке. В комнате никого не было. «Видно, и Параша с сестрицей ушли молиться богу», – подумал я и стал терпеливо дожидаться чьего-нибудь прихода. Днем, при солнечном свете, я не боялся одиночества. Скоро пришла Параша с сестрицей, у которой глаза были заплаканы. Параша, сказав: «Вот как проспали, уж скоро обедать станут», – начала поспешно меня одевать. Я стал умываться и вдруг вслушался в какое-то однообразное, тихое, нараспев чтение, выходившее как будто из залы. Я спросил Парашу, что это такое читают? И она, обливая из рукомыльника холодною водою мою голову, отвечала: «По дедушке псалтырь читают». Я еще ни о чем не догадывался и был довольно спокоен, как вдруг сестрица сказала мне: «Пойдем, братец, в залу, там дедушка лежит». Я испугался и, все еще не понимая настоящего дела, спросил: «Да как же дедушка в залу пришел, разве он жив?» – «Какое жив, – отвечала Параша, – уж давно остамел; его обмыли, одели в саван, принесли в залу и положили на стол, отслужили панихиду, попы уехали,³¹ а теперь старик Еким читает псалтырь. Не слушайте сестрицы; ну, чего дедушку глядеть: такой страшный, одним глазом смотрит...» Каждое слово Парашы охватывало мою душу новым ужасом, а последнее описание так меня поразило, что я с криком бросился вон из гостиной и через коридор и девичью прибежал в комнату двоюродных сестер; за мной прибежала Параша и сестрица, но никак не могли уговорить меня воротиться в гостиную. Правда, страх смешон и я не обвиняю Парашу за то, что она смеялась, уговаривая меня воротиться и даже пробуя увести насильно, против чего я защищался и руками и ногами; но муки, порождаемые страхом в детском сердце, так ужасны, что над ними грешно смеяться. Параша пошла за моей матерью, которая, как после я узнал, хлопотала вместе с другими около бабушки: бабушке сделалось дурно после панихиды, потому что она ужасно плакала, рвалась и билась. Мать пришла вместе с тетужкой Елизаветой Степановной. Я бросился к матери на шею и умолял ее не уводить меня в гостиную. Ей было это очень неприятно и стыдно за меня перед двоюродными сестрами, что я хотя мужчина, а такой трус. Она хотела употребить власть, но я пришел в исступление, которого мать сама испугалась. Тетужка, видно, сжалилась надо мной и вызвалась перейти в гостиную с своими дочерьми, которые не боятся покойников. Мать в другое время ни за что бы не приняла такого одолженья – теперь же охотно и с благодарностью согласилась. Точно камень свалился с моего сердца, когда было решено, что мы перейдем в эту угольную комнату, отдаленную от залы. В ней не слышно было ни чтения псалтыря, ни вытья. Выть по мертвому, или причитать, считалось тогда необходимостью, долгом. Не только тетужки, но все старухи, дворовые и крестьянские, перебивали в зале, плакали и голосили, приговаривая: «Отец ты наш родимый, на кого ты нас оставил, сирот горемычных», и проч. и проч. Мы перебрались в тетужкину горницу очень скоро; я и не видел этого перетаскивания, потому что нас позвали обедать.

Большой круглый стол был накрыт в бабушкиной горнице. Когда мы с сестрицей вошли туда, бабушка, все тетужки и двоюродные наши сестры, повязанные черными платками, а иные и в черных платках на шее, сидели молча друг возле друга; оба дяди также были там; общий вид этой картины произвел на меня тяжелое впечатление. Все перецеловали нас, плакали нараспев, приговаривали: «Покинул вас дедушка родимый» – и еще что-то в этом роде, чего я не помню.

Скоро стол уставили множеством кушаний. Не знаю почему, но вся прислуга состояла

³¹ Про священника с причтом иногда говорят в Оренбургской губернии во множественном числе. (Примеч. автора.)

из горничных девушек. Отец был занят каким-то делом в столярной, и его дожидались довольно долго. Моя мать говорила своей свекрови: «Для чего вы, матушка, не изволите садиться кушать? Алексей Степаныч сейчас придет».

Но бабушка отвечала, что «Алеша теперь полный хозяин и господин в доме, так его следует подождать». Мать попробовала возразить: «Он ваш сын, матушка, и вы будете всегда госпожой в его доме». Бабушка замахала руками и сказала: «Нет, нет, невестынька: по-нашему, не так, а всякий сверчок знай свой шесток». Все это я слушал с большим вниманием и любопытством. Вдруг растворились двери и вошел мой отец. Я его уже давно не видал, видел только мельком ночью; он был бледен, печален и похудел. В одну минуту все встали и пошли к нему навстречу, даже толстая моя бабушка, едва держась на ногах и кем-то поддерживаемая, поплелась к нему, все же четыре сестры повалились ему в ноги и завывали. Всего нельзя было расслушать, да я и забыл многое.

Помню слова: «Ты теперь наш отец, не оставь нас, сирот». Добрый мой отец, обливаясь слезами, всех поднимал и обнимал, а своей матери, идущей к нему навстречу, сам поклонился в ноги и потом, целуя ее руки, уверял, что никогда из ее воли не выйдет и что все будет идти по-прежнему. Вслед за этой сценой все обратились к моей матери, и хотя не кланялись в ноги, как моему отцу, но просили ее, настоящую хозяйку в доме, не оставить их своим расположением и ласкою. Я видел, что моей матери все это было неприятно и противно; она слишком хорошо знала, что ее не любили, что желали ей сделать всякое зло. Она отвечала холодно, что «никогда никакой власти на себя не возьмет и что будет всех уважать и любить, как и прежде». Сели за стол и принялись так кушать (за исключением моей матери), что я с удивлением смотрел на всех. Тетушка Татьяна Степановна разливала налимью уху из огромной кастрюли и, накладывая груды икры и печенок, приговаривала: «Покушайте, матушка, братец, сестрица, икорки-то и печеночек-то, ведь как батюшка-то любил их...» – и я сам видел, как слезы у ней капали в тарелку.

Точно так же и другие плакали и ели с удивительным аппетитом. После обеда все пошли спать и спали до вечернего чая. Проходя через девичью в нашу новую комнату, я с робостью поглядывал в растворенный коридор, который выходил прямо в залу, откуда слышалось однообразное, утомительное чтение псалтыря. Отец с матерью также отдыхали, а мы с сестрицей шепотом разговаривали. При дневном свете бодрость моя возвратилась, и я даже любовался яркими лучами солнца. Комната мне чрезвычайно нравилась; кроме того, что она отдаляла меня от покойника, она была угольная и одною своей стороною выходила на реку Бугуруслан, который и зимой не замерзал от быстроты течения и множества родников. Он круто поворачивал против самых окон. Вид в снегах быстро бегущей реки, летняя кухня на острове, высокие к ней переходы, другой остров с большими и стройными деревьями, опушенными инеем, а вдали выпуклоутесистая Челябинская гора, – вся эта картина произвела на меня приятное, успокоительное впечатление. В первый раз почувствовал я, что и вид зимней природы может иметь свою красоту.

Мое спокойствие продолжалось до сумерек. Сам того не примечая, с угасающими лучами заходящего солнца терял я свою бодрость. Я боялся даже идти пить чай в бабушкину комнату, потому что надобно было проходить в девичьей мимо известного коридора. Мать строго приказала мне идти. Я имел силу послушаться, но пробежал бегом через девичью, заткнув уши и отворотясь от коридора. После чаю у бабушки в горнице начались разговоры о том, как умирал и что завещал исполнить дедушка, а также о том, что послезавтра будут его хоронить. Мать, заметив, что такие разговоры меня смущают, сейчас увела нас с сестрой в нашу угловую комнату, даже пригласила к нам двоюродных сестриц. Они, посидев и поболтав с нами, ушли, и, когда надобно было ложиться спать, страх опять овладел мною и так выразился на моем лице, что мать поняла, какую ночь проведу я, если не лягу спать вместе с нею.

Горячею благодарностью к ней наполнилось мое сердце, когда она сама сказала мне: «Сережа, ты ляжешь со мной». Это все, что я мог желать, о чем, без сомнения, я стал бы и просить и в чем не отказали бы мне; но как тяжело, как стыдно было бы просить об этом! Я,

конечно, не вдруг бы решился и прежде не один час провел бы в мучительном положении. О, благо тем, которые щадят, избавляют от унижительного сознания в трусости робкое сердце дитяти!

Ночь прошла спокойно. Я проснулся еще до света и услышал много любопытных разговоров между отцом и матерью. Я узнал, что отец мой хочет выйти в отставку и переехать на житье в Багрово. Эта весть очень меня огорчила; Багрово в оба раза представилось мне в неблагоприятном виде, и, конечно, не могло меня привлекать к себе; все мои мечты стремились к Сергеевке, где так весело провел я прошедшее лето. Тут же я в первый раз услышал, что у меня будет новая сестрица или братец.

Следующий день прошел точно так же, как и предыдущий: то есть днем я был спокойнее и бодрее, а к ночи опять начинал бояться. Всего больше тревожило меня сомнение, положит ли маменька меня с собою спать. Я с волнением дожидался того времени, когда начнут стлать постели, и почувствовал большую радость, увидя, что мои подушки кладут на маменькину постель. Нового я узнал, что завтра дедушку повезут хоронить в село Неклюдово, чего он именно не желал, потому что не любил всего неклюдовского. Почему было поступлено против его воли – я до сих пор не знаю, но помню, что говорили о каких-то важных причинах. Я должен признаться, что горячо желал, чтоб поскорее увезли дедушку. Я чувствовал, что только тогда возвратится в мою душу совершенное спокойствие. Мертвецов боятся многие во всю свою жизнь; я сам боялся их и никогда не видывал лет до двадцати. Страх этот определить трудно. Человек в зрелом возрасте, вероятно, страшится собственного впечатления: вид покойника возмутит его душу и будет преследовать его воображение; но тогда я положительно боялся и был уверен, что дедушка, как скоро я взгляну на него, на минуту оживет и схватит меня.

Наступил этот печальный и торжественный день. Все поднялись рано; началась беготня и беспрестанное хлопанье дверями. Когда мы пришли, ранее обыкновенного, пить чай в бабушкину горницу, то все тетушки и бабушка были уже одеты в дорожные платья; у крыльца стояло несколько повозок и саней, запряженных гусем. Двор и улица были полны народу: не только сошлись свои крестьяне и крестьянки, от старого и до малого, но и окольные деревни собрались проститься с моим дедушкой, который был всеми уважаем и любим, как отец. Много лет спустя я слышал, что соседняя мордва иначе не называла его, как «отца наша». Когда все было готово и все пошли прощаться с покойником, то в зале поднялся вой, громко раздававшийся по всему дому: я чувствовал сильное волнение, но уже не от страха, а от темного понимания важности события, жалости к бедному дедушке и грусти, что я никогда его не увижу. Двери в доме были везде настежь, везде сделалась стужа, и мать приказала Параше не водить сестрицу прощаться с дедушкой, хотя она плакала и просилась. Итак, мы только трое остались в бабушкиной теплой горнице.

Вдруг поднялся глухой шум и топот множества ног в зале, с которым вместе двигался плач и вой: все это прошло мимо нас... И вскоре я увидел, что с крыльца, как будто на головах людей, спустился деревянный гроб; потом, когда тесная толпа раздвинулась, я разглядел, что гроб несли мой отец, двое дядей и старик Петр Федоров, которого самого вели под руки; бабушку также вели сначала, но скоро посадили в сани, а тетушки и маменька шли пешком; многие, стоявшие на дворе, кланялись в землю. Медленно двигаясь, толпа вышла на улицу, вытянулась во всю ее длину и наконец скрылась из моих глаз.

Стоя на стуле и смотря в окошко, я плакал от глубины души, исполненной искреннего чувства любви и умиления к моему дедушке, так горячо любимому всеми. На одно мгновение мне захотелось даже еще раз его увидеть и поцеловать исхудалую его руку.

Мы сидели в бабушкиной горнице и грустно молчали. После шума и движения в доме наступила мертвая тишина. Вдруг подъехали к крыльцу сани; с них сошла мать и две наши двоюродные сестры. Я вскрикнул от радости; я думал, что все уехали в Неклюдово, за двадцать верст. Вслед за приездом матери повалили толпы возвращающегося народа. Мать проводила дедушку до околицы; там поставили гроб на сани, а все провожавшие сели в повозки. Мы ушли в свою угольную комнату. Мать, расстроенная душевно, потому что

очень любила покойного дедушку, и очень утомленная, пролежала почти целый день, не занимаясь нами. Двоюродные сестрицы оставались у нас в комнате, и мы с ними очень разговорились, и очень дружелюбно. Впрочем, говорили почти все они, и я тут узнал много такого, о чем прежде не имел понятия и что даже считал невозможным. Я узнал, например, что они очень мало любят, а только боятся своих родителей, что они беспрестанно лгут и обманывают их; я принялся было осуждать своих сестриц, доказывать, как это дурно, и учить их, как надобно поступать добрым детям. Я говорил все то, что знал из книг, еще более из собственной моей жизни, но сестрицы меня или не понимали, или смеялись надо мной, или утверждали, что у них тятенька и маменька совсем не такие, как у меня.

Поздно вечером воротился отец. Бабушка с тетушками остались ночевать в Неклюдове у родных своих племянниц; мой отец прямо с похорон, не заходя в дом, как его о том ни просили, уехал к нам. Он целый день ничего не ел и ужасно устал, потому что много шел пешком за гробом дедушки. Эту ночь я спал уже на особой кровати, вместе с сестрицей. Я вечером опять почувствовал страх, но скрыл его; мать положила бы меня спать с собою, а для нее это было беспокойно; к тому же она спала, когда я ложился. Долго не мог я заснуть; вид колыхающегося гроба и чего-то в нем лежащего, медленнодвигающегося на плечах толпы народа, – не отходил от меня и далеко прогонял сон. Наконец после многих усилий я кое-как заснул, слава богу, и проснулся позже всех.

К обеду приехали бабушка, тетушки и дяди; накануне весь дом был вымыт, печи жарко истоплены и в доме стало тепло, кроме залы, в которую, впрочем, никто и не входил до девяти ден. Чтение псалтыря продолжалось и день и ночь уже в горнице дедушки, где он жил и скончался. Пили чай, обедали и ужинали у бабушки, потому что это была самая большая комната после залы; там же обыкновенно все сидели и разговаривали. Мать несколько дней не могла оправиться; она по большей части сидела с нами в нашей светлой угольной комнате, которая, впрочем, была холоднее других; но мать захотела остаться в ней до нашего отъезда в Уфу, который был назначен через девять дней.

Как я ни был мал, но заметил, что моего отца все тетушки, особенно Татьяна Степановна, часто обнимали, целовали и говорили, что он один остался у них кормилец и защитник. Мать мою также очень ласкали. Тетушка Татьяна Степановна часто приходила к нам, чтоб «матушке-сестрице не было скучно», и звала ее с собою, чтобы вместе поговорить о разных домашних делах. Но мать всегда отвечала, что «не намерена мешаться в их семейные и домашние дела, что ее согласие тут не нужно и что все зависит от матушки», то есть от ее свекрови. Возвращаясь с семейных совещаний, отец рассказывал матери, что покойный дедушка еще до нашего приезда отдал разные приказанья бабушке; назначил каждой дочери, кроме крестной матери моей, доброй Аксины Степановны, по одному семейству из дворовых, а для Татьяны Степановны приказал купить сторгованную землю у башкирцев и перевести туда двадцать пять душ крестьян, которых назвал поименно; сверх того, роздал дочерям много хлеба и всякой домашней рухляди. «Хоть батюшка мне ничего не говорил, а изволил только сказать: не оставь Танюшу и награди так же, как я наградил других сестер при замужестве, – но я свято исполню все, что он приказывал матушке». Мать одобрила его намеренье. Когда мой отец изъявил полное согласие на исполнение дедушкиной воли, то все благодарили его и низко кланялись, а Татьяна Степановна поклонилась даже в ноги. Она приходила также обнимать, целовать и благодарить мою мать, которая, однако, никаких благодарностей не принимала и возражала, что это дело до нее вовсе не касается. Я замечал иногда, что Параша что-то шептала моей матери; иногда она слушала ее, а всего чаще заставляла молчать и прогоняла, и вот что эта Параша, одевая меня, один раз мне сказала: «Да, вы тут сидите, а вас грабят». Я не понял и попросил объяснения. Параша отвечала: «Да вот сколько теперь батюшка-то ваш роздал крестьян, дворовых людей и всякого добра вашим тетушкам-то, а все понапрасну; они всклепали на покойника; они точно просили, да дедушка отвечал: что брат Алеша даст, тем и будьте довольны.

Никанорка Танайченко все это своими ушами слышал и все в доме это знают». Я плохо понимал, о чем шло дело, и это не произвело на меня никакого впечатления; но я, как и

всегда, поспешил рассказать об этом матери. Она так рассердилась и так кричала на Парашу, так грозила ей, что я испугался. Параша плакала, просила прощения, валялась в ногах у моей матери, крестилась и божилась, что никогда вперед этого не будет. Мать сказала ей, что если еще раз что-нибудь такое случится, то она отошлет ее в симбирское Багрово ходить за коровами. Как было мне жаль бедную Парашу, как она жалобно на меня смотрела и как умоляла, чтоб я упросил маменьку простить ее!.. И я с жаром просил за Парашу, обвиняя себя, что подверг ее такому горю. Мать простила, но со всем тем выгнала вон из нашей комнаты свою любимую приданую женщину и не позволила ей показываться на глаза, пока ее не позовут, а мне она строго подтвердила, чтоб я никогда не слушал рассказов слуг и не верил им и что это все выдумки багровской дворни: разумеется, что тогда никакое сомнение в справедливости слов матери не входило мне в голову. Только впоследствии понял я, за что мать сердилась на Парашу и отчего она хотела, чтоб я не знал печальной истины, которую мать знала очень хорошо. Понял также и то, для чего мать напрасно обвиняла багровскую дворню, понял, что в этом случае дворня была выше некоторых своих господ.

Обрадованный, что со мной и с сестрицей бабушка и тетушка стали ласковы, и уверенный, что все нас любят, я сам сделался очень ласков со всеми, особенно с бабушкой. Я скоро предложил всему обществу послушать моего чтения из «Россиады» и трагедий Сумарокова. Меня слушали с любопытством, хвалили и говорили, что я умник, грамотей и чтец.

Через несколько дней страх мой совершенно прошел. Я стал ходить по всему дому, провожаемый иногда Евсеичем. Один раз как-то без него я заглянул даже в дедушкину комнату: она была пуста, все вещи куда-то вынесли, стояла только в углу его скамеечка и кровать с веревочным переплетом, посредине которого лежал тонкий лубок, покрытый войлоком, а на войлоке спали поочередно который-нибудь из чтецов псалтыря. Чтецов было двое: дряхлый старик Еким Мысеич и очень молодой рыжий парень Василий. Они переменялись, читая день и ночь. Когда я вошел в первый раз в эту печальную комнату, читал Мысеич медленно и гнуса, плохо разбирая и в очки церковную печать. В углу стоял высокий столик, накрытый белой салфеткой, с большим образом, перед которым теплилась желтая восковая свечка; Еким иногда крестился, а иногда и кланялся. Я стоял долго и тихо, испытывая чувство грустного умиления. Вдруг мне захотелось самому почитать псалтырь по дедушке: я еще в Уфе выучился читать церковную печать. Я попросил об этом Екима, и он согласился. Заставив меня наперед помолиться богу, Мысеич подставил мне низенькую дедушкину скамеечку, и я, стоя, принялся читать.

Какое-то волнение стесняло мою грудь, я слышал биение моего сердца, и звонкий голос мой дрожал; но я скоро оправился и почувствовал неизъяснимое удовольствие. Я читал довольно долго, как вдруг голос Евсеича, который, вошедши за мной, уже давно стоял и слушал, перервал меня. «Не будет ли, соколик? – сказал он. – А читать горазд». Я оглянулся: Мысеич заснул, прислонясь к окошку. Мы разбудили его, и он, благословясь, принялся за чтение. Я помолился перед образом, посмотрел на дедушкину кровать, на которой спал рыжий Васька, вспомнил все прошедшее и грустно вышел из комнаты. Пришел и девятый день, день поминовения по усопшем дедушке.

Накануне все, кроме отца и матери, даже двоюродные сестры, уехали ночевать в Неклюдово. В девятый же день и отец с матерью, рано поутру, чтоб успеть к обедне, уехали туда же. В целом доме оставались одни мы с сестрицей. Евсеич со мной не расставался, и я упросил его пойти в комнату дедушки, чтоб еще раз почитать по нем псалтырь. В горнице так же читал Мысеич и так же спал рыжий Васька. Хотя я начал читать не без волнения, но голос мой уже не дрожал, и я читал еще с большим внутренним удовольствием, чем в первый раз. Долго и терпеливо слушал Евсеич; наконец так же сказал: «Не будет ли, соколик? Чай, ножки устали». Мысеич опять дремал, прислонясь к окошку; я опять помолился богу и даже поклонился в землю, опять с грустью посмотрел на дедушкину кровать – и мы вышли. Дедушкиной горницы в этом виде я уже более не видал. Выходя из комнаты, Евсеич сказал мне: «Вот это хорошо вышло! В Неклюдове служили по дедушке

панихиду на его могилке, а ты, соколик, читал по нем псалтырь в его горнице», и я чувствовал необыкновенное удовольствие, смешанное с какой-то даже гордостью.

К обеду, о котором, как я заметил, заранее хлопотали тетушки, все воротились из Неклюдова; даже приехали бабушкины племянницы со старшими детьми. Еще до приезда хозяев и гостей был накрыт большой стол в зале. Мать воротилась очень утомленная и расстроенная, отец с красными глазами от слез, а прочие показались мне довольно спокойными. Как приехали, так сейчас сели за обед. Кушаний было множество и все такие жирные, что мать нам с сестрицей почти ничего есть не позволяла. В конце обеда явились груды блинов; их кушали со слезами и даже с рыданиями, хотя перед блинами все были спокойны и громко говорили. Мать ничего не ела и очень была печальна; я глаз с нее не сводил. Я слышал, как она, уйдя после обеда в нашу комнату, сказала Параше, с которой опять начала ласково разговаривать, что она «ничего не могла есть, потому что обедали на том самом столе, на котором лежало тело покойного батюшки». Меня так поразили эти слова, что я сам почувствовал какое-то отвращение к кушаньям, которые ел. Мне даже сделалось тошно. Вечером гости уехали, потому что в доме негде было поместиться.

На другой день мы собирались и укладывались, а на третий, рано поутру, уехали. Прощанье было продолжительное, обнимались, целовались и плакали, особенно бабушка, которая не один раз говорила моему отцу: «Ради бога, Алеша, выходи поскорее в отставку и переезжай в деревню. Где мне управлять мужским хозяйством: мое дело вдовье и старушечье; я плоха, а Танюша человек молодой, да мы и не смыслим. Все ведь держалось покойником, а теперь нас с Танюшей никто и слушать не станет. Все разьедутся по своим местам; мы останемся одни, дело наше женское, – ну, что мы станем делать?» Отец обещал исполнить ее волю.

УФА

Надобно признаться, что мне не жаль было покинуть Багрово. Два раза я жил в нем, и оба раза невесело. В первый раз была дождливая осень и тяжелая жизнь в разлуке с матерью и отцом при явном недоброжелательстве родных-хозяев, или хозяек, лучше сказать. Во второй раз стояла жестокая зима, скончался дедушка, и я испытал впечатления мучительного страха, о котором долго не мог забыть. Итак, не за что было полюбить Багрово.

Обратный путь наш в Уфу совершился скорее и спокойнее: морозы стояли умеренные, окошечки в нашем возке не совсем запушались снегом, и возок не опрокидывался.

В Уфе все знакомые наши друзья очень нам обрадовались. Круг знакомых наших, особенно знакомых с нами детей, значительно уменьшился. Крестный отец мой, Д.Б.Мертваго, который хотя никогда не бывал со мной ласков, но зато никогда и не дразнил меня, – давно уже уехал в Петербург. Княжевичи с своими детьми переехали в Казань. Мансуровы также со всеми детьми куда-то уехали.

Обогащенный многими новыми понятиями и чувствами, я принялся опять перечитывать свои книги и многое понял в них яснее прежнего, увидел даже то, чего прежде вовсе не видал, а потому и самые книги показались мне отчасти новыми. С лишком год прошел после неудачной моей попытки учить грамоте милую мою сестрицу, и я снова приступил к этому важному и еще неблагодарному для меня делу, неуспех которого меня искренно огорчал.

Сестрица моя выучивала три-четыре буквы в одно утро, вечером еще знала их, потому что, ложась спать, я делал ей всегда экзамен; но на другой день поутру она решительно ничего не помнила. Писать прописи я начал уже хорошо, арифметика была давно брошена. У меня была надежда, что весной мы опять поедем в Сергеевку; но мать сказала мне, что этого не будет. Во-первых, потому, что она, слава богу, здорова, а во-вторых, потому, что в исходе мая она, может быть, подарит мне сестрицу или братца. Хотя это известие очень меня занимало и радовало, но грустно мне было лишиться надежды прожить лето в Сергеевке. Я уже начинал сильно любить природу, охота удить также сильно начинала овладевать мною,

и приближение весны волновало сердце мальчика (будущего страстного рыбака), легко поддающегося увлечениям.

С самого возвращения в Уфу я начал вслушиваться и замечать, что у матери с отцом происходили споры, даже неприятные. Дело шло о том, что отец хотел в точности исполнить обещание, данное им своей матери: выйти немедленно в отставку, переехать в деревню, избавить свою мать от всех забот по хозяйству и успокоить ее старость. Переезд в деревню и занятия хозяйством он считал необходимым даже и тогда, когда бы бабушка согласилась жить с нами в городе, о чем она и слышать не хотела. Он говорил, что «без хозяина скоро портится порядок и что через несколько лет не узнаешь ни Старого, ни Нового Багрова». На все эти причины, о которых отец мой говаривал много, долго и тихо, – мать возражала с горячностью, что «деревенская жизнь ей противна, Багрово особенно не нравится и вредно для ее здоровья, что ее не любят в семействе и что ее ожидают там беспрестанные неудовольствия». Впрочем, была еще важная причина для переезда в деревню: письмо, полученное от Прасковьи Ивановны Куролесовой. Узнав о смерти моего дедушки, которого она называла вторым отцом и благодетелем, Прасковья Ивановна писала к моему отцу, что «нечего ему жить по пустыкам в Уфе, служить в каком-то суде из трехсот рублей жалованья, что гораздо будет выгоднее заняться своим собственным хозяйством, да и ей, старухе, помогать по ее хозяйству. Оно же и кстати, потому что Старое Багрово всего пятьдесят верст от Чурсова, где она постоянно живет». В заключение письма она писала, что «хочет узнать в лицо Софью Николавну, с которою давно бы пора ее познакомиться; да и наследников своих она желает видеть». Письмо это отец несколько раз читал матери и доказывал, что тут и рассуждать нечего, если не хотим прогневать тетюшку и лишиться всего. Против этих слов мать ничего не возражала. Я и прежде составил себе понятие, что Прасковья Ивановна – какая-то сила, повелительница, нечто вроде покойной государыни, а теперь еще больше утвердился в моих мыслях. Споры, однако, продолжались, отец не уступал, и все, чего могла добиться мать, состояло в том, что отец согласился не выходить в отставку немедленно, а отложил это намерение до совершенного выздоровления матери от будущей болезни, то есть до лета.

Будущую болезнь объяснили мне ожидаемым появлением сестрицы или братца. Написали письмо к Прасковье Ивановне и не один раз его перечитывали; заставляли и меня написать по линейкам, что «я очень люблю бабушку и желаю ее видеть». Я не мог любить да и видеть не желал Прасковью Ивановну, потому что не знал ее, и, понимая, что пишу ложь, всегда строго осуждаемую у нас, я откровенно спросил: «Для чего меня заставляют говорить неправду?» Мне отвечали, что когда я узнаю бабушку, то непременно полюблю и что я теперь должен ее любить, потому что она нас любит и хочет нам сделать много добра.

Дальнейших возражений и вопросов моих не стали слушать. В городе беспрестанно получались разные известия из Петербурга, которые приводили всех в смущение и страх; но в чем состояли эти известия, я ничего узнать не мог, потому что о них всегда говорили потихоньку, а на мои вопросы обыкновенно отвечали, что я еще дитя и что мне знать об этом не нужно. Мне было досадно; особенно сердил меня один ответ: «Много будешь знать, скоро состареешься». Одного только обстоятельства нельзя было скрыть: государь приказал, чтобы все, кто служит, носили какие-то сюртуки особенного покроя, с гербовыми пуговицами (сюртуки назывались оберроками), и кроме того, чтоб жены служащих чинов носили сверх своих парадных платьев что-то вроде курточки, с таким же шитьем, какое носят их мужья на своих мундирах. Мать была мастерица на всякие вышивания и сейчас принялась шить по карте серебряные петлицы, которые очень были красивы на голубом воротнике белого спензера, или курточки. Мать выезжала в таком наряде несколько раз по праздникам в церковь, к губернаторше и еще куда-то. Я всегда любовался ею и провожал до лакейской. Все называли мою мать красавицей, и точно она была лучше всех, кого я знал.

Весна пришла, и вместо радостного чувства я испытывал грусть. Что мне было до того, что с гор бежали ручьи, что показались проталины в саду и около церкви, что опять прошла Белая и опять широко разлились ее воды! Не увижу я Сергеевки и ее чудного озера, ее

высоких дубов, не стану удить с мостков вместе с Евсеичем, и не будет лежать на берегу Сурка, растянувшись на солнышке! Вдруг узнаю я, что отец едет в Сергеевку. Кажется, это было давно решено, и только скрывали от меня, чтобы не дразнить понапрасну ребенка. В Сергеевку приехал землемер Ярцев, чтоб обмежевать нашу землю.

Межеванье обещали покончить в две недели, потому что моему отцу нужно было воротиться к тому времени, когда у меня будет новая сестрица или братец. Проситься с отцом я не смел. Дороги были еще не проездные, Белая в полном разливе, и мой отец должен был проехать на лодке десять верст, а потом добраться до Сергеевки кое-как в телеге. Мать очень беспокоилась об отце, что и во мне возбудило беспокойство. Мать боялась также, чтоб межеванье не задержало отца. И чтоб ее успокоить, он дал ей слово, что если в две недели межеванье не будет кончено, то он все бросит, оставит там поверенным кого-нибудь, хотя Федора, мужа Параши, а сам приедет к нам, в Уфу. Мать не могла удержаться от слез, прощаясь с моим отцом, а я разревелся. Мне было грустно расстаться с ним, и страшно за него, и горько, что не увижу Сергеевки и не поужу на озере. Напрасно Евсеич утешал меня тем, что теперь нельзя гулять, потому что грязно; нельзя удить, потому что вода в озере мутная, – я плохо ему верил: я уже не один раз замечал, что для моего успокоенья говорили неправду. Медленно тянулись эти две недели. Хотя я, живя в городе, мало проводил времени с отцом, потому что поутру он обыкновенно уезжал к должности, а вечером – в гости или сам принимал гостей, но мне было скучно и грустно без него. Отец не успел мне рассказать хорошенько, что значит межевать землю, и я для дополнения сведений расспросив мать, а потом Евсеича, в чем состоит межеванье, и не узнав от них почти ничего нового (они сами ничего не знали), составил себе, однако, кое-какое понятие об этом деле, которое казалось мне важным и торжественным. Впрочем, я знал внешнюю обстановку межеванья: вежи, колья, цепь и понятах. Воображение рисовало мне разные картины, и я бродил мысленно вместе с моим отцом по полям и лесам Сергеевской дачи. Очень странно, что составленное мною понятие о межеванье довольно близко подходило к действительности: впоследствии я убедился в этом на опыте; даже мысль дитяти о важности и какой-то торжественности межеванья всякий раз приходила мне в голову, когда я шел или ехал за астролябией, благоговейно несомой крестьянином, тогда как другие тащили цепь и втыкали колья через каждые десять сажен; настоящего же дела, то есть измерения земли и съемки ее на план, разумеется, я тогда не понимал, как и все меня окружавшие.

Отец сдержал свое слово: ровно через две недели он воротился в Уфу.

Возвращаться было гораздо труднее, чем ехать на межеванье. Вода начала сильно сбывать, во многих местах земля оголилась, и все десять верст, которые отец спокойно проехал туда на лодке, надобно было проехать в обратный путь уже верхом. Воды еще много стояло в долочках и ложбинках, и она доставала иногда по брюхо лошади. Отец приехал, весь с ног до головы забрызганный грязью. Мать и мы с сестрицей очень ему обрадовались, но отец был невесел; многие башкирцы и все припущенники, то есть жители «Кишешек» и «Тимкина», объявили спор и дачу обошли черными (спорными) столбами: обмежеванье белыми столбами означало бесспорность владения. Рассказав все подробно, отец прибавил: «Ну, Сережа, Сергеевская дача пойдет в долгий ящик и не скоро достанется тебе; напрасно мы поторопились перевести туда крестьян». Я огорчился, потому что мне очень было приятно иметь собственность, и я с тех пор перестал уже говорить с наслаждением при всяком удобном случае: «Моя Сергеевка».

Приближался конец мая, и нас с сестрицей перевели из детской в так называемую столовую, где, впрочем, мы никогда не обедали; с нами спала Параша, а в комнате, которая отделяла нас от столярной, спал Евсеич: он получил приказание не отходить от меня. Такое отлучение от матери, через всю длину огромного дома, несмотря на уверения, что это необходимо для маменькиного здоровья, что жизнь будущего братца или сестрицы от этого зависит, показалось мне вовсе не нужным; только впоследствии я узнал настоящую причину этого удаления.

В это время, кажется 1-го июня, случилась жестокая гроза, которая произвела на меня

сильное впечатление страха. Гроза началась вечером, часу в десятом; мы ложились спать; прямо перед нашими окнами был закат летнего солнца, и светлая заря, еще не закрытая черною приближающеюся тучею, из которой гремел по временам глухой гром, озаряла розовым светом нашу обширную спальню, то есть столовую; я стоял возле моей кровати и молился богу. Вдруг страшный громовой удар потряс весь дом и оглушил нас; я бросился на свою кровать и очень сильно ушиб себе ногу. Несколько минут я не мог опомниться; опомнившись, я увидел, что сижу на коленях у Евсеича, что дождь льет как из ведра и что комната освещена не зарею, а заревом от огня. Евсеич рассказал мне, что это горит соборная троицкая колокольня, которую зажгла молонья. Милая моя сестрица также была испугана и также сидела на руках своей няни; вдруг вошла княжна калмычка и сказала, что барыня спрашивает к себе детей. Нас повели в спальню. Мать лежала в постели, отец хлопотал около нее вместе с бабушкой-повитушкой (как все ее называли), Аленой Максимовной. Я заметил, что мать не только встревожена, но и нездорова; она положила нас к себе на постель, ласкала, целовала, и мне показалось, что она даже плакала. Видя мое беспокойство, сообщившееся и моей сестрице, она уверила нас, что ее испугал гром, что она боялась нашего испуга и что завтра будет здорова. Она перекрестила нас и послала спать; отец также перекрестил. Я заметил, что он не раздевался и не собирается лечь в постель. Я догадался, что мать больна. Мы воротились в нашу комнату.

Ночь была душная, растворили окна, ливень унялся, шел уже мелкий дождь; мы стали смотреть в окна и увидели три пожара, от которых, несмотря на черные тучи, было довольно светло. Кто-то из военных подъезжал к нашему окошку и спрашивал о здоровье нашей матери. Сестрица моя скоро задремала, Параша уложила ее спать и сама заснула. Мы с Евсеичем долго смотрели в окно и разговаривали. Испуг мой прошел, и я принялся расспрашивать, что такое молонья, отчего она зажигает, отчего гремит гром? Евсеич отвечал, что «молонья – огненная громовая стрела и во что она ударит, то и загорится».

Небо очистилось, замелькали звезды, становилось уже светло от утренней зари, когда я заснул в моей кровати.

На другой день догадка моя подтвердилась: мать точно была больна; этого уже не скрывали от нас. Приезжал наш друг Авенариус и еще какой-то другой доктор. Я с сестрицей приходил к маменьке на одну минуту; она, поцеловав нас, сказала, что хочет почивать, и отпустила. Я не мог рассмотреть лица матери: в комнате было почти темно от опущенных зеленых гардин. Отец был бледен и смущен. Тоска сжала мое сердце. Я ничем не мог заниматься, а только плакал и просился к маменьке. Видно, отцу сказали об этом: он приходил к нам и сказал, что если я желаю, чтоб мать поскорее выздоровела, то не должен плакать и проситься к ней, а только молиться богу и просить, чтоб он ее помиловал, что мать хоть не видит, но материнское сердце знает, что я плачу и что ей от этого хуже. Я поверил, молился богу и хотя не успокоился, но удерживался от слез. Я даже уговаривал свою сестрицу, которая также тосковала и не раз принималась плакать. Тяжело прошел этот мучительный день. На следующий, видно, было еще хуже нашей маменьке, потому что нас и здороваться к ней не водили. Доктора приезжали часто. Приносили из церкви большой местный образ иверской божьей матери и служили молебен у маменьки в спальне. Нас же не пустили туда, но мы видели и слышали, как с пеньем пронесли образ через залу, молились в отворенную дверь нашей столовой. В этот день нас даже не водили гулять в сад, а приказали побегать по двору, который был очень велик и зеленелся как луг; но мы не бегали, а только ходили тихо взад и вперед. Напрасно Сурка ласкался, забегал мне в лицо, прыгал на меня, лизал мои руки, – я совершенно не мог им заниматься. Евсеич и Параша печально молчали или потихоньку перешептывались между собой. Евсеич уже не старался меня развеселить или утешить, а только повторял, видя мои глаза, беспрестанно наполняющиеся слезами: «Молись богу, соколик, чтоб маменька выздоровела».

Мы воротились с печального гулянья, я бросился в свою кровать, задернулся занавесками, спрятал голову под подушки и дал волю слезам, которые удерживал я так долго, с невероятными усилиями для дитяти. В то же время мелькнула у меня мысль, что я

спрятался, что я не всхлипываю, что маменька не увидит и не услышит моих слез. Видно, Евсеич догадался, что такие слезы нельзя остановить; он долго стоял возле моей кровати, знал, что я плачу, и молчал. Наконец вылились слезы, и я заснул. Спал я довольно долго и проснулся с криком, как будто от испуга. Сестрица первая подбежала ко мне, весело говоря: «Маменьке получше», и Параша сказала то же. Евсеича не было с нами, но он скоро пришел, и Параша встретила его вопросом: «Ну что, ведь барыне получше?» – «Получше», – отвечал Евсеич, но нетвердым голосом. Я это заметил, однако успокоился несколько. Давно прошло время обеда. Сестрица не хотела без меня кушать, но теперь, вместе со мною, охотно села за стол, и мы кое-как пообедали. Я упросил Евсеича узнать об маменьке; он ходил и, поспешно воротясь, сказал: «Барыня поживает». Через несколько времени ходила Параша и принесла такое же известие. Сомнение начало вкрадываться в мою душу. Я пристально посмотрел в глаза Евсеичу и Параше и твердо сказал: «Вы неправду говорите». Они смутились, переглянулись и не вдруг отвечали.

Все это я заметил, и уже не слушал потом никаких уверений и утешений. Во время этого спора вошел отец. По его лицу я все угадал. «Пойдемте, – сказал он тихо, – мать хочет вас видеть и благословить». Я зарыдал, а за мной и сестрица. «Послушайте, – сказал отец, – если мать увидит, что вы плачете, то ей сделается хуже и она от того может умереть; а если вы не будете плакать, то ей будет лучше». Слезы высохли у меня на глазах, сестрица тоже перестала плакать. Погодя немного, отец взял нас за руки и привел в спальную. В комнате было так темно, что я видел только образ матери, а лица разглядеть не мог; нас подвели к кровати, поставили на колени, мать благословила нас образом, перекрестила, поцеловала и махнула рукой. Нас поспешно увели. В гостиной встретили мы священника; он также благословил нас, и мы воротились в свою комнату в каком-то душевном оцепенении. Я вдруг как будто забыл, что маменька нас благословила, простилась с нами... Я потерял способность не только соображения, но и понимания; одно вертелось у меня в голове, что у маменьки темно и что у ней горячее лицо. Евсеич, Параша и сестрица плакали, а у меня не было ни одной слезинки. Не знаю, что было со мной? Я не могу назвать тогдашнего моего духовного состояния холодным отчаянием. Мысль о смерти матери не входила мне в голову, и я думаю, что мои понятия стали путаться и что это было началом какого-то помешательства. – Пришло время ложиться спать. Евсеич раздел меня, велел мне молиться богу, и я молился, и, по обыкновению, прочитав молитву, проговорил вслух: «Господи, помилуй тятеньку и маменьку». Я лег, Евсеич сел подле меня и начал что-то говорить, но я ничего не слышал. Не помню, чтоб я спал, но Евсеич уверял после, что я скоро заснул и спал около часа. Я помню только, что вдруг начал слышать радостные голоса: «Слава богу, слава богу, бог дал вам братца, маменька теперь будет здорова». Это говорили Евсеич и Параша моей сестрице, которая, с радостным криком, повторяя эти слова, прибежала к моей кровати, распахнула занавески, влезла ко мне и обняла меня своими ручонками... Я вспомнил все и зарыдал как иступленный, рыдал так долго, что смутил общую радость и привел всех в беспокойство. Сходили за моим отцом. Он пришел и, услыша издали мои рыдания, подходя ко мне, закричал: «Что ты, Сережа! Надо радоваться, а не плакать. Слава богу! Мать будет здорова, у тебя родился братец...» Он взял меня на руки, посадил к себе на колени, обнял и поцеловал. Не скоро унялись судорожные рыдания и всхлипыванья, внутренняя и наружная дрожь. Наконец все мало-помалу утихло, и прежде всего я увидел, что в комнате ярко-светло от утренней зари, а потом понял, что маменька жива, будет здорова, – и чувство невыразимого счастья наполнило мою душу! Это происходило 4-го июня, на заре перед восходом солнца, следовательно, очень рано. Я все спрашивал, отчего сестрица проснулась, отчего она прежде меня узнала радостное известие?

Сестрица уверяла, что она не спала, когда прибежала Параша, но я спорил и не верил. Я долго так же спорил, утверждая, что я не засыпал; но наконец должен был согласиться, что я действительно спал, что меня разбудили громкие речи Параша, Евсеича и крик сестрицы. Отец поспешил уйти, а дядька и нянька поспешили нас с сестрицей уложить поживать. Мы не скоро заснули, а все переговаривались, лежа в своих кроватках: какой у нас братец?

Наконец нам запретили говорить, и мы сладко заснули.

Поздно последовало наше радостное пробуждение. Я сейчас стал проситься к маменьке, и просился так неотступно, что Евсеич ходил с моей просьбой к отцу; отец приказал мне сказать, чтоб я и не думал об этом, что я несколько дней не увижу матери. Это меня – огорчило. Потом я стал просить поглядеть братца, и Параша сходила и выпросила позволения у бабушки-повитушки, Алены Максимовны, прийти нам с сестрицей потихоньку, через девичью, в детскую братца, которая отделялась от спальни матери другою детскою комнатою, где обыкновенно жили мы с сестрицей. Мы еще в сенях пошли на цыпочках, чему Параша много смеялась. В маленькой детской висела прекрасная люлька на медном кольце, ввернутая в потолок. Эту люльку подарил покойный дедушка Зубин, когда еще родилась старшая моя сестра, вскоре умершая; в ней качались и я, и моя вторая сестрица. Подставили стул, я влез на него и, раскрыв зеленый шелковый положок, увидел спящего спеленанного младенца и заметил только, что у него на головке черные волоски. Сестрицу взяли на руки, и она также посмотрела на спящего братца – и мы остались очень довольны. Приготовленная заранее кормилица, еще не кормившая братца, которому давали только ревенный сироп, нарядно одетая, была уже тут; она поцеловала у нас ручки. Алена Максимовна, видя, что мы такие умные дети, ходим на цыпочках и говорим вполголоса, обещала всякий день пускать нас к братцу именно тогда, когда она будет его мыть. Обрадованные такими приятными надеждами, мы весело пошли гулять и бегать сначала по двору, а потом и по саду. На этот раз ласки моего любимца Сурки были приняты мною благосклонно, и я, кажется, бегал, прыгал и валялся по земле больше, чем он; когда же мы пошли в сад, то я сейчас спросил: «Отчего вчера нас не пустили сюда?» Живая Параша, не подумав, отвечала: «Оттого, что вчера матушка очень стонали, и мы в саду услышали бы их голос». Меня так встревожило и огорчило это известие, что Параша не знала, как поправить дело. Она уверяла и божилась, – что теперь все прошло, что она своими глазами видела барыню, говорила с ней и что они здоровы, а только слабы.

Параша просила даже меня не рассказывать Евсеичу и никому, что она проболталась, и уверяла, что ее будут очень бранить; я обещал никому не говорить. Я поверил Параше, успокоился, и у меня опять стало весело на сердце.

До самого вечера ничем не омрачилось светлое состояние моей души. Из последних слов Параша я еще более понял, как ужасно было вчерашнее прошедшее; но в то же время я совершенно поверил, что теперь все прошло благополучно и что маменька почти здорова. Вечером частый приезд докторов, суетливая беготня из девичьей в кухню и людскую, а всего более печальное лицо отца, который приходил проститься с нами и перекрестить нас, когда мы ложились спать, – навели на меня сомнение и беспокойство. На мои вопросы отец не имел духу отвечать, что маменька здорова; он только сказал мне, что ей лучше и что, бог милостив, она выздоровеет... Бог точно был к нам милостив, и через несколько дней, проведенных мною в тревоге и печали, повеселевшее лицо отца и уверенья Авенариуса, что маменька точно выздоравливает и что я скоро ее увижу, совершенно меня успокоили. Тут только обратил я все мое внимание, любопытство и любовь на нового братца.

Мы по-прежнему ходили к нему всякий день и видели, как его мыли; но сначала я смотрел на все без участия: я мысленно жил в спальне у моей матери, у кровати больной.

Наконец, не выдавшись с матерью около недели, я увидел ее, бледную и худую, все еще лежащую в постели; зеленые гардинки были опущены, и потому, может быть, лицо ее показалось мне еще бледнее. Отец заранее наказал мне, чтобы я не только не плакал, но и не слишком радовался, не слишком ласкался к матери. Это меня очень смутило: одевать свое горячее чувство в более сдержанные, умеренные выражения я тогда еще не умел: я должен был показаться странным, не тем, чем я был всегда, и мать сказала мне: «Ты, Сережа, совсем не рад, что у тебя мать осталась жива...» Я заплакал и убежал. Отец объяснил матери причину моего смущения. Мне дали проплакаться немножко и опять позвали в спальню. Мать нежно приласкала меня и сестрицу (меня особенно) и сказала: «Не бойтесь, мне не будет вредна ваша любовь». Я обнял мать, плакал на ее груди и шептал: «Я сам бы умер,

если б вы умерли».

Видно, мать почувствовала, что ее слишком волнует свиданье с нами, потому что вдруг и торопливо сказала: «Подите к братцу: его скоро будут крестить». Мы прямо пошли к братцу. Его только что вымыли, одели в новую распашонку, завернули в новую простынку и в розовое атласное одеяльце: он, разумеется, плакал; мне стало жалко, но у груди кормилицы он сейчас успокоился. Видя приготовления к крестинам и слыша, что говорят о них, я попросил объяснения этому, неслыханному и невиданному мною, делу. Мне объяснили, и я захотел непременно быть крестным отцом моего братца. Мне говорили, что этого нельзя, что я маленький, что у меня нет кумы, но последнее препятствие я сейчас преодолел, сказав, что кумой будет моя сестрица. Видя мое упорство и не желая довести меня до слез, меня обманули, как я после узнал, то есть поставили вместе с сестрицей рядом с настоящим кумом и кумой. Крещение, символических таинств которого я не понимал, возбудило во мне сильное внимание, изумление и даже страх: я боялся, что священник порежет ножницами братцыну головку, а погружение младенца в воду заставило меня вскрикнуть от испуга... Но я неотступными просьбами выпросил позволение подержать на своих руках моего крестного сына, – разумеется, его придерживала бабушка-повитушка, – и я долго оставался в приятном заблуждении, что братец мой крестный сын, и даже, прощаясь, всегда его крестил.

Через несколько дней нас перевели из столовой в прежнюю детскую комнату. Мать поправлялась медленно, домашними делами почти не занималась, никого, кроме доктора, Чичаговых и К.А.Чепруновой, не принимала; я был с нею безотлучно. Я читал матери вслух разные книги для ее развлечения, а иногда для ее усыпления, потому что она как-то мало спала по ночам. Книги для развлечения получала она из библиотеки С.И.Аничкова; для усыпления же употреблялись мои детские книжки, а также «Херасков» и «Сумароков». В числе первых особенно памятна мне «Жизнь английского философа Клевеланда»,³² кажется, в пятнадцати томах, которую я читал с большим удовольствием. Кроме чтения я очень скоро привык ухаживать за больною матерью и в известные часы подавать ей лекарства, не пропуская ни одной минуты; в горничной своей она не имела уже частой надобности, я призывал ее тогда, когда было нужно. Мать была очень этим довольна, потому что не любила присутствия и сообщества слуг и служанок. Мысль, что я полезен матери, была мне очень приятна, я даже гордился тем. Часто и подолгу разговаривая со мною наедине, она, кажется, увидела, что я могу понимать ее более, чем она предполагала. Она стала говорить со мною о том, о чем прежде не говаривала. Я это заметил потому, что иногда предмет разговора превышал мой возраст и мои понятия.

Нередко детские мои вопросы изобличали мое непониманье, и мать вдруг переменяла разговор, сказав: «Об этом мы поговорим после». Мне особенно было неприятно, когда мать, рассуждая со мной, как с большим, вдруг переменяла склад своей речи и начинала говорить, применяясь к моему детскому возрасту. Самолюбие мое всегда оскорблялось такою внезапной переменной, а главное – мыслью матери, что меня так легко обмануть.

Впоследствии я стал хитрить, притворяясь, что все понимаю хорошо, и не предлагая вопросов. Между прочим, мать рассказывала мне, как ей не хочется уезжать на житье в деревню. У нее было множество причин; главные состояли в том, что Багрово сыро и вредно ее здоровью, что она в нем будет непременно хворать, а помощи получить неоткуда, потому что лекарей близко нет; что все соседи и родные ей не нравятся, что все это люди грубые и необразованные, с которыми ни о чем ни слова сказать нельзя, что жизнь в деревенской глуши, без общества умных людей, ужасна, что мы сами там поглупеем. «Одна моя надежда, – говорила мать, – Чичаговы; по счастью, они переезжают тоже в деревню и станут жить в тридцати верстах от нас. По крайней мере, хотя несколько раз в год будет с ними отвести душу». Не понимая всего вполне, я верил матери и разделял ее грустное опасенье.

³² «Жизнь английского философа Клевеланда» нравоучительный роман французского писателя Прево д'Эксия, переведенный на русский язык во второй половине XVIII века.

Предполагаемая поездка к бабушке Куролесовой в Чурасово и продолжительное там гошение матери также не нравилось; она еще не знала Прасковьи Ивановны и думала, что она такая же, как и вся родня моего отца; но впоследствии оказалось совсем другое. Милая моя сестрица, до сих пор не понимаю отчего, очень грустила, расставаясь с Уфой.

Как только мать стала оправляться, отец подал просьбу в отставку; в самое это время приехали из полка мои дяди Зубины; оба отставили службу и вышли в чистую, то есть отставку; старший с чином майора, а младший – капитаном. Все удивлялись этой разнице в чинах; оба брата были в одно число записаны в гвардию, в одно число переведены в армейский полк капитанами и в одно же число уволены в отставку. Я очень обрадовался им, особенно дяде Сергею Николаичу, который, по моему мнению, так чудесно рисовал. Я напомнил ему, как он дразнил меня, когда я был маленький, и прибавил, с чувством собственного достоинства, что теперь уже нельзя раздражить меня какими-нибудь пустяками. Дядя на прощанье нарисовал мне бесподобную картину на стекле: она представляла болото, молодого охотника с ружьем и легавую собаку, белую, с кофейными пятнами и коротко отрубленным хвостом, которая нашла какую-то дичь, вытянулась над ней и подняла одну ногу. Эта картинка была как бы пророчеством, что я со временем буду страстным ружейным охотником. Сергей Николаич сам был горячий стрелок. Оба дяди очень были огорчены, что мы переезжаем на житье в деревню.

Не дождавшись еще отставки, отец и мать совершенно собрались к переезду в Багрово. Вытребовали оттуда лошадей и отправили вперед большой обоз с разными вещами. Распростились со всеми в городе и, видя, что отставка все еще не приходит, решились ее не дожидаться. Губернатор дал отцу отпуск, в продолжение которого должно было выйти увольнение от службы; дяди остались жить в нашем доме: им поручили продать его.

Мы выехали из Уфы около того же числа, как и два года тому назад. Только помещались уже не так: с матерью вместе сидела кормилица с нашим маленьким братцем, а мы с сестрицей и Парашей ехали в какой-то коляске на пазах, которая вся дребезжала и бренчала, что нас очень забавляло. Мы ехали по той же дороге, останавливались на тех же местах, так же удили на Деме, так же пробыли в Парашине полторы суток и так же все осматривали. Я принял в другой раз на свою душу такие же приятные впечатления; хотя они были не так уже новы и свежи и не так меня изумляли, как в первый раз, но зато я понял их яснее и почувствовал глубже. Одно Парашино подействовало на меня грустно и тяжело. В этот год там случился неурожай; ржаные хлеба были редки, а яровые – низки и травны. Работы, казалось бы, меньше, а жницы и жнецы скучали ею больше. Один из них, суровый с виду, грубым голосом сказал моему отцу: «Невесело работать, Алексей Степаныч. Не глядел бы на такое поле: козлец да осот. Ходишь день-деньской по десятине да собираешь по колосу». Отец возразил: «Как быть, воля божья...» – и суровый жнец ласково отвечал: «Вестимо так, батюшка!»

Впоследствии понял я высокий смысл этих простых слов, которые успокаивают всякое волнение, умирляют всякий человеческий ропот и под благодатною силою которых до сих пор живет православная Русь. Ясно и тихо становится на душе человека, с верою сказавшего и с верою услышавшего их.

Вообще народ в Парашине был уныл, особенно потому, что к хлебному неурожаю присоединился сильный падеж рогатого скота. Отец говорил об этом долго с Миронычем, и Мироныч, между прочим, сказал: «Это еще не беда, что хлеба мало господь уродил, у нас на селе старого довольно, а у кого неостанет, так господский-то сусек³³ на что? Вот беда крестьянину семьянному, с малыми детьми, когда бог его скотинкой обидит, без молочка ребятам плохо, батюшка Алексей Степаныч. Вот у десятника Архипова было в доме восемь дойных коров, а теперича не осталось ни шерстинки, а ребят куча. Прогневали бога!» Богатое село Парашино часто подвергалось скотским падежам. Отец знал настоящую их

³³ Сусек – загром. (Примеч. автора.)

причину и сказал Миронычу: «Надо поостороже смотреть за кожевниками: они покупают у башкирцев за бесценок кожи сдохлых от чумы коров, и от этого у вас в Парашине так часты падежи». Мироныч почесал за ухом и с недовольным видом отвечал: «Коли от евтого, батюшка Алексей Степаныч, так уж за грехи наши господь посылает свое наслание».³⁴

Отец не забыл спросить о хвором старичке Терентье, бывшем засыпкой. Терентий был тогда же отставлен от всех работ и через год умер. На этот раз багровские старики отозвались об Мироныче, что «он стал маненько позашибаться», то есть чаще стал напиваться пьян, но все еще другого начальника не желали.

Мы выехали из Парашина на заре и приехали кормить на быстрый, глубокий, многоводный Ик. Мы расположились у последнего моста, на самом быстром рукаве реки. Тут я вполне рассмотрел и вполне налюбовался этою великолепною и необыкновенною рыбною рекою. Мы кормили с лишком четыре часа и досыта наудились, даже раков наловили. Ночевали в Коровине, а на другой день, около полден, увидели с горы Багрово. Я в это время сидел в карете с отцом и матерью. В карете было довольно просторно, и когда мать не лежала, тогда нас с сестрицей брали попеременно в карету; но мне доставалось сидеть чаще. День был красный и жаркий. Мать, в самом мрачном расположении духа, сидела в углу кареты; в другом углу сидел отец; он также казался огорченным, но я заметил, что в то же время он не мог без удовольствия смотреть на открывшиеся перед нашими глазами камышистые пруды, зеленые рощи, деревню и дом.

ПРИЕЗД НА ПОСТОЯННОЕ ЖИТЬЕ В БАГРОВО

Когда мы подъехали к дому, бабушка, в полгода очень постаревшая, и тетушка Татьяна Степановна стояли уже на крыльце. Бабушка с искренними, радостными слезами обняла моего отца и мать, перекрестилась и сказала: «Ну, слава богу! Приехали настоящие хозяева. Не чаяла дожидаться вас. Мы с Танюшей дни и часы считали и глазыньки проглядели, глядя на уфимскую дорогу». Мы вошли прямо к бабушке: она жила в дедушкиной горнице, из которой была прорублена дверь в ее прежнюю комнату, где поселилась Татьяна Степановна. Бабушка с тетушкой обедали, когда мы приехали, за маленьким столиком у бабушкиной кровати; прислуга была женская; всех лакеев посылали на полевую работу. Бабушка бросила свой обед. Началась беготня и хлопоты, чтоб накормить нас обедом. Набежала куча девок, проворно накрыли стол в зале, и мы вместе с бабушкой и тетушкой очень скоро сели за обед. Блюд оказалось множество, точно нас ждали, но все кушанья были так жирны, что мать и я с сестрицей встали из-за стола почти голодные. Бабушка, беспрестанно со слезами вспоминая дедушку, кушала довольно; она после обеда, по обыкновению, легла уснуть, а мать и отец принялись распорядиться своим помещением в доме. Новая горница (так ее всегда звали) для молодой барыни была еще не совсем отделана: в ней работали старый столяр Михей и молодой столяр Аким. На первый раз мы поместились в гостиной и в угольной комнате, где жила прежде тетушка; угольная потеряла всю свою прелесть, потому что окна и вся сторона, выходившая на Бугуруслан, были закрыты пристройкою новой горницы для матери. Эта горница отделялась от угольной маленьким коридорчиком с выходом в сад, но двери в него были еще не прорублены. Покуда происходила в доме раскладка, размещение привезенных из Уфы вещей и устройство нового порядка, я с Евсеичем ходил гулять, разумеется с позволения матери, и мы успели осмотреть Бугуруслан, быстрый и омутистый, протекавший углом по всему саду, летнюю кухню, остров, мельницу, пруд и плотину, и на этот раз все мне так понравилось, что в одну минуту изгладились в моем воспоминании все неприятные впечатления, произведенные на меня двукратным пребыванием в Багрове.

³⁴ Снятие кож с чумной скотины воспрещено законом; но башкирцы – плохие законоведцы, а русские кожевники соблазняются дешевизной, и это зло до сих пор не вывелось в Оренбургской губернии. (Примеч. автора.)

Рассказы дворовых мальчишек, бегавших за нами толпою, о чудесном клеве рыбы, которая берет везде, где ни закинь удочку, привели меня в восхищение, и с этой минуты кончилось мое согласие с матерью в неприязненных чувствах к Багрову.

На первых порах отец был очень озабочен своим вступлением в должность полного хозяина, чего непременно требовала бабушка и что он сам считал своей необходимой обязанностью. Но мать, сколько ее ни просили, ни за что в свете не согласилась входить в управление домом и еще менее – в распоряжение оброками, пряжею и тканьем крестьянских и дворовых женщин.

Мать очень твердо объявила, что будет жить гостьей и что берет на себя только одно дело: заказывать кушанья для стола нашему городскому повару Макею, и то с тем, чтобы бабушка сама приказывала для себя готовить кушанье, по своему вкусу, своему деревенскому повару Степану. Об этом было много разговоров и споров. Я заметил, что мать находилась в постоянном раздражении и говорила резко, несмотря на то что бабушка и тетушка говорили с ней почтительно и даже робко. Я один раз сказал ей: «Маменька, вы чем-то недовольны, вы все сердитесь». Она отвечала: «Я не сержусь, мой друг, но огорчаюсь моим положением. Меня здесь никто не понимает. Отец с утра до вечера будет заниматься хозяйством, а ты еще мал и не можешь разделять моего огорчения». Я решительно не понимал, чем может огорчаться мать.

В доме произошло много перемен, прежде чем отделали новую горницу: дверь из гостиной в коридор заделали, а прорубили дверь в угольную; дверь из бывшей бабушкиной горницы в буфет также заделали, а прорубили дверь в девичью. Все это, конечно, было удобнее и покойнее. Все это придумала мать, и все это исполняли с неудовольствием. Недели две продолжалась в доме беспрестанная стукотня от столяров и плотников, не было угла спокойного, а как погода стояла прекрасная, то мы с сестрицей с утра до вечера гуляли по двору и пр саду и по березовой роще, в которой уже поселились грачи и которая потом была прозвана «Грачовой рощей». Я ничего не читал и не писал в это время, и мать всякий день отпускала меня с Евсеичем удить: она уже уверилась в его усердии и осторожности. С каждым днем я более и более пристращался к ужению и с каждым днем открывал новые красоты в Багрове. По глубоким местам в саду и с плотины на мельнице удили мы окуней и плотву такую крупную, что часто я не мог вытащить ее без помощи Евсеича. Начиная же от летней кухни до мельницы, где река разделялась надвое и была мелка, мы удили пескарей, а иногда и других маленьких рыбок. В это время года крупная рыба, как-то: язи, голавли и лини уже не брали, или, лучше сказать (что, конечно, я узнал гораздо позднее), их не умели удить. Вообще ужение находилось тогда в самом первоначальном, младенческом состоянии. Я всего более любил остров. Там было удить и крупную и мелкую рыбу: в старице, тихой и довольно глубокой, брала крупная, а с другой стороны, где Бугуруслан бежал мелко и по чистому дну с песочком и камешками, отлично клевали пескари; да и сидеть под тенью берез и лип, даже без удочки, на покатою зеленом берегу, было так весело, что я и теперь неравнодушно вспоминаю об этом времени. Остров был также любимым местом тетушки, и она сиживала иногда вместе со мной и удила рыбку: она была большая охотница удить.

Наконец кончилась стукотня топором, строганье настрогов и однообразное шипенье пил; это тоже были для меня любопытные предметы: я любил внимательно и подолгу смотреть на живую работу столяров и плотников, мешая им беспрестанными вопросами. Комната моей матери, застроенная дедушкой, была совершенно отделана. Мать отслужила молебен в новой горнице, священник окропил новые стены святою водою, и мы перешли в новое жилье. Под словом мы, я разумею мать, отца и себя. Сестрица и маленький братец поселились в бывшей тетушкиной угольной, а теперь уже в нашей детской комнате. Спальня матери, получившая у прислуги навсегда имя «барыниной горницы», была еще веселее, чем бывшая угольная, потому что она была ближе к реке. Растущая под берегом развесистая молодая береза почти касалась ее стены своими ветвями. Я очень любил смотреть в окно, выходившее на Бугуруслан, из него виднелась даль уремы Бугуруслана, сходявшаяся с уремою речки Кармалки, и между ними крутая и голая вершина Челябинской горы.

Отец точно был занят хозяйством с утра до вечера. Каждый день он ездил в поле; каждый день ходил на конный и скотный двор; каждый день бывал и на мельнице. Приезжал из города какой-то чиновник, собрал всех крестьян, прочел им указ и ввел моего отца во владение доставшимся ему именем по наследству от нашего покойного дедушки. Потом всех крестьян и крестьянок угощал пивом и вином; все кланялись в ноги моему отцу, все обнимали, целовали его и его руку. Многие плакали, вспоминая о покойном дедушке, крестьяне и говоря: «Царство ему небесное». Я один был с отцом: меня также обнимали и целовали, и я чувствовал какую-то гордость, что я внук моего дедушки. Я уже не дивился тому, что моего отца и меня все крестьяне так любят; я убедился, что это непременно так быть должно: мой отец – сын, а я внук Степана Михайлыча. Мать ни за что не согласилась выйти к собравшимся крестьянам и крестьянкам, сколько ни уговаривали ее отец, бабушка и тетушка. Мать постоянно отвечала, что «госпожой и хозяйкой по-прежнему остается матушка», то есть моя бабушка, и велела сказать это крестьянам; но отец сказал им, что молодая барыня нездорова. Все были недовольны, как мне показалось; вероятно, все знали, что барыня здорова. Мне было досадно, что мать не вышла к добрым крестьянам, и совестно, что отец сказал неправду.

Когда мы воротились, я при всех сказал об этом матери, которая стала горячо выговаривать отцу, зачем он солгал. Отец с досадой отвечал: «Совестно было сказать, что ты не хочешь быть их барыней и не хочешь их видеть; в чем же они перед тобой виноваты?..» Странно также и неприятно мне показалось, что в то время, когда отца вводили во владение и когда крестьяне поздравляли его шумными криками: «Здравствуй на многи лета, отец наш Алексей Степаныч!» – бабушка и тетушка, смотревшие в растворенное окно, обнялись, заплакали навзрыд и заголосили.

«О чем плакали бабушка и тетушка?» – спросил я, оставшись наедине с матерью. Мать подумала и отвечала: «Они вспомнили, что целый век были здесь полными хозяйками, что теперь настоящая хозяйка – я, чужая им женщина, что я только не хочу принять власти, а завтра могу захотеть, что нет на свете твоего дедушки – и оттого стало грустно им». – «А почему, маменька, вы не вышли к нашим добрым крестьянам? Они вас так любят». – «А потому, что бабушке и тетушке твоей стало бы еще грустнее; к тому же я терпеть не могу... ну, да ты еще мал и понять меня не можешь». Сколько я ни просил, сколько ни приставал, мать ничего более мне не сказала. Долго мучило меня любопытство, долго ломал я голову: чего мать терпеть не может? Неужели добрых крестьян, которые сами говорят, что нас так любят?..

Стали приезжать к нам тетушки. Первая приехала Аксинья Степановна; в ней я никакой перемены не заметил: она была так же к нам ласкова и добра, как прежде. Потом приехала Александра Степановна с мужем, и я сейчас увидел, что она стала совсем другая; она сделалась не только ласкова и почтительна, но бросалась услуживать моей матери, точно Параша; мать, однако, держала себя с ней совсем неласково. Наконец приехала и Елизавета Степановна с дочерьми. Гордая генеральша, хотя не ластилась так к моему отцу и матери, как Александра Степановна, но также переменяла свое холодное и надменное обращение на внимательное и учтивое. Даже двоюродные сестрицы переменялись. Меньшая из них, Катерина, была живого и веселого нрава; она и прежде нравилась нам больше, теперь же хотели мы подружиться с ней покороче; но, переменявшись в обращении, то есть сделавшись учтивее и приветливее, она была с нами так скрытна и холодна, что оттолкнула нас и не дала нам возможности полюбить ее как близкую родню. Все они гостили в Багрове не подолгу.

Наконец приехали Чичаговы. Искренняя, живая радость матери сообщилась и мне; я бросился на шею к Катерине Борисовне и обнял ее, как родную. Видно, много выражалось удовольствия на моем лице, потому что она, взглянув на мужа, с удивлением сказала: «Посмотри, Петр Иваныч, как Сережа нам обрадовался!» Петр Иваныч в первый раз обратил на меня свое особенное внимание и приласкал меня; в Уфе он никогда не говорил со мной. Его доброе расположение ко мне впоследствии росло с годами, и когда я был уже

гимназистом, то он очень любил меня. Мать Екатерины Борисовны, старушка Марья Михайловна Мертваго, которую и покойный дедушка, как мне сказывали, уважал, имела славу необыкновенно тонкой и умной женщины. Она заняла и заговорила мою бабушку, тетюшку и отца своими ласковыми речами, а моя мать увела Чичаговых в свою спальную, и у них начались самые одушевленные и душевные разговоры. Даже мне приказано было уйти в детскую к моей сестрице. Приезд Чичаговых оживил мать, которая начинала скучать. Дня через три они уехали, взяв слово, что мы приедем погостить к ним на целую неделю. В Багрове каждый год производилась охота с ястребами за перепелками, которых все любили кушать и свежих и соленых. В этот год также были вынуты из гнезда и выкормлены в клетке, называвшейся «садком», два ястреба, из которых один находился на руках у Филиппа, старого сокольника моего отца, а другой – у Ивана Мазана, некогда ходившего за дедушкой, который, несмотря на то что до нашего приезда ежедневно посылался жать, не расставался с своим ястребом и вынашивал его по ночам. Ястребами начали травить, и каждый день поздно вечером приносили множество жирных перепелок и коростелей. Мне очень хотелось посмотреть эту охоту, но мать не пускала. Наконец отец сам поехал и взял меня с собой. Охота мне очень понравилась, и, по уверению моего отца, что в ней нет ничего опасного, и по его просьбам, мать стала отпускать меня с Евсеичем. Я очень скоро пристрастился к травле ястребком, как говорил Евсеич, и в тот счастливый день, в который получал с утра позволение ехать на охоту, с живейшим нетерпением ожидал назначенного времени, то есть часов двух пополудни, когда Филипп или Мазан, выспавшись после раннего обеда, явится с бодрым и голодным ястребом на руке, с собственной своей собакой на веревочке (потому что у обоих собаки гонялись за перепелками) и скажет: «Пора, сударь, на охоту». Роспуски уже давно были запряжены, и мы отправлялись в поле. Я не только любил смотреть, как резвый ястреб догоняет свою добычу, а любил все в охоте: как собака, почуяв след перепелки, начнет горячиться, мотать хвостом, фыркать, прижимая нос к самой земле; как, по мере того как она подбирается к птице, горячность ее час от часу увеличивается; как охотник, высоко подняв на правой руке ястреба, а левою рукою удерживая на сворке горячую собаку, подсвистывая, горячась сам, почти бежит за ней; как вдруг собака, иногда искривясь набок, загнув нос в сторону, как будто окаменеет на месте; как охотник кричит запальчиво «пиль, пиль» и наконец толкает собаку ногой; как, бог знает откуда, из-под самого носа с шумом и чоканьем вырывается перепелка – и уже догоняет ее с распушенными когтями жадный ястреб, и уже догнал, схватил, пронесся несколько сажень, и опускается с добычею в траву или жниву, – на это, пожалуй, всякий посмотрит с удовольствием. Но я также любил смотреть, как охотник, подбежав к ястребу, став на колени и осторожно наклонясь над ним, обмяв кругом траву и оправив его распушенные крылья, начнет бережно отнимать у него перепелку; как потом полакомит ястреба оторванной головкой и снова пойдет за новой добычей; я любил смотреть, как охотник кормит своего ловца, как ястреб щиплет перья и пух, который пристаёт к его окровавленному носу, и как он отряхает, чистит его об рукавицу охотника; как ястреб сначала жадно глотает большие куски мяса и даже небольшие кости и наконец набивает свой зоб в целый кулак величиною. В этой-то любви обнаруживался будущий охотник. Но, увы, как я ни старался выгодно описывать мою охоту матери и сестрице, – обе говорили, что это жалко и противно.

Я прежде сам замечал большую перемену в бабушке; но особенное внимание мое на эту перемену обратил разговор отца с матерью, в который я вслушался, читая свою книжку. «Как переменилась матушка после кончины батюшки, – говорила моя мать, – она даже ростом стала как будто меньше; ничем от души не занимается, все ей стало словно чужое; беспрестанно поминает покойника, даже об сестрице Татьяне Степановне мало заботится. Я ей говорю о том, как бы ее пристроить, выдать замуж, а она и слушать не хочет; только и говорит: „Как угодно богу, так и будет...“» А отец со вздохом отвечал: «Да уж совсем не та матушка! Видно, ей недолго жить на свете». Мне вдруг стало жалко бабушку, и я сказал: «Надо бабушку утешать, чтоб ей не было скучно». Отец удивился моим неожиданным словам, улыбнулся и сказал: «А вы бы с сестрой почаще к ней ходили, старались бы ее

развеселить». И с того же дня мы с сестрицей по несколько раз в день стали бегать к бабушке. Обыкновенно она сидела на своей кровати и пряла на самопрялке козий пух. Вокруг нее, поджав под себя ноги, сидело множество дворовых крестьянских девочек и выбирали волосья из клочков козьего пуха. Выбрав свой клочок, девчонка подавала его старой барыне, которая, посмотрев на свет и не видя в пуху волос, клала в лукошечко, стоявшее подле нее. Если же выбрано было нечисто, то возвращала назад и бранила нерадивую девчонку. Глаза у бабушки были мутны и тусклы; она часто дремала за своим делом, а иногда вдруг отталкивала от себя прялку и говорила: «Ну, что уж мне за пряжа, пора к Степану Михайлычу», и начинала плакать. Мы с сестрицей не умели и приступить к ней сначала и, посидев, уходили; но тетушка научила нас, чем угодить бабушке. Она, несмотря на свое равнодушие к окружающим предметам, сохранила свой прежний аппетит к любимым лакомствам и блюдам. Между прочим, она очень любила вороньи ягоды и жаренные в сметане шампиньоны. Этих ягод было много в саду, или, лучше сказать, в огороде; тетушка ходила с нами туда, указала их, и мы вместе с ней набрали целую полоскательную чашку и принесли бабушке. Она как будто обрадовалась и, сказав: «Знатные ягоды, эки крупные и какие спелые!» – кушала их с удовольствием; хотела и нас попотчевать, но мы сказали, что без позволения маменьки не смеем. Потом тетушка указала нам, где растут шампиньоны. Это была ямочка или, скорее сказать, лощинка среди двора, возле тетушкиного амбара; вероятно, тут было прежде какое-нибудь строение, потому что только тут и родились шампиньоны; у бабушки называлось это место «золотой ямкой»; ее всякий день поливала водой косая и глухая девка Груша.

Также с помощью тетушки мы наковыряли, почти из земли, молоденьких шампиньонов полную тарелку и принесли бабушке; она была очень довольна и приказала нажарить себе целую сковородку. Бабушка опять захотела попотчевать нас шампиньонами, и мы опять отказались. Она махнула рукой и сказала: «Ну, уж какие вы». Услуживая таким образом, мы пускались в разные разговоры с бабушкой, и она становилась ласковее и более нами занималась, как вдруг неожиданный случай так отдалил меня от бабушки, что я долго ходил к ней только здороваться да прощаться. Один раз, когда мы весело разговаривали с бабушкой, рыжая крестьянская девчонка подала ей свой клочок пуха, уже раз возвращенный назад; бабушка посмотрела на свет и, увидя, что есть волосья, схватила одною рукою девочку за волосы, а другою вытащила из-под подушек ременную плетку и начала хлестать бедную девочку... Я убежал. Это напомнило мне народное училище, и я потерял охоту сидеть в бабушкиной горнице, смотреть, как прядет она на самопрялке и как выбирают девчонки козий пух.

После двухнедельного ненастья, или, вернее сказать, сырой погоды, наступило ясное осеннее время. Всякий день по ночам бывали морозы, и, проснувшись поутру, я видел, как все места, не освещенные солнцем, были покрыты белым блестящим инеем. «Вот какой мороз лежит!» – говорил Евсеич, подавая мне одеваться. И точно, широкая и длинная тень нашего дома лежала белая, как скатерть, ярко отличаясь от потемневшей и мокрой земли. Тень укорачивалась, косилась, и снежный иней скоро исчезал при первом прикосновении солнечных лучей, которые и в исходе сентября еще сильнее пригревали. Я очень любил наблюдать, как солнышко сгоняло мороз, и радовался, когда совершенно исчезла противная снежная белизна.

Не знаю отчего, еще ни разу не брал меня отец в поле на крестьянские работы. Он говорил, что ему надо было долго оставаться там и что я соскучусь. Жнитво уже давно кончили; большую часть ржи уже перевезли в гумно; обмолотили горох, вытрясли мак – и я ничего этого не видал! Наконец мороз и солнце высушили остальные снопы, и дружно принялись доканчивать возку, несколько запоздавшую в этот год. Я видел из бабушкиной горницы, как тянулись телеги, нагруженные снопами, к нашему высокому гумну. Это новое зрелище возбудило мое любопытство. Я стал проситься с отцом, который собирался ехать в поле, и он согласился, сказав, что теперь, что он только объедет поля и останется на гумне, а меня с Евсеичем отпустит домой.

Мать также согласилась. С самого Парашина, чему прошло уже два года, я не бывал в хлебном поле и потому с большою радостью уселся возле отца на рспусках. Я предварительно напомнил ему, что не худо было бы взять ружье с собой (что отец иногда делал), и он взял с собой ружье. Живя в городе, я, конечно, не мог получить настоящего понятия, что такое осень в деревне. Все было ново, все изумляло и радовало меня. Мы проехали мимо пруда: на грязных и отлогих берегах его еще виднелись ледяные закрайки; стадо уток плавало посредине. Я просил отца застрелить утку, но отец отвечал, что «уточки далеко и что никакое ружье не хватит до них». Мы поднялись на изволок и выехали в поле. Трава поблекла, потемнела и прилегла к земле; голые крутые взлобки гор стали еще круче и голее, сурчины как-то выше и краснее, потому что листья чилизника и бобовника завяли, облетели и не скрывали от глаз их глинистых бугров; но сурков уже не было: они давно попрятались в свои норы, как сказывал мне отец. Навстречу стали попадаться нам телеги с хлебом, так называемые сноповые телеги. Это были короткие дроги с четырьмя столбиками по углам, между которыми очень ловко укладывались снопы в два ряда, укрепленные сверху гнетом и крепко привязанные веревками спереди и сзади.

Все это растолковал мне отец, говоря, что такой воз не опрокинется и не рассыплется по нашим косогористым дорогам, что умная лошадь одна, без провожатого, безопасно привезет его в гумно. В самом деле, при сноповых возах были только мальчики или девчонки, которые весело шли каждый при своей лошадке, низко кланяясь при встрече с нами. Когда мы приехали на десятины, то увидели, что несколько человек крестьян длинными вилами накладывают воза и только увязывают и отпускают их. Мы поздоровались с крестьянами и сказали им: «Бог на помощь». Они поблагодарили; мы спросили, не видали ли тетеревов. Отвечали, что на скирдах была тьма-тьмушая, да все разлетелись: так ружье и не понадобилось нам. Отец объяснил мне, что большая часть крестьян работает теперь на гумне и что мы скоро увидим их работу. «А хочешь посмотреть, Сережа, как бабы молотят дикушу (гречу)?» – спросил отец. Разумеется, я отвечал, что очень хочу, и мы поехали. Еще издали слышали мы глухой шум, похожий на топот многих ног, который вскоре заглушился звуками крикливых женских голосов. «Вишь, орут, – сказал, смеясь, Евсеич, – ровно наследство делят! Вот оно, бабье-то царство!» Шум и крик увеличивался по мере нашего приближения и вдруг затих. Евсеич опять рассмеялся, сказав: «А, увидали, сороки!» На одной из десятин был расчищен ток, гладко выметенный; на нем, высокою грядой, лежала гречневая солома, по которой ходили взад и вперед более тридцати цепов. Я долго с изумлением смотрел на эту невиданную мною работу. Стройность и ловкость мерных и быстрых ударов привели меня в восхищение. Цепы мелькали, взлетая и падая друг возле друга, и ни один не зацеплял за другой, между тем как бабы не стояли на одном месте, а то подвигались вперед, то отступали назад. Такое искусство казалось мне непостижимым! Чтоб не перерывать работы, отец не здоровался, покуда не кончили полосы или ряда. Подошедший к нам десятник сказал: «Последний проход идут, батюшка Алексей Степаныч. И давеча была, почитай, чиста солома, да я велел еще разок пройти. Теперь ни зернушка не останется». Когда дошли до края, мы оба с отцом сказали обычное «бог на помощь!» и получили обыкновенный благодарственный ответ многих женских голосов. На другом току двое крестьян веяли ворох обмолоченной гречи; ветерок далеко относил всякую дрянь и тощие, легкие зерна, а полные и тяжелые, косым дождем, падали на землю; другой крестьянин сметал метлою ухвостье и всякий сор. Работать было не жарко, в работающих незаметно было никакой усталости, и молотба не произвела на меня тяжелого впечатления, какое получил я на жнитве в Парашине. Мы отправились, по дороге к дому, прямо на гумно. Я вслушался, что десятник вполголоса говорил Евсеичу: «Скажи старосте, что он, али заснул? Не шлет подвод за обмолоченной дикушей». На гумне стояло уже несколько новых высоких ржаных кладей. Когда мы приехали, то вершили одну пшеничающую кладь и только заложили другую, полбенную. На каждой клади стояло по четыре человека, они принимали снопы, которые подавались на вилах, а когда кладь становилась высока, вскидывались по воздуху ловко и проворно; еще с большею ловкостью и проворством ловили снопы на лету

стоявшие на кладях крестьяне. Я пришел в сильнейшее изумление и окончательно убедился, что крестьяне и крестьянки гораздо нас искуснее и ловчее, потому что умеют то делать, чего мы не умеем. У меня загорелось сильное желание выучиться крестьянским работам. Отец нашел на гумне какие-то упущенья и выговаривал старосте, что бока у яровых кладей неровны и что кладка неопрятна; но староста с усмешкой отвечал: «Вы смотрите, батюшка Алексей Степаныч, на оржанные-то клады, – яровые такие не будут; оржаная солома-то длинная, а яровая – коротенькая, снопы-то и ползут». Мне показалось, что отец смутился. Он остался на гумне и хотел прийти пешком, а меня с Евсеичем отправил на лошади домой. Я пересказал матери все виденное мною, с моим обыкновенным волнением и увлечением. Я с восторгом описывал крестьянские работы и с огорчением увидел, уже не в первый раз, что мать слушала меня очень равнодушно, а мое желание выучиться крестьянским работам назвала ребячьими бреднями. Я понасуписался и ушел к сестрице, которая должна была выслушать мой рассказ о крестьянских работах. Надобно признаться, что и она слушала его очень равнодушно. Всего же более досадила мне Параша.

Когда я стал пенять сестре, что она невнимательно слушает и не восхищается моими описаниями, Параша вдруг вмешалась и сказала: «Нечего и слушать. Вот нашли какую невидаль! Очень нужно сестрице вашей знать, как крестьяне молотят да клады кладут...» – и захохотала. Я так рассердился, что назвал Парашу дурой. Она погрозила мне, что пожалуется маменьке, однако ж не пожаловалась. Когда воротился отец, мы с ним досыта наговорились о крестьянских работах. Отец уважал труды крестьян, с любовью говорил о них, и мне было очень приятно его слушать, а также высказывать мои собственные чувства и детские мысли.

Уже весьма поздно осенью отправились мы в Старую Мертовщину к Чичаговым. Сестрица с маленьким братцем остались у бабушки; отец только проводил нас и на другой же день воротился в Багрово к своим хозяйственным делам. Я знал все это наперед и боялся, что мне будет скучно в гостях; даже на всякий случай взял с собой книжки, читанные мною уже не один раз. Но на деле вышло, что мне не было скучно. Когда моя мать уходила в комнату Чичаговой, старушка Мертваго сажала меня подле себя и разговаривала со мной по целым часам. Она умела так расспрашивать и особенно так рассказывать, что мне было очень весело ее слушать. Она в своей жизни много видела, много вытерпела, и ее рассказы были любопытнее книжек. Тут я получил в первый раз настоящее понятие о «пугачевщине», о которой прежде только слыхал мимоходом. Бедная Марья Михайловна с своим семейством жестоко пострадала в это страшное время и лишилась своего мужа, которого бунтовщики убили. У старушки Мертваго я сидел обыкновенно по утрам, а после обеда брал меня к себе в кабинет Петр Иванович Чичагов. Он был и живописец и архитектор: сам построил церковь для своей тещи Марьи Михайловны в саду близехонько от дома, и сам писал все образа. Тут я узнал в первый раз, что такое математический инструмент, что такое палитра и масляные краски и как ими рисуют. Мне особенно нравилось черчение, в чем Чичагов был искусен, и я долго бредил циркулем и рейсфедером. Обладание такими сокровищами казалось мне необыкновенным счастьем. Вдобавок ко всему, Петр Иванович дал мне почитать «Тысячу и одну ночь», арабские сказки. Шехеразада свела меня с ума. Я не мог оторваться от книжки, и добрый хозяин подарил мне два тома этих волшебных сказок: у него только их и было. Мать сначала сомневалась, не вредно ли будет мне это чтение. Она говорила Чичагову, что у меня и без того слишком горячее воображение и что после волшебных сказок Шехеразады я стану бредить наяву; но Петр Иванович как-то умел убедить мою мать, что чтение «Тысячи и одной ночи» не будет мне вредно. Я не понимал его доказательств, но верил в их справедливость и очень обрадовался согласию матери. Кажется, еще ни одна книга не возбуждала во мне такого участия и любопытства! Покуда мы жили в Мертовщине, я читал рассказы Шехеразады урывками, но с полным самозабвением. Прибегу, бывало, в ту отдельную комнату, в которой мы с матерью спали, разверну Шехеразаду, так, чтоб только прочесть страничку, – и забудусь совершенно. Один раз, заметив, что меня нет, мать отыскивала меня, читающего с таким увлечением, что я не слыхал, как она приходила в комнату и как ушла потом. Она привела с собой Чичагова, и я долго не замечал их присутствия и не слышал и не

видел ничего: только хохот Петра Ивановича заставил меня опомниться. Мать воспользовалась очевидностью доказательств и сказала: «Вот видите, Петр Иванович, как он способен увлекаться; и вот почему я считаю вредным для него чтение волшебных сказок». Петр Иванович только смеялся и говорил, что это ничего, что это так быть должно, что это прекрасно! Я очень перепугался. Я не думал, чтобы после такой улики в способности увлекаться до безумия мать в другой раз уступила Чичагову; слава богу, все обошлось благополучно. Мать оставила у меня книги, но запретила мне и смотреть их, покуда мы будем жить в Мертвощине. Опасаясь худших последствий, я, хотя неохотно, повиновался и в последние дни нашего пребывания у Чичаговых еще с большим вниманием слушал рассказы старушки Мертваго, еще с большим любопытством расспрашивал Петра Ивановича, который все на свете знал, читал, видел и сам умел делать; в дополнение к этому он был очень весел и словоохотен. Удивление мое к этому человеку, необыкновенному по уму и дарованиям, росло с каждым днем.

В Мертвощине был еще человек, возбуждавший мое любопытство, смешанное со страхом: это был сын Марьи Михайловны, Иван Борисыч, человек молодой, но уже несколько лет сошедший с ума. Мать ни за что не хотела стеснить его свободу; он жил в особом флигеле, с приставленным к нему слугою, ходил гулять по полям и лесам и приходил в дом, где жила Марья Михайловна, во всякое время, когда ему было угодно, даже ночью. Я видел его каждый день раза по два и по три, но издали. Один раз, когда мы все сидели в гостиной, вдруг вошел Иван Борисыч, небритый, нечесаный, очень странно одетый; бормоча себе под нос какие-то русские и французские слова, кусая ногти, беспрестанно кланяясь набок, поцеловал он руку у своей матери, взял ломберный стол, поставил его посреди комнаты, раскрыл, достал карты, мелки, щеточки и начал сам с собою играть в карты. Катерина Борисовна тихо сказала моей матери, что игра в карты с самим собою составляет единственное удовольствие ее несчастного брата и что он играет мастерски; в доказательство же своих слов попросила мужа поиграть с ее братом в пикет. Петр Иванович охотно согласился, прибавя, что он много раз с ним играл, но выиграть никогда не мог. Я осмелился подойти поближе и стал возле Чичагова.

Иван Борисыч все делал с изумительною скоростью и часто, не дожидаясь розыгрыша игры, вычислив все ходы в уме, писал мелом свой будущий выигрыш или проигрыш. В то же время на лице его появлялись беспрестанные гримасы. Он смеялся каким-то диким смехом, беспрестанно что-то говорил, вставал, кланялся и опять садился. Очевидно было, что он с кем-то мысленно разговаривал, но в то же время это не мешало ему играть с большим вниманием и умением. Сыграв несколько королей и сказав: «Нет, братец, вас никогда не обыграешь», Петр Иванович встал, принес из кабинета несколько медных денег и отдал Ивану Борисычу. Тот был чрезвычайно доволен, подсел к матери и очень долго говорил с ней, то громко, то тихо, то печально, то весело, но всегда почтительно; она слушала с вниманием и участием. Иван Борисыч так бормотал, что нельзя было понять ни одного слова; но его мать все понимала и смотрела на него с необыкновенной нежностью. Наконец она сказала: «Ну, довольно, мой друг Иван Борисович. Я теперь все знаю; подумаю хорошенько о твоём намеренье и дам тебе совет. Ступай с богом в свой флигель». Иван Борисыч сейчас повиновался, с почтеньем поцеловал у нее руку и ушел. Несколько минут все молчали; глаза у старушки были полны слез. Потом она перекрестилась и сказала тихим и торжественным голосом: «Да будет воля господня! Но мать не может привыкнуть видеть свое дитя лишенным разума.

Бедный мой Иван не верит, что государыня скончалась; а как он воображает, что влюблен в нее, любим ею и что он оклеветан, то хочет писать письмо к покойной императрице на французском языке». Все это было для меня совершенно непонятно и непостижимо. Я понимал только одно, как мать любила безумного сына и как сумасшедший сын почтительно повиновался матери. В тот же день, ложась спать в нашей отдельной комнате, я пристал к своей матери со множеством разных вопросов, на которые было очень мудрено отвечать понятным для ребенка образом. Всего более смущала меня возможность

сойти с ума, и я несколько дней следил за своими мыслями и надоедал матери расспросами и сомнениями, нет ли во мне чего-нибудь похожего на сумасшествие? Приезд отца и наш отъезд, назначенный на другой день, выгнали у меня из головы мысли о возможности помешательства. Мы уехали. Я думал только уже об одном: о свидании с милой сестрицей и о том, как буду я читать ей арабские сказки и рассказывать об Иване Борисыче. Дорогою мать очень много говорила с моим отцом о Марье Михайловне Мертваго; хвалила ее и удивлялась, как эта тихая старушка, никогда не возвышавшая своего голоса, умела внушать всем ее окружающим такое уважение и такое желание исполнять ее волю. «Из любви и уважения к ней, – продолжала моя мать, – не только никто из семейства и приезжающих гостей, но даже никто из слуг никогда не поскучал, не посмеялся над ее безумным сыном, хотя он бывает и противен и смешон. Даже над ним она сохраняет такую власть, что во время самого сильного бешенства, которое иногда на него находит, – стоит только появиться Марье Михайловне и сказать несколько слов, чтоб беснующийся совершенно успокоился». Все это понималось и подтверждалось моим собственным чувством, моим детским разумением.

Воротясь в Багрово, я не замедлил рассказать подробно обо всем, происходившем в Старой Мертовщине, сначала милой моей сестрице, а потом и тетушке. По моей живости и непреодолимому, безотчетному желанью передавать другим свои впечатления с точностью и ясностью очевидности, так чтобы слушатели получили такое же понятие об описываемых предметах, какое я сам имел о них, – я стал передразнивать сумасшедшего Ивана Борисыча в его бормотанье, гримасах и поклонах. Видно, я исполнял свою задачу очень удачно, потому что напугал мою сестрицу, и она бегала от меня или зажимала глаза и затыкала уши, как скоро я начинал представлять сумасшедшего. Тетушка же моя, напротив, очень смеялась и говорила: «Ах, какой проказник Сережа! Точь-в-точь Иван Борисыч». Это было мне приятно, и я повторял мои проделки перед Евсеичем, Парашей и другими, заставляя их смеяться и хвалить мое умение передразнивать.

При первом удобном случае начал я читать арабские сказки, надолго овладевшие моим горячим воображением. Все сказки мне нравились; я не знал, которой отдать преимущество! Они возбуждали мое детское любопытство, приводили в изумление неожиданностью диковинных приключений, воспламеняли мои собственные фантазии. Гении, заключенные то в колодезе, то в глиняном сосуде, люди, превращенные в животных, очарованные рыбы, черная собака, которую сечет прекрасная Зобеида и потом со слезами обнимает и целует...

Сколько загадочных чудес, при чтении которых дух занимался в груди! С какою жадностью, с каким ненасытным любопытством читал я эти сказки, и в то же время я знал, что все это выдумка, настоящая сказка, что этого нет на свете и быть не может. Где же скрывается тайна такого очарования? Я думаю, что она заключается в страсти к чудесному, которая более или менее врождена всем детям и которая у меня исключительно не обуздывалась рассудком. Мало того, что я сам читал по обыкновению с увлечением и с восторгом, – я потом рассказывал сестрице и тетушке читанное мной с таким горячим одушевлением и, сказать, самозабвением, что, сам того не примечая, дополнял рассказы Шехеразады многими подробностями своего изобретения; я говорил обо всем, мною читанном, точно как будто сам тут был и сам все видел. Возбудив внимание и любопытство моих слушательниц и удовлетворяя их желанью, я стал перечитывать им вслух арабские сказки – и добавления моей собственной фантазии были замечены и обнаружены тетушкой и подтверждены сестрицей.

Тетушка часто останавливала меня, говоря: «А как же тут нет того, что ты нам рассказывал? Стало быть, ты все это от себя выдумал? Смотри, пожалуй, какой ты хвастун! Тебе верить нельзя». Такой приговор очень меня озадачил и заставил задуматься. Я был тогда очень правдивый мальчик и терпеть не мог лжи; а здесь я сам видел, что точно пригнал много на Шехеразаду. Я сам был удивлен, не находя в книге того, что, казалось мне, я читал в ней и что совершенно утвердилось в моей голове. Я стал осторожнее и наблюдал за собой, покуда не разгорячился; в горячности же я забывал все, и мое пылкое воображение вступало

в безграничные свои права.

Тянулась глубокая осень, уже не сырая и дождливая, а сухая, ветреная и морозная. Морозы без снега доходили до двадцати градусов, грязь превратилась в камень, по прудам ездили на лошадях. Одним словом, стояла настоящая зима, только без санного пути, которого все ждали нетерпеливо. Я давно уже перестал гулять и почти все время проводил с матерью в ее новой горнице, где стояла моя кровать, лежали мои книжки, удочки, снятые с удилищ, и камешки. У отца не было кабинета и никакой отдельной комнаты; в одном углу залы стояло домашнее, Акимовой работы, ольховое бюро; отец все сидел за ним и что-то писал. Нередко стоял перед отцом слепой старик, поверенный Пантелей Григорьич (по прозвищу, никогда не употребляемому, Мягков), знаменитый ходок по тяжёбным делам и знаток в законах, о чем, разумеется, я узнал после. Это был человек гениальный в своем деле; но как мог образоваться такой человек у моего покойного дедушки, плохо знавшего грамоте и ненавидевшего всякие тяжбы? А вот как: Михайла Максимыч Куролесов, через год после своей женитьбы на двоюродной сестре моего дедушки, заметил у него во дворе круглого сироту Пантюшку, который показался ему необыкновенно сметливым и умным; он предложил взять его к себе для обучения грамоте и для образования из него делового человека, которого мог бы мой дедушка употреблять, как поверенного, во всех соприкосновениях с земскими и уездными судами; дедушка согласился. Пантюшка скоро сделался Пантелеем и выказал такие необыкновенные способности, что Куролесов, выпросив согласие у дедушки, послал Пантелея в Москву для полного образования к одному своему приятелю, обер-секретарю, великому законоведцу и знаменитому взяточнику. Через несколько лет Пантелея уже звали Пантелеем Григорьичем, и он получил известность в касте деловых людей. В Москве он женился на мещанке, красавице и с хорошим приданым, Наталье Сергеевой, которая, по любви или по уважению к талантам Пантелея Григорьева, не побоялась выйти за крепостного человека. В самых зрелых летах, кончив с полным торжеством какое-то «судоговоренье» против известного тоже доки по тяжёбным делам и сбив с поля своего старого и опытного противника, Пантелей Григорьич, обедая в этот самый день у своего доверителя, – вдруг, сидя за столом, ослеп. Паралич поразил глазные нервы, вероятно, от усиленного чтения рукописных бумаг, письма и бессонницы, и ничто уже не могло возратить ему зрения. Он полечился в Москве с год и потом переехал с своей женой и дочкой Настенькой в Багрово; но и слепой, он постоянно занимался разными чужими тяжёбными делами, с которыми приезжали к нему поверенные, которые ему читались вслух и по которым он диктовал просьбы в сенат, за что получал по-тогдашнему не малую плату. Вот этот-то Пантелей часто стоял перед моим отцом, слушая бумаги и рассуждая о делах, которые отец намеревался начать. Я как теперь гляжу на него: высокий ростом, благообразный лицом, с длинными русыми волосами, в которых трудно было разглядеть седину, в длинном сюртуке горохового цвета с огромными медными пуговицами, в синих пестрых чулках с красными стрелками и башмаках с большими серебряными пряжками, опирался он на камышовую трость с вызолоченным набалдашником. Это был замечательный представитель старинных слуг, которые уже перевелись и которые очень удачно схвачены Загоскиным в его романах. Ни за что в свете не соглашался Пантелей Григорьич сесть не только при моем отце, но даже при мне, и никогда не мог я от него отбиться, чтоб он не поцеловал моей руки. И память и дар слова были у него удивительные: года, числа указов и самые законы знал он наизусть. Он постоянно держал одного или двух учеников, которые и жили у него в особом флигельке о двух горницах с кухнею, выстроенном им на свой кошт. У него с утра до вечера читали и писали, а он обыкновенно сидел на высокой лежанке согнув ноги, и курил коротенькую трубку; слух у него был так чутко, что он узнавал походку всякого, кто приходил бы к нему в горницу, даже мою. Я охотно и часто ходил бы к нему послушать его рассказов о Москве, сопровождаемых всегда потчеваньем его дочки и жены, которую обыкновенно звали «Сергеевна»; но старик не хотел сидеть при мне, и это обстоятельство, в соединении с потчеваньем, не нравившимся моей матери, заставило меня редко посещать Пантелея Григорьича.

Наконец выпал сильный снег, давно ожидаемый и людьми и природой, как выражалась моя мать. Мы поспешно собрались в дальнюю дорогу. Прасковья Ивановна настоятельно потребовала, чтоб отец показал ей всю свою семью. Ее требование считалось законом, и мы отправлялись по первому зимнему пути, по первозимью, когда дорога бывает гладка как скатерть и еще ехать парами и тройками в ряд. Мы поехали на своих лошадях: я с отцом и матерью в повозке, а сестрица с братцем, Парашей и кормилицей – в возке, то есть крытой рогожей повозке. Я не стану описывать нашей дороги: она была точно так же скучна и противна своими кормежками и ночевками, как и прежние; скажу только, что мы останавливались на целый день в большой деревне Вишенки, принадлежащей той же Прасковье Ивановне Куролесовой. Там был точно такой же удобный и теплый флигель для наезда управляющего, как и в Парашине, даже лучше. В той половине, где некогда останавливался страшный барин, висели картины в золотых рамах, показавшиеся мне чудесными; особенно одна картина, представлявшая какого-то воина в шлеме, в латах, с копьем в руке, едущего верхом по песчаной пустыне. Мне с улыбкой говорили, что все картины покойный Михайла Максимыч (царство ему небесное!) изволил отнять у своих соседей. Отец мой точно так же, как в Парашине, осматривал все хозяйство, только меня с собой никуда не брал, потому что на дворе было очень холодно. Селение Вишенки славилось богатством крестьян, и особенно охотою их до хороших, породистых лошадей, разведенных покойным мужем Прасковьи Ивановны. Многие старики приходили с разными приносами: с сотовым медом, яйцами и живою птицей. Отец ничего не брал, а мать и не выходила к старикам. Очевидно, что и здесь смотрели на нас как на будущих господ, хотя никого из багровских крестьян там не было. Из Вишенки приехали мы в село Троицкое, Багрово тож, известное под именем Старого или Симбирского Багрова. Там был полуразвалившийся домишко, где жил некогда мой дедушка с бабушкой, где родились все мои тетки и мой отец. Я заметил, что отец чуть не заплакал, войдя в старые господские хоромы (так называл их Евсеич) и увидя, как все постарело, подгнило, осело и покосилось. Матери моей очень не понравились эти развалины, и она сказала: «Как это могли жить в такой мурье и где тут помещались?» В самом деле, трудно было отгадать, где тут могло жить целое семейство, в том числе пять дочерей. Видно, небольшие были требования на удобства в жизни. «Это, Сережа, наше родовое имение, – говорил мне отец, – жалованное нам от царей; да теперь половина уж не наша». Эти последние слова произвели на меня какое-то особенное, неприятное впечатление, которого я объяснить себе не умел. Мы приехали поутру, а во время обеда уже полон был двор крестьян и крестьянок. Не знаю отчего, на этот раз, несмотря на мороз, мать согласилась выйти к собравшимся крестьянам и вывела меня. Мы были встречены радостными криками, слезами и упреками: «За что покинули вы нас, прирожденных крестьян ваших!» Мать моя, не любившая шумных встреч и громких выражений любви в подвластных людях, была побеждена искренностью чувств наших добрых крестьян – и заплакала; отец заливался слезами, а я принялся реветь. Ничего не было припасенного, и попотчевать крестьян оказалось нечем. Отец обещал приехать через неделю и тогда угостить всех. Все отвечали, что ничего не нужно, и просили только принять от них «хлеб-соль». Отказать было невозможно, хотя решительно некуда было девать крестьянских гостинцев.

Кое-как отец после обеда осмотрел свое собственное небольшое хозяйство и все нашел в порядке, как он говорил; мы легли рано спать и поутру, за несколько часов до света, выехали в Чурасово, до которого оставалось пятьдесят верст.

ЧУРАСОВО

Мы рано выкормили лошадей в слободе упраздненного городка Тагая и еще засветло приехали в знаменитое тогда село Чурасово. Уже подъезжая к нему, я увидел, что это совсем другое, совсем не то, что видал я прежде. Две каменные церкви с зелеными куполами, одна поменьше, а другая большая, еще новая и неосвященная, красные крыши господского

огромного дома, флигелей и всех надворных строений с какими-то колоколенками – бросились мне в глаза и удивили меня. Когда мы подъехали к парадному крыльцу с навесом, слуги, целою толпой, одетые, как господа, выбежали к нам навстречу, высадили нас из кибиток и под руки ввели в лакейскую, где мы узнали, что у Прасковьи Ивановны, по обыкновению, много гостей и что господа недавно откушали. Едва мать и отец успели снять с себя дорожные шубы, как в зале раздался свежий и громкий голос: «Да где же они? Давайте их сюда!» Двери из залы растворились, мы вошли, и я увидел высокого роста женщину, в волосах с проседью, которая с живостью протянула руки навстречу моей матери и весело сказала: «Насилу я дождалась тебя!» Мать после мне говорила, что Прасковья Ивановна так дружески, с таким чувством ее обняла, что она ту же минуту всею душою полюбила нашу общую благодетельницу и без памяти обрадовалась, что может согласить благодарность с сердечною любовью. Прасковья Ивановна долго обнимала и целовала мою прослезившуюся от внутреннего чувства мать; ласкала ее, охорашивала, подвела даже к окну, чтобы лучше рассмотреть. Мой отец, желая поздороваться с теткой, хотел было поцеловать ее руку, говоря: «Здравствуйте, тетушка!», но Прасковья Ивановна не дала руки. «Я тебя давно знаю, – проговорила она как-то резко, – успеем поздороваться, а вот дай мне хорошенько разглядеть твою жену!» Наконец она сказала: «Ну, кажется, мы друг друга полюбим!» – и обратилась к моему отцу, обняла его очень весело и что-то шепнула ему на ухо. Мы с сестрицей давно стояли перед новой бабушкой, устремив на нее свои глаза, ожидая с каким-то беспокойством ее вниманья и привета. Пришла и наша очередь. «А, это наши Багровы, – продолжала она так же весело. – Я не охотница целовать ребятишек. Ну, да покажите их мне сюда, к свету» (на дворе начинало уже смеркаться). Нас с сестрицей поставили у окошка на стулья, а маленького братца поднесла на руках кормилица. Прасковья Ивановна поглядела на нас внимательно, сдвинув немного свои густые брови, и сказала: «Правду писал покойный брат Степан Михайлыч: Сережа похож на дядю Григорья Петровича, девочка какая-то замухрышка, а маленький сынок какой-то чернушка». Она громко засмеялась, взяла за руку мою мать и повела в гостиную; в дверях стояло много гостей, и тут начались рекомендации, обниманья и целованья. Я получил было неприятное впечатление от слов, что моя милая сестрица замухрышка, а братец чернушка, но, взглянув на залу, я был поражен ее великолепием: стены были расписаны яркими красками, на них изображались незнакомые мне леса, цветы и плоды, неизвестные мне птицы, звери и люди; на потолке висели две большие хрустальные люстры, которые показались мне составленными из алмазов и бриллиантов, о которых начитался я в Шехеразаде; к стенам во многих местах были приделаны золотые крылатые змеи, державшие во рту подсвечники со свечами, обвешанные хрустальными подвесками; множество стульев стояло около стен, все обитые чем-то красным. Не успел я внимательно рассмотреть всех этих диковинок, как Прасковья Ивановна в сопровождении моей матери и молодой девицы с умными и добрыми глазами, но с большим носом и совершенно рябым лицом, воротилась из гостиной и повелительно сказала: «Александра!

Отведи же Софью Николавну и детей в комнаты, которые я им назначила, и устрой их». Рябая девица была Александра Ивановна Ковригина, двоюродная моя сестра, круглая сирота, с малых лет взятая на воспитание Прасковьей Ивановной; она находилась в должности главной исполнительницы приказаний бабушки, то есть хозяйки дома. Она очень радушно и ласково хлопотала о нашем помещении и очень скоро подружилась с моей матерью. Нам отвели большой кабинет, из которого была одна дверь в столовую, а другая – в спальню; спальню также отдали нам; в обеих комнатах, лучших в целом доме, Прасковья Ивановна не жила после смерти своего мужа: их занимали иногда почетные гости, обыкновенные же посетители жили во флигеле. В кабинете, как мне сказали, многое находилось точно в том виде, как было при прежнем хозяине, о котором упоминали с каким-то страхом. На одной стене висела большая картина в раззолоченных рамах, представлявшая седого старичка в цепях, заключенного в тюрьму, которого кормила грудью молодая прекрасная женщина (его дочь, по словам Александры Ивановны), тогда как в окошко с железной решеткой

заглядывали два монаха и улыбались. На других двух стенах также висели картины, но небольшие; на одной из них была нарисована швея, точно с живыми глазами, устремленными на того, кто на нее смотрит. В углу стояло великолепное бюро красного дерева с бронзовою решеткою и бронзовыми полосами и с финифтяными³⁵ бляхами на замках. Мать захотела жить в кабинете, и сейчас из спальни перенесли большую двойную кровать, также красного дерева с бронзою и также великолепную; вместо кровати для меня назначили диван, сестрицу же с Парашей и брата с кормилицей поместили в спальню, откуда была дверь прямо в девичью, что мать нашла очень удобным.

Распорядясь и поручив исполнение Александре Ивановне, мать принарядилась перед большим, на полу стоящим, зеркалом, какого я сроду еще не видывал, и ушла в гостиную; она воротилась после ужина, когда я уже спал. Видно, за ужином было шумно и весело, потому что часто долетал до меня через столовую громкий говор и смех гостей. Добрая Александра Ивановна долго оставалась с нами, и мы очень ее полюбили. Она с какой-то грустью расспрашивала меня подробно о Багрове, о бабушке и тетушках. Я не поскупился на рассказы, и в тот же вечер она получила достаточное понятие о нашей уфимской деревенской жизни и обо всех моих любимых наклонностях и забавах.

Проснувшись на другой день, я увидел весь кабинет, освещенный яркими лучами солнца: золотые рамы картин, люстры, бронза на бюро и зеркалах – так и горели. Обводя глазами стены, я был поражен взглядом швеи, которая смотрела на меня из своих золотых рамок точно как живая – смотрела не спуская глаз. Я не мог вынести этого взгляда и отвернулся; но через несколько минут, поглядев украдкой на швею, увидел, что она точно так же, как и прежде, пристально на меня смотрит; я смутился, даже испугался и, завернувшись с головой своим одеяльцем, смирно пролежал до тех пор, покуда не встала моя мать, не ушла в спальню и покуда Евсеич не пришел одеть меня.

Умываясь, я взглянул сбоку на швею – она смотрела на меня и как будто улыбалась. Я смутился еще более и сообщил мое недоумение Евсеичу; он сам попробовал посмотреть на картину с разных сторон, сам заметил и дивился ее странному свойству, но в заключение равнодушно сказал: «Уж так ее живописец написал, что она всякому человеку в глаза глядит». Хотя я не совсем удовлетворился таким объяснением, но меня успокоило то, что швея точно так же смотрит на Евсеича, как и на меня.

Гости еще не вставали, да и многие из тех, которые уже встали, не приходили к утреннему чаю, а пили его в своих комнатах. Прасковья Ивановна давно уже проснулась, как мы узнали от Параша, оделась и кушала чай в своей спальне. Мать пошла к ней и через ее приближенную, горничную или барскую барыню, спросила: «Можно ли видеть тетушку?» Прасковья Ивановна отвечала: «Можно». Мать вошла к ней и через несколько времени воротилась очень весела. Она сказала: «Тетушка желает вас всех видеть», и мы сейчас пошли к ней в спальню. Прасковья Ивановна встретила нас так просто, ласково и весело, что я простил ей прозвища «замухрышки» и «чернушки», данные ею моей сестрице и братцу, и тут же окончательно полюбил ее. Она никого из нас, то есть из детей, не поцеловала, но долго разглядывала, погладила по головке, мне с сестрицей дала поцеловать руку и сказала: «Это так, для первого раза, я принимаю вас у себя в спальне. Я до ребят не охотница, особенно до грудных; крику их терпеть не могу, да и пахнет от них противно. Ко мне прошу водить детей тогда, когда позову. Ну, Сережа постарше, его и гостям показать. Дети будут пить чай, обедать и ужинать у себя в комнатах; я отдаю вам еще столовую, где они могут играть и бегать; маленьким с большими нечего мешаться. Ну, милая моя Софья Николавна, живи у меня в доме, как в своем собственном: требуй, приказывай – все будет исполнено.

Когда тебе захочется меня видеть – милости прошу; не захочется – целый день сиди у себя: я за это в претензии не буду; я скучных лиц не терплю. Я полюбила тебя, как родную, но себя принуждать для тебя не стану. У меня и все гости живут на таком положении. Я

³⁵ Финифть – эмаль для покрытия металлических изделий и для накладывания узора на фарфор.

собой никому не скучаю, прошу и мне не скучать». После такого объяснения Прасковья Ивановна, которая сама себе наливала чай, стала потчевать им моего отца и мать, а нам приказала идти в свои комнаты. Я осмелился попросить у ней позволения еще раз посмотреть, как расписаны стены в зале, и назвал ее бабушкой. Прасковья Ивановна рассмеялась и сказала: «А, ты охотник до картинок, так ступай с своим дядькой и осмотри залу, гостиную и диванную: она лучше всех расписана; но руками ничего не трогать и меня бабушкой не звать, а просто Прасковьей Ивановной». Отчего не любила она называться бабушкой – не знаю; только во всю ее жизнь мы никогда ее бабушкой не называли. Я не замедлил воспользоваться данным мне позволением и отправился с Евсеичем в залу, которая показалась мне еще лучше, чем вчера, потому что я мог свободнее и подробнее рассмотреть живопись на стенах. Нет никакого сомнения, что живописец был какой-нибудь домашний маляр, равный в искусстве нынешним малярам, расписывающим вывески на цирюльных лавочках; но тогда я с восхищением смотрел и на китайцев, и на диких американцев, и на пальмовые деревья, и на зверей, и на птиц, блиставших всеми яркими цветами. Когда мы вошли в гостиную, то я был поражен не живописью на стенах, которой было немного, а золотыми рамами картин и богатым убранством этой комнаты, показавшейся мне в то же время как-то темною и невеселою, вероятно от кисейных и шелковых гардин на окнах. Какие были диваны, сколько было кресел, и все обитые шелковой синею материей! Какая огромная люстра висела посередине потолка! Какие большие куклы с подсвечниками в руках возвышались на каменных столбах по углам комнаты! Какие столы с бронзовыми решеточками, наборные из разноцветного дерева, стояли у боковых диванов! Какие на них были набраны птицы, звери и даже люди! Особенное же внимание мое обратили на себя широкие зеркала от потолка до полу, с приставленными к ним мраморными столиками, на которых стояли бронзовые подсвечники с хрустальными подвесками, называющиеся канделябрами. Сравнительно с домами, которые я видел и в которых жил, особенно с домом в Багрове, чурасовский дом должен был показаться мне, и показался, дворцом из Шехеразады.

Диванная, в которую перешли мы из гостиной, уже не могла поразить меня, хотя была убрана так же роскошно; но зато она понравилась мне больше всех комнат: широкий диван во всю внутреннюю стену и маленькие диванчики по углам, обитые яркой красной материей, казались стоящими в зеленых беседках из цветущих кустов, которые были нарисованы на стенах. Окна, едва завешанные гардинами, и стеклянная дверь в сад пропускали много света и придавали веселый вид комнате. Прасковья Ивановна тоже ее любила и постоянно сидела или лежала в ней на диване, когда общество было не так многочисленно и состояло из коротко знакомых людей.

Наглядевшись и налюбовавшись вместе с Евсеичем, который ахал больше меня, всеми диковинками и сокровищами (как я думал тогда), украшавшими чурасовский дом, воротился я торопливо в свою комнату, чтоб передать кому-нибудь все мои впечатления. Но у нас в детской³⁶ сидела добрая Александра Ивановна, разговаривая с моей милой сестрицей и лаская моего братца. Она сказала мне, что тетушка занята очень разговорами с моим отцом и матерью и выслала ее, прибавя: «Изволь отсюда убираться». Мне показалось, что Александра Ивановна огорчилась такими словами, и, чтоб утешить ее, я поспешил сообщить, что Прасковья Ивановна и нас всех выслала и не позволила мне называть себя бабушкой. Александра Ивановна печально улыбнулась и сказала: «Прасковья Ивановна не любит называться бабушкой и приказала мне называть ее тетушкой, и я уже привыкла ее так звать. Я ей такая же родная, как и вы: только я бедная девка и сирота, а вы ее наследники». Я ничего не понял; грустно звучали ее слова, и мне как будто стало грустно; но ненадолго. Картины и великолепное убранство дома вдруг представились мне, и я принялся с восторгом рассказывать моей сестрице и другим все виденные мною чудеса. Александра Ивановна

³⁶ Так стали называть бывшую некогда спальню Прасковьи Ивановны. (Примеч. автора.)

беспрестанно улыбалась и наконец тихо промолвила: «Экой ты дитя!» Я был смущен такими словами и как будто охладел в конце моих рассказов. Потом Александра Ивановна начала опять расспрашивать меня про нашу родную бабушку и про Багрово. Я подумал: «Ну что говорить о Багрове после Чурасова?» Но не так, видно, думала Александра Ивановна и продолжала меня расспрашивать обо всех безделицах. Потом она стала сама мне рассказывать про себя: как ее отец и мать жили в бедности, в нужде, и оба померли; как ее взял было к себе в Багрово покойный мой и ее родной дедушка Степан Михайлович, как приехала Прасковья Ивановна и увезла ее к себе в Чурасово и как живет она у ней вместо приемыша уже шестнадцать лет. Вдруг вошла какая-то толстая, высокая и немолодая женщина, которой я еще не знал, и стала нас ласкать и целовать; ее называли Дарьей Васильевной; ее фамилии я и теперь не знаю. Одета она была как-то странно: платье на ней было господское, а повязана она была платком, как дворовая женщина. После я узнал, что платья обыкновенно дарила ей Прасковья Ивановна с своего плеча и требовала, чтобы она носила их, а не прятала. Дарья Васильевна с первого взгляда мне не очень понравилась, да и заметил я, что она с Александрой Ивановной недружелюбно обходилась; но впоследствии я убедился, что она была тоже добрая, хотя и смешная женщина. Прасковья Ивановна привыкла к ней и жаловала ее особенно за прекрасный голос, который у ней и в старости был хорош. Она пустилась растабарывать не с нами, а с Парашей и кормилицей. Александра Ивановна, шепнув мне тихо: «Пришла все выведывать у слуг», ушла с неудовольствием. Оставшись на свободе, я увел сестрицу в кабинет, где мы спали с отцом и матерью, и, позабыв смутившие меня слова «экой ты дитя», принялся вновь рассказывать и описывать гостиную и диванную, украшая все по своему обыкновению. Милая сестрица жалела, что не видала этих комнат и залы, которую она вчера мало разглядела. Мы принялись рассуждать по-своему о Прасковье Ивановне, об Александре Ивановне и о Дарье Васильевне. Сестрица так меня любила, что обо всем думала точно то же, что и я, и мы с ней всегда во всем были согласны.

Между тем дом, который был пуст и тих, когда я его осматривал, начал наполняться и оживляться. В гостиной и диванной появились гости, и Прасковья Ивановна вышла к ним вместе с отцом моим и матерью. Александра Ивановна также явилась к своей должности – занимать гостей, которых на этот раз было человек пятнадцать. Между прочим, тут находились: Александр Михайлыч Карамзин с женой, Никита Никитич Философов с женой, г-н Петин с сестрою, какой-то помещик Бедрин, которого бранила и над которым в глаза смеялась Прасковья Ивановна, М.В.Ленивцев с женой и Павел Иванович Миницкий, недавно женившийся на Варваре Сергеевне Плещеевой; это была прекрасная пара, как все тогда их называли, и Прасковья Ивановна их очень любила: оба молодые, хороши собой и горячо привязаны друг к другу. Через несколько дней Миницкие сделались друзьями с моим отцом и матерью. Они жили в двадцати пяти верстах от Чурасова, возле самого упраздненного городка Тагая, и потому езжали к Прасковье Ивановне каждую неделю, даже чаще. Миницкие, в этот день, вместе с моим отцом, приходили к нам в комнаты и очень нас обласкали. Мы полюбили их, как родных. Перед самым обедом мать пришла за нами и водила нас обоих с сестрицей в гостиную. Прасковья Ивановна показывала нас гостям, говоря: «Вот мои Багровы, прошу любить да жаловать».

А как Сережа похож на дядю Григорья Петровича!» Все ласкали, целовали нас, особенно мою сестрицу, и говорили, что она будет красавица, чем я остался очень доволен. Насчет моего сходства с каким-то прадедушкой никто не сомневался, потому что никто его не видывал. Гости, кроме Миницких, которых я уже знал, мне не очень понравились; особенно невзлюбил я одну молодую даму, которая причиталась в родню моему отцу и которая беспрестанно кривлялась и как-то странно выворачивала глаза. Прасковья Ивановна беспрестанно ее бранила, а та смеялась. Все это показалось мне и странным, и неприятным. Перед самым обедом нас отослали на нашу половину: это название утвердилось за нашими тремя комнатами. Мы прежде никогда не обедали розно с отцом и матерью, кроме того времени, когда мать уезжала в Оренбург или когда была больна, и то мы обедали не одни, а с

дедушкой, бабушкой и тетушкой, и мне такое отлучение и одиночество за обедом было очень грустно. Я не скрыл от матери моего чувства; она очень хорошо поняла его и разделяла со мной, но сказала, что нельзя не исполнить волю Прасковьи Ивановны, что она добрая и очень нас любит. «Впрочем, – прибавила она, – со временем я надеюсь как-нибудь это устроить». Мать ушла. Печально сели мы вдвоем с милой моей сестрицей за обед в большой столовой, где накрыли нам кончик стола, за которым могли бы поместиться десять человек. Начался шум и беготня лакеев, которых было множество и которые не только громко разговаривали и смеялись, но даже ссорились и толкались и почти дрались между собою; к ним беспрестанно прибегали девки, которых оказалось еще больше, чем лакеев. Из столовой был коридор в девичью, и потому столовая служила единственным сообщением в доме; на лаковом желтом ее полу была протоптана дорожка из коридора в лакейскую. Тут-то нагледелись мы с сестрой и наслушались того, о чем до сих пор понятия не имели и что, по счастью, понять не могли. Евсеич и Параша, бывшие при нас неотлучно, сами пришли в изумление и даже страх от наглого бесстыдства и своеволия окружавшей нас прислуги. Я слышал, как Евсеич шепотом говорил Параше: «Что это! Господи!

Куда мы попали? Хорош господский, богатый дом! Да это разбой денной!»

Параша отвечала ему в том же смысле. Между тем об нас совершенно забыли.

Остатки кушаний, приносимых из залы, ту же минуту нарасхват съедались жадными девками и лакеями. Буфетчик Иван Никифорович, которого величали казначеем, только и хлопотал, кланялся и просил об одном, чтоб не трогали блюд до тех пор, пока не подадут их господам за стол. Евсеич не знал, что и делать. На все его представления и требования, что «надобно же детям кушать», не обращали никакого внимания, а казначей, человек смирный, но нетрезвый, со вздохом отвечал: «Да что же мне делать, Ефрем Евсеич? Сами видите, какая вольница! Всякий день, ложась спать, благодарю господа моего бога, что голова на плечах осталась. Просите особого стола». Евсеич пришел в совершенное отчаянье, что дети останутся не кушамши; жаловаться было некому: все господа сидели за столом. Усердный и горячий дядька мой скоро, однако, принял решительные меры. Прежде всего он перевел нас из столовой в кабинет, затворил дверь и велел Параше запереться изнутри, а сам побежал в кухню, отыскал какого-то поваренка из багровских, велел сварить для нас суп и зажарить на сковороде битого мяса. Евсеич поспешно воротился к нам и стал ожидать конца обеда, чтоб немедленно вызвать через кого-нибудь нашу мать и чтобы донести обо всем происходившем в столовой. Вслед за стуком отодвигаемых стульев и кресел прибежала к нам Александра Ивановна. Узнав, что мы и не начинали обедать, она очень встревожилась, осердилась, призвала к ответу буфетчика, который, боясь лакеев, бессовестно солгал, что никаких блюд не осталось и подать нам было нечего. Хотя Александра Ивановна, представляя в доме некоторым образом лицо хозяйки, очень хорошо знала, что это бессовестная ложь, хотя она вообще хорошо знала чурасовское лакейство и сама от него много терпела, но и она не могла себе вообразить, чтоб могло случиться что-нибудь похожее на случившееся с нами. Она вызвала к себе дворецкого Николая и даже главного управителя Михайлушку, живших в особенном флигеле, рассказала им обо всем и побожилась, что при первом подобном случае она доложит об этом тетушке. Николай отвечал, что дворня давно у него от рук отбилась и что это давно известно Прасковье Ивановне, а Михайлушка, на которого я смотрел с особенным любопытством, с большою важностью сказал, явно стараясь оправдать лакеев, что это ошибка поваров, что кушанье сейчас подадут и что он не советует тревожить Прасковью Ивановну такими пустяками. Только что они ушли, пришла мать. Александра Ивановна, очень встревоженная, начала ее обнимать и просить у нее прощенья в том, что случилось с детьми. Она прибавила, что если дело дойдет до тетушки, то весь ее гнев упадет на нее, ни в чем тут не виноватую. Мать очень дружески ее успокоила, говоря, что это безделица и что дети поедят после (она уже слышала, что нам готовят особое кушанье) и что тетушка об этом никогда не узнает. Успокоенная Александра Ивановна ушла к гостям, а я принялся подробно рассказывать матери все виденное и слышанное мной. Тут моя мать так взволновалась, что вся покраснела и чуть не заплакала. Она очень благодарила Евсеича, что

он узел нас из столовой, приказала, чтоб мы всегда обедали в кабинете, и строго подтвердила ему и Параше, чтоб чурасовская прислуга никогда и близко к нам не подходила. Евсеич и Параша ушли, а с ними и сестрица.

Оставшись наедине с матерью, я обнял ее и поспешил предложить множество вопросов обо всем, что видел и слышал. Мать очень смущалась и затруднялась ответами. Я уже давно и хорошо знал, что есть люди добрые и недобрые; этим последним словом я определял все дурные качества и пороки. Я знал, что есть господа, которые приказывают, есть слуги, которые должны повиноваться приказаниям, и что я сам, когда вырасту, буду принадлежать к числу господ, и что тогда меня будут слушаться, а что до тех пор я должен всякого просить об исполнении какого-нибудь моего желания. Но как Прасковью Ивановну я считал такою великою госпожой, что ей все должны повиноваться, даже мы, то и трудно было объяснить мне, как осмеливаются слуги не исполнять ее приказаний, так сказать, почти на глазах у ней? Я очень помнил, как она говорила моей матери: «Приказывай – все будет исполняться».

Я сначала думал, что лакеи и девки, пожиравшие остатки блюд, просто хотели кушать, что они были голодны; но меня уверили в противном, и я почувствовал к ним большое отвращение. Неприличных шуток и намеков я, разумеется, не понял и в бесстыдном обращении прислуги видел только грубость и дерзость, замеченную мною у мальчиков в народном училище. Мать утвердила меня в таких мыслях. Но все мои вопросы об Александре Ивановне, об ее положении в доме и об ее отношении к благотельнице нашей Прасковье Ивановне мать оставила без ответа, прибегнув к обыкновенной отговорке, что я еще мал и понять этого не могу. Между тем смирный буфетчик и Евсеич принесли нам обед; позвали сестрицу, и мы, порядочно проголодавшись, поели очень весело и аппетитно, особенно потому, что маменька сидела с нами. После нашего позднего обеда мать ушла к гостям, а мы с сестрицей принялись устраивать мое маленькое хозяйство, состоявшее в размещении книжек, бумаги, чернильницы, линейки и проч. Сверх того у меня был удивительный ларчик, или шкафчик, оклеенный резной костью, в котором находилось восемь ящичков, наполненных моими сокровищами, то есть окаменелостями, чертовыми пальцами и другими редкими камешками, всегда называемыми мною шуфами. Крючки с лесами, грузилами и поплавками, снятые с удилиц, также занимали один из ящичков. Все восемь ящичков запирались вдруг, очень хитрым замком, тайну которого я хранил от всех, кроме сестрицы. Для такого диковинного ларца очищалось самое лучшее и видное место. Мы поставили его на бюро и при этом случае пересмотрели вновь, неизвестно в который раз, все мои драгоценности.

Потом приходил к нам отец; мать сказала ему о нашем позднем обеде; он пожалел, что мы были долго голодны, и поспешно ушел, сказав, что он играет с тетушкой в пикет. Вскоре после чаю, который привелось нам пить немедленно после обеда, пришла к нам маменька и сказала, что более к гостям не пойдет и что Прасковья Ивановна сама ее отпустила, заметив по лицу, что она устала. Мать в самом деле казалась утомленною и сейчас после нашего детского ужина легла в постель. Я обрадовался случаю поговорить с нею наедине и порасспросить кое о чем, казавшемся мне непонятным, как вдруг неожиданно явилась Александра Ивановна. Видно было, что она полюбила мою мать, потому что все обнимала ее и говорила с ней очень ласково и даже потихоньку. Я не мог расслушать всех разговоров, но хорошо понял, что Александра Ивановна жаловалась на свое житье, даже плакала, оговариваясь, впрочем, что она не тетушку обвиняет, а свою несчастную судьбу. Хотя мне было жаль ее, но через несколько времени я заснул под шепот ее рассказов.

Проснувшись на следующее утро, услышал я живые разговоры между отцом и матерью. Им не для чего было рано вставать и было о чем переговорить, потому что в продолжение прошедшего дня не имели они свободной минуты побыть друг с другом наедине. Я не подал никакого знака, что не сплю, и слушал с усиленным вниманием. Мать говорила с жаром о Прасковье Ивановне: хвалила ее простой и здравый ум, ее открытый, веселый и прямой нрав, ее правдивые, хотя подчас резкие и грубые, речи. Александра Ивановна успела накануне вечером, когда я заснул, сообщить моей матери много

подробностей о Прасковье Ивановне, которую, по мнению матери, она не умела понять и оценить и в которой она видела только капризность и странности. Мать в свою очередь пересказывала моему отцу речи Александры Ивановны, состоявшие в том, что Прасковью Ивановну за богатство все уважают, что даже всякий новый губернатор приезжает с ней знакомиться; что сама Прасковья Ивановна никого не уважает и не любит; что она своими гостями или забавляется, или ругает их в глаза; что она для своего покоя и удовольствия не входит ни в какие хозяйственные дела, ни в свои, ни в крестьянские, а все предоставила своему поверенному Михайлушке, который от крестьян пользуется и наживает большие деньги, а дворню и лакейство до того избаловал, что вот как они и с нами, будущими наследниками, поступили; что Прасковья Ивановна большая странница, терпеть не может попов и монахов и нищим никому копеечки не подаст; молится богу по капризу, когда ей захочется, – а не захочется, то и среди обедни из церкви уйдет; что священника и причет содержит она очень богато, а никого из них к себе в дом не пускает, кроме попа с крестом, и то в самые большие праздники; что первое ее удовольствие летом – сад, за которым она ходит, как садовник, а зимою любит она петь песни, слушать, как их поют, читать книжки или играть в карты; что Прасковья Ивановна ее, сироту, не любит, никогда не ласкает и денег не дает ни копейки, хотя позволяет выписывать из города или покупать у разносчиков все, что Александре Ивановне вздумается; что сколько ни просили ее посторонние почтенные люди, чтоб она своей внучке-сиротке что-нибудь при жизни назначила, для того чтоб она могла жениха найти, – Прасковья Ивановна и слышать не хотела и отвечала, что Багровы родную племянницу не бросят без куска хлеба и что лучше век оставаться в девках, чем навязать себе на шею мужа, который из денег женился бы на ней, на рябой кукушке, да после и вымещал бы ей за то.

К этому мать прибавила от себя, что, конечно, никто лучше самой Прасковьи Ивановны не узнал на опыте, каково выйти замуж за человека, который женится на богатстве. Все слышанное мною произвело какой-то разлад в моей голове.

Если б мать не сказала прежде, что Александра Ивановна не понимает своей благодетельницы, то я бы поверил Александре Ивановне, потому что она казалась мне такою умною, ласковою и правдивою. Я вдруг обратился к матери с вопросом: «Неужели бабушка Прасковья Ивановна такая недобрая?» Мать удивилась и сказала: «Если б я знала, что ты не спишь, то не стала бы всего при тебе говорить, ты тут ничего не понял и подумал, что Александра Ивановна жалуется на тетушку и что тетушка недобрая; а это все пустяки, одни недогадки и кривое толкованье. Прошу же не говорить об этом ни сестре, ни Евсеичу, ни Параше». Я еще больше спутался в моих понятиях и долго оставался в совершенном недоумении: добрая или не совсем добрая Прасковья Ивановна? Признаюсь, я невольно склонялся на сторону Александры Ивановны.

Рассуждая теперь беспристрастно, я должен сказать, что Прасковья Ивановна была замечательная, редкая женщина и что явление такой личности в то время и в той среде, в которой она жила, есть уже само по себе изумительное явление. Прасковья Ивановна, еще ребенком выданная замуж родными своей матери за страшного злодея, испытывав действительно все ужасы, какие мы знаем из старых романов и французских мелодрам, уже двадцать лет жила вдовою. Пользуясь независимостью своего положения, доставляемого ей богатством и нравственною чистотою целой жизни, она была совершенно свободна и даже своевольна во всех движениях своего ума и сердца. Мимо корыстных расчетов, окруженная вполне заслуженным общим уважением, эта женщина, не получившая никакого образования, была чужда многих пороков, слабостей и предрассудков, которые неодолимо владели тогдашним людским обществом. Она была справедлива в поступках, правдива в словах, строга ко всем без разбора и еще более к себе самой; она беспощадно обвиняла себя в самых тонких иногда отклонениях от тех нравственных начал, которые понимала; этого мало, – она поправляла по возможности свои ошибки. Без образования, без просвещения, она не могла быть во всем выше своего века и не сознавала своих обязанностей и отношений к 1200 душ подвластных ей людей. Дорожа всего более своим спокойствием, она не занималась

хозяйством, говоря, что в нем ничего не смыслит, и определила главным управителем дворового своего человека, Михайла Максимова, но она нисколько в нем не ошибалась и не вверялась ему, как думали другие. Она говорила: «Я знаю, что Михайлушка тонкая штука: он себя не забывает, пользуется от зажиточных крестьян и набивает свой карман. Я это знаю, но знаю и то, что он человек умный и незлой. Я хочу одного, чтоб мои крестьяне были богаты, а ссор и жалоб и слышать не хочу. Я могла бы получать доходу вдвое больше, но на мой век станет, да и наследником моим останется». В довольстве и богатстве своих крестьян она была уверена, потому что часто наводила стороною справки о них в соседних деревнях, через верных и преданных людей. Ее крестьяне действительно жили богато, это знали все; но многочисленная дворня, вследствие такой системы управления, дошла до крайней степени тунеядства, своеволия и разврата. Если попадался на глаза Прасковье Ивановне пьяный лакей или какой-нибудь дворовый человек, она сейчас приказывала Михайлушке отдать виноватого в солдаты, не годится – спустить в крестьяне. Замечала ли нескромность поведения в женском поле, она опять приказывала Михайлушке: отослать такую-то в дальнюю деревню ходить за скотиной и потом отдать замуж за крестьянина. Но для того, чтоб могли случиться такие строгие и возмутительные наказания, надобно было самой барыне нечаянно наткнуться, так сказать, на виноватого или виноватую; а как это бывало очень редко, то все вокруг нее утопало в беспутстве, потому что она ничего не видела, ничего не знала и очень не любила, чтоб говорили ей о чем-нибудь подобном.

Прасковья Ивановна была набожна без малейшей примеси ханжества и совершенно свободно относилась ко многим церковным обрядам и к соблюдению постов. Она выстроила новую каменную большую церковь, потому что прежняя слишком напоминала своего строителя, покойного ее мужа, о котором она старалась забыть и о котором никогда не упоминала. Она любила великолепие и пышность в храме божием; знала наизусть весь церковный круг, сама пела с своими певчими, стоя у клироса; иногда подолгу не ходила в церковь, даже большие праздники пропускала, а иногда заставляла служить обедни часто. Всего же страннее было то, что иногда, помолясь усердно, она вдруг уходила в начале или середине обедни, сказав, что больше ей не хочется молиться, о чем Александра Ивановна говорила с особенным удивлением. Не умея почти писать, она любила читать или слушать светские книги, и, выписывая их ежегодно, она составила порядочную библиотеку, заведенную, впрочем, уже ее мужем.

Священные книги она читала только тогда, когда говела; впрочем, это не мешало ей во время говенья по вечерам для отдыха играть в пикет с моим отцом, если он был тут, или с Александрой Ивановной. Она говаривала в таких случаях, что гораздо меньше греха думать о том, как бы сделать пик или репик,³⁷ чем слушать пустые разговоры и сплетни насчет ближнего или самой думать о пустяках. Говела она не всегда в великий пост, а как ей вздумается, раза по два и по три в год, не затрудняясь употреблением скоромной пищи, если была нездорова; терпеть не могла монахов и монахинь, и никогда черный клубок или черная камилавка не смели показываться ей на глаза. Денег взаймы она давала очень неохотно и также не любила раздачу мелкой милостыни; но, узнав о каком-нибудь несчастном случае с человеком, достойным уваженья, помогала щедро, а как люди, достойные уваженья, встречаются не часто, то и вспоможенья ее были редки и Прасковью Ивановну вообще не считали доброю женщиною. Надобно сказать правду, что доброты, в общественном смысле этого слова, особенно чувствительности, мягкости – в ней было мало, или лучше сказать, эти свойства были в ней мало развиты, а вдобавок к тому она не любила щеголять ими и скрывала их. Правда, не много было людей, которых она любила, потому что она любила только тех, кого уважала. Из всего круга своих многочисленных знакомых она больше всех любила Миницких, а впоследствии мою мать. Наконец, правда и то, что с гостями своими обходилась она слишком бесцеремонно, а иногда и грубовато: всем говорила «ты» и без

³⁷ То есть шестьдесят или девяносто, как теперь выражаются технически игроки. (Примеч. автора.)

всякой пощадой высказывала в глаза все дурное, что слышала об них или что сама в них замечала. Все чувствовали, более или менее сознательно, что Прасковья Ивановна мало принимает участия в других, что она живет больше для себя, бережет свой покой и любит веселую беззаботность своей жизни. Это не мешало, однако, беспрестанному приливу и отливу многочисленной толпы гостей и выражению общего глубокого почтения и преданности. Своекорыстных расчетов тут не могло быть, потому что от Прасковьи Ивановны трудно было чем-нибудь поживиться; итак, это необыкновенное стечение гостей объяснить тем, что хозяйка была всегда разговорчива, жива, весела, даже очень смешлива: лгунов заставляла лгать, вестовщиков – рассказывать вести, сплетников – сплетни; что у ней в доме было жить привольно, сытно, свободно и весело. К сожалению, жалобы Александры Ивановны были не совсем несправедливы. С живущими постоянно в доме: Дарьей Васильевной и двоюродной внучкою-сиротой, то есть с Александрой Ивановной, Прасковья Ивановна обращалась невнимательно и взыскательно, – они были не что иное, как приближенные служанки. Дарья Васильевна, старая и глупая сплетница, хотя и добродушная женщина, не чувствовала униженности своего положения, а очень неглупая и добрая по природе Александра Ивановна, конечно не понимавшая вполне многих высоких качеств своей благодетельницы и не умевшая поставить себя в лучшее отношение, много испытывала огорчений, и только дружба Миницких и моих родителей облегчала тягость ее положения.

Я описывал Прасковью Ивановну такою, какою знал ее сам впоследствии, будучи еще очень молодым человеком, и какою она долго жила в памяти моего отца и матери, а равно и других, коротко ей знакомых и хорошо ее понимавших людей.

Жизнь в Чурасове пошла, как заведенные часы: гости сменялись одни другими, то убывали, то прибывали. Мать с каждым днем приобретала большую благосклонность Прасковьи Ивановны, с каждым днем становилась дружнее с Александрой Ивановной и еще более с Миницкими. Это были поистине прекраснейшие люди, особенно Павел Иванович Миницкий, который с поэтической природой малоросса соединял энергическую деятельность, благородство души и строгость правил; страстно любя свою красавицу жену, так же любившую своего красавца мужа, он с удивительною настойчивостью перевоспитывал ее, истребляя в ней семена тщеславия и суетности, как-то заронившиеся в детстве в ее прекрасную природу. Мать устроила свое время очень хорошо, благодаря совершенной свободе, которую допускала и даже любила в своем доме Прасковья Ивановна. Мать обедала всегда вместе с нами, ранее целым часом общего обеда, за которым она уже мало ела. Сначала нередко раздавался веселый и громкий голос хозяйки: «Софья Николавна, ты ничего не ешь!» Потом, когда она как-то узнала, что гостья уже вполнину обедала с детьми, она посмеялась и перестала ее потчевать. Когда Прасковья Ивановна садилась играть в карты, мать уходила к нам. Впрочем, быть с нею наедине в это время нам мало удавалось, даже менее, чем поутру: Александра Ивановна или Миницкий, если не были заняты, приходили к нам в кабинет; дамы ложились на большую двуспальную кровать, Миницкий садился на диван – и начинались одушевленные и откровенные разговоры, так что нас с сестрицей нередко усылали в столовую или детскую. Однако мать не любила этого переселения, потому что столовая продолжала служить постоянным и беспрестанным путем сообщения девицей с лакейской, в детскую же часто заглядывали горничные.

Мы с сестрицей каждый день ходили к бабушке только здороваться, а вечером уже не прощались; но меня иногда после обеда призывали в гостиную или диванную, и Прасковья Ивановна с коротко знакомыми гостями забавлялась моими ответами, подчас резкими и смелыми, на разные трудные и, должно признаться, иногда нелепые и неприличные для дитяти вопросы; иногда заставляла она меня читать что-нибудь наизусть из «Россиады» или сумароковских трагедий. Я чувствовал, что мною не занимаются, а потешаются; это мне не нравилось, и потому-то именно мои ответы были иногда неприлично резки и не соответствовали моему возрасту и природным свойствам. Мать бранила меня за это наедине, я отвечал, что мне досадно, когда поднимают на смех мои слова, да и говорят со мной только

для того, чтобы посмеяться.

Отец вообще мало был с нами; он проводил время или с Прасковьей Ивановной и ее гостями, всегда играя с ней в карты, или призывал к себе Михайлушку, который был одним из лучших учеников нашего Пантелея Григорьевича, и читал с ним какие-то бумаги. Тут я узнал, что мой отец недаром беседовал в Багрове с слепым нашим поверенным, что он затевает тяжбу с Богдановыми об именье, следовавшем моей бабушке Арине Васильевне Багровой по наследству. Отец ездил для этого дела в город Лукоянов и подал там просьбу; он проездил гораздо более, чем предполагал, и я с огорчением увидел после его возвращения, что мать ссорилась с ним за то, и не один раз.

Еще прежде отец ездил в Старое Багрово и угощал там добрых наших крестьян, о чем, разумеется, я расспросил его очень подробно и с удовольствием услышал, как все сожалели, что нас с матерью там не было.

Я сказал уже, что в Чурасове была изрядная библиотека; я не замедлил воспользоваться этим сокровищем и, с позволения Прасковьи Ивановны, по выбору матери, брал оттуда книги, которые читал с великим наслаждением.

Первая попавшаяся мне книга была «Кадм и Гармония», сочинение Хераскова, и его же «Полидор, сын Кадма и Гармонии». Тогда мне очень нравились эти книги, а напыщенный мерный язык стихотворной прозы казался мне совершенством. Потом прочел я «Арфаксад, халдейская повесть»,³⁸ не помню, чье сочинение, и «Нума, или Процветающий Рим», тоже Хераскова, и много других книг в этом роде. Я заглядывал также в романы, которые особенно любила читать Александра Ивановна; они воспламеняли мое участие и любопытство, но мать не позволяла мне читать их, и я пробегал некоторые страницы только украдкой, потихоньку, в чем, однако, признавался матери и за что она очень снисходительно меня журила. Таким образом мне удалось заглянуть в «Алкивиада»,³⁹ в «Графа Вальмонта, или Заблуждение рассудка»⁴⁰ и в «Достопамятную жизнь Клариссы Гарлов».⁴¹ Не скоро потом удалось мне прочесть эти книги вполне, но отрывки из них так глубоко запали в мою душу, что я не переставал о них думать и только тогда успокоился, когда прочел. Наконец тут же попались «Мои безделки»⁴² Карамзина и его же издание разных стихотворений разных сочинителей, под названием «Аониды».

Эти стихи уже были совсем не то, что стихи Сумарокова и Хераскова. Я почувствовал эту разницу, хотя содержание их меня не удовлетворяло, несмотря на ребячий возраст.

Чтение всех этих новых книг и слушанье разговоров гостей, в числе которых было много людей, тоже совершенно для меня новых, часто заставляло меня задумываться: для думанья же я имел довольно свободного времени. Я рассуждал обо всем с Евсеичем, но он даже не мог понять, о чем я говорю, что желаю узнать и о чем спрашиваю; он частенько говорил мне: «Да что это тебе, соколик, за охота узнавать: отчего да почему, да на что? Этого и старики не знают, а ты еще дитя. Так богу угодно – вот и все. Пойдем-ка лучше посмотрим

³⁸ «Арфаксад» – сочинение Петра Захарьина, изданное в Москве в конце XVIII века.

³⁹ «Алкивиад» – сочинение немецкого писателя Мейснера; в переводе было издано в конце XVIII века.

⁴⁰ «Граф Вальмонт, или Заблуждение рассудка», – роман, перевод с французского, был издан в конце XVIII века.

⁴¹ «Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов» – роман английского писателя С.Ричардсона (1683–1761). Ричардсон является основоположником европейского сентиментализма, в России его произведения были популярны в XVIII веке и в начале XIX века.

⁴² «Мои безделки» – собрание произведений Н.М.Карамзина. Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) – выдающийся русский писатель и историк. Произведения Карамзина сыграли большую роль в развитии русского литературного языка.

картинки».

В этом роде жизнь, с мелкими изменениями, продолжалась с лишком два месяца, и, несмотря на великолепный дом, каким он мне казался тогда, на разрисованные стены, которые нравились мне больше картин и на которые я не переставал любоваться; несмотря на старые и новые песни, которые часто и очень хорошо пела вместе с другими Прасковья Ивановна и которые я слушал всегда с наслаждением; несмотря на множество новых книг, читанных мною с увлечением, — эта жизнь мне очень надоела. Я нетерпеливо желал воротиться из шумного Чурасова в тихое Багрово, в бедный наш дом; я даже соскучился по бабушке и тетушке. Но главною причиною скуки, ясно и тогда мною понимаемою, было то, что я мало проводил времени наедине с матерью. Я уже привык к чистосердечному излиянию всех моих мыслей и чувств в ее горячее материнское сердце, привык поверять свои впечатления ее разумным судом, привык слышать ее живые речи и находить в них необъяснимое удовольствие. В Чурасове беспрестанно нам мешали Миницкие, и особенно Александра Ивановна; они даже отвлекали от меня внимание матери, — и много новых вопросов, сомнений и предположений, беспрестанно возникавших во мне от новых людей и предметов, оставались без окончательного решения, разъяснения, опровержения или утверждения: это постоянно беспокоило меня. Сестрицу я любил час от часу горячее; ее дружба очень утешала меня, но я был старше, более развит и мог только сообщать ей свои мысли, а не советоваться с ней. Несознаваемою мною тогда причиною скуки, вероятно, было лишение полной свободы. Я знал только один кабинет; мне не позволяли оставаться долго в детской у братца, которого я начинал очень любить, потому что у него были прекрасные черные глазки, и которого, бог знает за что, называла Прасковья Ивановна чернушкой. Кроме же кабинета и детской, только на короткое время, непременно с Евсеичем, позволяли мне побегать в столовой. Прасковьи Ивановны я не понимал; верил на слово, что она добрая, но постоянно был недоволен ее обращением со мной, с моей сестрой и братцем, которого она один раз приказала было высечь за то, что он громко плакал; хорошо, что маменька не послушалась. Итак, весьма естественно, что я очень обрадовался, когда стали поговаривать об отъезде. Видно, Прасковья Ивановна очень полюбила мою мать, потому что несколько раз откладывала наш отъезд. «Ну, что тебе там делать, в этой мурье? — говорила она. — Свекровь по тебе не стоскуется, а золовки и подавно. Я тебя ничем не стесняю, а на людях веселее». Мать и не спорила; но отец мой тихо, но в то же время настоятельно докладывал своей тетушке, что долее оставаться нельзя, что уже три почты нет писем из Багрова от сестрицы Татьяны Степановны, что матушка слаба здоровьем, хозяйством заниматься не может, что она после покойника-батюшки стала совсем другая и очень скучает. Он прибавлял, что молотьба и поставка хлеба идет очень плохо и что ему нечем будет жить.

Прасковья Ивановна отвечала, что все это «враки» — и не пособляла моему отцу ни одной копейкой. Наконец мы собрались совсем, и хозяйка согласилась отпустить нас, взяв честное слово с моего отца и матери, что мы непременно приедем в исходе лета и проживем всю осень. «Да, Софья Николавна, — говорила она, — ты еще не видала моего Чурасова; его надо видеть летом, когда все деревья будут покрыты плодами и когда заиграют все мои двадцать родников. Приезжай же непременно. Если муж не поедет, приезжай одна с ребяташками, хоть я до них и не охотница; а всего бы лучше чернушку, меньшего сынка, оставить у бабушки, пусть он ревет там вволю. Если не приедете — осержусь». Отец и мать обещали непременно приехать. Сверх всякого ожидания, бабушка Прасковья Ивановна подарила мне несколько книг, а именно: «Кадм и Гармония». «Полидор, сын Кадма и Гармонии», «Нума, или Процветающий Рим», «Мои безделки» и «Аониды» и этим подарком много примирила меня с собой. Мы уехали на другой день рождения моего отца, то есть 22 февраля. Мы возвращались опять тою же дорогой, через Старое Багрово и Вишенки. Кроме нескольких дней простоя в этих деревнях, мы ехали с лишком восемь дней. Такой тягостной, мучительной дороги я до сих пор и не испытывал. Снега были страшные и — ежедневный буран; дороги иногда и следочка не было, и в некоторых местах не могли мы обойтись без проводников. В восьмой день мы приехали ночевать в Неклюдово к Кальпинским, где

узнали, что бабушка и тетушка здоровы. На другой день поутру, напившись чаю, мы пустились в путь, и часа через два я увидел с горы уже милое мне Багрово.

БАГРОВО ПОСЛЕ ЧУРАСОВА

Багрово было очень печально зимою, а после Чурасова должно было показаться матери моей еще печальнее. Расположенное в лощине между горами, с трех сторон окруженное тощей, голой уремой, а с четвертой – голою горою, заваленной сугробами снега, из которых торчали соломенные крыши крестьянских изб, – Багрово произвело ужасно тяжелое впечатление на мою мать. Но отец и даже я с радостью его увидели. Отец провел в нем свое детство, я начинал проводить. В самом деле, в сравнении с богатым Чурасовым, похожим на город, это были какие-то зимние юрты кочующего народа. В Чурасове крестьянские избы, крытые дранью, с большими окнами, стояли как-то высоко и весело; вокруг них и на улице снег казался мелок: так все было уезжено и укатано; господский двор вычищен, выметен, и дорога у подъезда усыпана песком; около двух каменных церквей также все было прибрано. В Багрове же крестьянские дворы так занесло, что к каждому надо было выкопать проезд; господский двор, по своей обширности, еще более смотрел какой-то пустыней; сугробы казались еще выше, и по верхушкам их, как по горам, проложены были уединенные тропинки в кухню и людские избы.

Все было тихо, глухо, пусто. Строения, утонув в снегу, представлялись низенькими, не похожими на прежних себя. Я сам не могу надивиться, как все это не казалось мне мрачным и грустным... Сурка с товарищами встретил нас на дворе веселым, приветным лаем; две девчонки выскочили посмотреть, на кого лают собаки, и опрометью бросились назад в девичью; тетушка выбежала на крыльцо и очень нам обрадовалась, а бабушка – еще больше: из мутных, бесцветных и как будто потухших глаз ее катились крупные слезы. Она благодарила отца и особенно мать, целовала у ней руки и сказала, что «не ждала нас, зная по письмам, как Прасковья Ивановна полюбила Софью Николавну и как будет уговаривать остаться, и зная, что Прасковье Ивановне нельзя не уважить». Тут я почувствовал всю цену твердости добродушного моего отца, с которою не могла сладить богатая тетка, отдававшая ему все свое миллионное имение и привыкшая, чтоб каждое ее желание исполнялось. К большому огорчению матери, мы нашли целую половину дома холодною. Бог знает из какой экономии, бабушка, не ожидавшая нашего возвращения ранее последнего пути, не приказала топить именно наши комнаты. Делать было нечего: мы все поместились в тетушкиной комнате, а тетушка перешла к бабушке. Через три дня порядок восстановился, и мы поселились на прежних наших местах.

Обогащенный новыми книгами и новыми впечатлениями, которые сделались явственнее в тишине уединения и ненарушимой свободы, только после чурасовской жизни вполне оцененной мною, я беспрестанно разговаривал и о том, и о другом со своей матерью и с удовольствием замечал, что я стал старше и умнее, потому что мать и другие говорили, рассуждали со мной уже о том, о чем прежде и говорить не хотели. Жизнь наша потекла правильно и однообразно. Морозы стояли еще сильные, и меня долго не пускали гулять, даже не пускали, сбегать к Пантелею Григорьевичу и Сергеевне; но отец мой немедленно повидался с своим слепым поверенным, и я с любопытством слушал их разговоры. Отец рассказывал подробно о своей поездке в Лукоянов, о сделках с уездным судом, о подаче просьбы и обещаниях судьи решить дело непременно в нашу пользу; но Пантелей Григорьевич усмехался и, положив обе руки на свою высокую трость, говорил, что верить судье не следует, что он будет мирволить тутошнему помещику и что без правительствующего сената не обойдется; что, когда придет время, он сочинит просьбу, и тогда понадобится ехать кому-нибудь в Москву и хлопотать там у секретаря и обер-секретаря, которых он знал еще протоколистами. «Но будьте благонадежны, государь мой Алексей Степаныч, – сказал в заключение Пантелей Григорьевич. – Дело наше законное, проиграть его нельзя, а могут только затянуть решение». Отец не мог вдруг поверить, что лукояновский судья его обманет,

и сам, улыбаясь, говорил: «Хорошо, Пантелей Григорьич, посмотрим, как решится дело в уездном суде». Предсказания слепого поверенного оправдались впоследствии с буквальной точностью.

Погода становилась мягче. Пришла масленица. Мы с сестрицей катались в санях и в первый раз в жизни видели, как крестьянские и дворовые мальчишки и девочки смело катались с высокой горы от гумна на подмороженных коньках и ледянках. Я чувствовал, что у меня не хватило бы храбрости на такую потеху; но мне весело было смотреть на шумное веселье катающихся; многие опрокидывались вверх ногами, другие налетали на них и сами кувыркались: громкий хохот оглашал окрестные снежные поля и горы, слегка пригреваемые солнечными лучами. У нас с сестрицей была своя, Федором и Евсеичем сделанная горка перед окнами спальни; с нее я не боялся кататься вместе с моей подругой, но вдвоем не так было весело, как в шумном множестве детей, собравшихся с целой деревни, – куда нас не пускали.

Эта масленица памятна для меня тем, что к нам приезжали в гости соседи, никогда у нас не бывавшие. Палагея Ардалионовна Рожнова с сыном Митенькой; она сама была претолстая и не очень старая женщина, сын же ее – урод по своей толщине, а потому особенно было смешно, что мать называла его Митенькой. Впрочем, гости эти возбудили мое и общее любопытство не одной своей толщиной, а причиной своего посещения. Палагея Ардалионовна хотела женить своего сына, и они приезжали смотреть невесту, то есть тетушку мою Татьяну Степановну. Для такого важного события вызвали заранее другую тетушку, Александру Степановну. Мать моя принимала в этом деле живое участие и очень желала, чтобы Татьяна Степановна вышла замуж. Прежде горячее всех желала этого бабушка; но в настоящую минуту она так опустилась, что уже не было у нее горячих желаний. Вот как происходило это посещение: в назначенный день, часов в десять утра, все в доме было готово для приема гостей: комнаты выметены, вымыты и особенно прибраны; деревенские лакеи, ходившие кое в чем, приодеты и приглажены, а также и вся девичья; тетушка разряжена в лучшее свое платье; даже бабушку одели в шелковый шушун и юбку и повязали шелковым платком вместо белой и грязной какой-то тряпицы, которою она повязывалась сверх волосника и которую едва ли переменяла со смерти дедушки. Одним словом, дом принял по возможности нарядный вид, как будто в большой праздник. Только мать и мы остались в обыкновенном своем платье. Наконец раздался крик: «Едут, едут!» Бабушку поспешно перевели под руки в гостиную, потому что она уже плохо ходила, отец, мать и тетка также отправились туда, а мы с сестрицей и даже с братцем, разумеется, с дядькой, нянькой, кормилицей и со всею девичьей, заняли окна в тетушкиной и бабушкиной горницах, чтоб видеть, как подъедут гости и как станут вылезать из повозок. Тут в самом деле было чего посмотреть! Сначала подъехала кожаная кибитка, из которой не без труда вытащили двое дюжих рожновских лакеев свою толстую барыню и взвели на крыльцо, где она и остановилась; потом подъехали необыкновенной величины розвальни, в которых глубоко сидело что-то похожее на небольшую калмыцкую кибитку или копну сена. Тут уже двух лакеев было недостаточно. К ним присоединился наш Федор, тетушкин приданный Николай, а также Мазан и Танайченко. Соединенными силами выгрузили они жениха и втащили на крыльцо; когда же гости вошли в лакейскую раздеваться, то вся девичья бросилась опростеть в коридор и буфет, чтоб видеть, как жених с матерью станут проходить через залу в гостиную. Параша отперла дверь из бабушкиной горницы в лакейскую, обыкновенно запертую на крючок, растворила ее немного, и мы видели, как маменька и сынок освобождались от зимнего платья и теплых платков. Надо сказать правду, что это была диковинная пара! Я не мог вытерпеть и громко сказал Евсеичу: «Ах, это Мавлютка!» Но Евсеич зажал мне рот, едва удерживаясь от смеха. В дверях залы встретил гостей мой отец; после многих взаимных поклонов, рекомендаций и обниманий он повел их в гостиную. Все окружающие нас удивлялись дородству жениха, а Евсеич, сказал: «Эк буря! Посытее будет Мавлютки», повел нас в наши комнаты.

Слова: жених, невеста, сватанье и свадьба были мне давно известны и давно объяснены

матерью настолько, насколько я мог и должен был понимать их, так сказать, внешний смысл. Прилагая тогда мои понятия к настоящему случаю, я говорил Параше и Евсеичу: «Как же тетеньке выйти замуж за Рожнова? Жена должна помогать мужу; она такая сухонькая, а он такой толстый; она его не поднимет, если он упадет». Параша, смеясь, отвечала мне вопросом: «Да зачем же ему падать?» Но у меня было готово неопровержимое доказательство: я возразил, что «сам видел, как один раз отец упал, а маменька его подняла и ему помогла встать». Впоследствии, когда мои слова сделались известны всем тетушкам, они заставляли меня повторять их (всегда без матери) и так хохотали, что приводили меня в совершенное изумление.

Когда нас с сестрицей позвали обедать, все сидели уже за столом. Слава богу, мы только поклонились гостям, а то я боялся, что они будут нас обнимать и как-нибудь задуют. Целый обед я не спускал глаз с жениха: он так ел, что страшно было смотреть. Я заметил, что у всех невольно обращались глаза на его тарелку. Маменька его тоже кушала исправно, но успевала говорить и хвалить своего сына. По ее словам, он был самый смирный и добрый человек, который и мухи не обидит; в то же время прекрасный хозяин, сам ездит в поле, все понимает и за всем смотрит, и что одна у него есть утеха – борзые собачки. Она жаловалась только на его слабое здоровье и говорила, что так бережет его, что спать кладет у себя в опочивальне; она прибавила, с какими-то гримасами на лице, что Митенька будет совсем здоров, когда женится, и что если бог даст ему судьбу, то не несчастна будет его половина. Произнося последние слова, она бросала выразительные взгляды на тетушку Татьяну Степановну, которая краснела и потупляла глаза и лицо в тарелку. После обеда, за которым жених, видно, чересчур покушал, он тотчас начал дремать. Мать извиняла его привычкой отдыхать после обеда; но, видя, что он того и гляди повалится и захрапит, велела заложить лошадей и, рассыпаясь в разных извинениях, намеках и любезностях, увезла своего слабого здоровьем Митеньку. Когда уехали гости, много было шуток и смеху, и тетушка объявила, что ни за что на свете не пойдет за такого урода и увальня, чему я был рад. Жениху дали знать стороною о нерасположении невесты – и дальнейшего формального сватовства не было.

ПЕРВАЯ ВЕСНА В ДЕРЕВНЕ

В середине великого поста, именно на середокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода.

Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною, особого рода волнение. Много содействовали тому разговоры с отцом и Евсеичем, которые радовались весне, как охотники, как люди, выросшие в деревне и страстно любившие природу, хотя сами того хорошенько не понимали, не определяли себе и сказанных сейчас мною слов никогда не употребляли. Находя во мне живое сочувствие, они с увлечением предавались удовольствию рассказывать мне: как сначала обтают горы, как побегут с них ручьи, как спустят пруд, разольется поляная вода, пойдет вверх по полям рыба, как начнут ловить ее вятелями и мордами; как прилетит летняя птица, запоют жаворонки, проснутся сурки и начнут свистать, сидя на задних лапках по своим сурчинам; как зазеленеют луга, оденется лес, кусты и зальются, защелкают в них соловьи... Простые, но горячие слова западали мне глубоко в душу, потрясали какие-то неведомые струны и пробуждали какие-то неизвестные томительные и сладкие чувства.

Только нам троим, отцу, мне и Евсеичу, было не грустно и не скучно смотреть на почерневшие крыши и стены строений и голые сучья дерев, на мокреть и слякоть, на грязные сугробы снега, на лужи мутной воды, на серое небо, на туман сырого воздуха, на снег и дождь, то вместе, то попеременно падавшие из потемневших низких облаков. Заключенный в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я тем не менее следил за каждым шагом весны. В каждой комнате, чуть ли не в каждом окне, были у меня замечены особенные предметы или места, по которым я производил мои наблюдения: из новой

горницы, то есть из нашей спальни, с одной стороны виднелась Челябинская гора, оголявшая постепенно свой крутой и круглый взлобок, с другой – часть реки давно растаявшего Бугуруслана, с противоположным берегом; из гостиной чернелись проталины на Кудринской горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили конопли; из залы стекленелась лужа воды, подтоплявшая грачовую рощу; из бабушкиной и тетушкиной горницы видно было гумно на высокой горе и множество сурчин по ней, которые с каждым днем освобождались от снега. Шире, длиннее становились грязные проталины, полнее наливалось озеро в роще, и, проходя сквозь забор, уже показывалась вода между капустных гряд в нашем огороде.

Все замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны торжествовался, как победа! С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на свои наблюдательные сторожевые места. Чтение, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью – все вылетело у меня из головы. О том, чего не мог видеть своими глазами, получал я беспрестанные известия от отца, Евсеича, из девичьей и лакейской. «Пруд посинел и надулся, ездить по нем опасно, мужик с возом провалился, подпруда подошла под водяные колеса, молотъ уж нельзя, пора спускать воду; Антошкин овраг ночью прошел, да и Мордовский напружился и почернел, скоро никуда нельзя будет проехать; дорожки начали проваливаться, в кухню не пройдешь. Мазан провалился с миской щей и щи пролил, мостки снесло, вода залила людскую баню», – вот что слышал я беспрестанно, и равнодушно принимались все такие известия. Грачи давно расхаживали по двору и начали вить гнезда в грачовой роще; скворцы и жаворонки тоже прилетели. И вот стала появляться настоящая птица, дичь, по выражению охотников. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко летевших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потянулись большими станицами. Евсеич видел нырков и кряковых уток, опустившихся на пруд, видел диких голубей по гумнам, дроздов и пигаиц около родников...

Сколько волнений, сколько шумной радости! Вода сильно прибыла. Немедленно спустили пруд – и без меня. Погода была слишком дурна, и я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили моему любопытству. С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее! Наконец Евсеич с азартом объявил, что «всякая птица валом валит, без перемержки!»

Переполнилась мера моего терпенья. Невозможно стало для меня все это слышать и не видеть, и с помощью отца, слез и горячих убеждений выпросил я позволения у матери, одевшись тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, посидеть на крылечке, выходявшем в сад, прямо над Бугурусланом.

Внутренняя дверь еще не была откупорена. Евсеич обнес меня кругом дома на руках, потому что везде была вода и грязь. В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не выдавши, и чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилетной дичи. Река выступила из берегов, подняла урему на обеих сторонах и, захватив половину нашего сада, слилась с озером грачовой рощи. Все берега пологие были усыпаны всякого рода дичью; множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы: одни летели высоко, не останавливаясь, а другие – низко, часто опускаясь на землю; одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывали с места на место: крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражен, обезумлен таким зрелищем. Отец и Евсеич, которые стояли возле меня, сами находились в большом волнении. Они указывали друг другу на птицу, называли ее по имени, отгадывая часто по голосу, потому что только ближнюю было различить и узнать по перу. «Шилохвостя, шилохвостя-то сколько! – говорил торопливо Евсеич. – Эки стаи! А кряковны-то! батюшки, видимо-невидимо!» – «А слышишь ли, – подхватывал мой отец, – ведь это степняги, кроншнепы заливаются! Только больно высоко. А вот сивки играют над озимями, точно... туча! Веретенников-то сколько! а турухтанов-то –

я уже и не видывал таких стай!» – Я слушал, смотрел и тогда ничего не понимал, что вокруг меня происходило: только сердце то замирало, то стучало, как молотком; но зато после все представлялось, даже теперь представляется мне ясно и отчетливо, доставляло и доставляет неизъяснимое наслаждение!.. и все это понятно вполне только одним охотникам! Я и в ребячестве был уже в душе охотник, и потому судить, что я чувствовал, когда воротился в дом! Я казался, я должен был казаться каким-то полоумным, помешанным; глаза у меня были дикие, я ничего не видел, ничего не слышал, что со мной говорили. Я держался за руку отца, пристально смотрел ему в глаза и с ним только мог говорить, и только о том, что мы сейчас видели.

Мать сердилась и грозила, что не будет пускать меня, если я не образумлюсь и не выброшу сейчас из головы уток и куликов. Боже мой, да разве было это сделать!.. Вдруг грянул выстрел под самыми окнами, я бросился к окошку и увидел дымок, расходящийся в воздухе, стоящего с ружьем Филиппа (старый сокольник) и пуделя Тритона, которого все звали «Трентон», который, держа во рту за крылышко какую-то птицу, выходил из воды на берег. Скоро Филипп пришел с своей добычей: это был кряквенный селезень, как мне сказали, до того красивый пером, что я долго любовался им, рассматривая его бархатную зеленую голову и шею, багряный зоб и темно-зеленые косички в хвосте.

Мало-помалу привык я к наступившей весне и к ее разнообразным явлениям, всегда новым, потрясающим и восхитительным; говорю привык, в том смысле, что уже не приходил от них в исступление. Погода становилась теплая, мать без затруднения пускала меня на крылечко и позволяла бегать по высохшим местам; даже сестрицу отпускала со мной. Всякий день кто-нибудь из охотников убивал то утку, то кулика, а Мазан застрелил даже дикого гуся и принес к отцу с большим торжеством, рассказывая подробно, как он подкрался камышами, в воде, по горло, к двум гусям, плававшим на материке пруда, как прицелился в одного из них, и заключил рассказ словами: «Как ударил, так и не ворохнулся!» Всякий день также стал приносить старый грамотей Мысеич разную крупную рыбу: щук, язёй, голавлей, линей и окуней. Я любил тогда рыбу больше, чем птиц, потому что знал и любил рыбную ловлю, то есть ужение; каждого большого линя, язя или голавля воображал я на удочке, представляя себе, как бы он стал биться и метаться и как было бы весело вытащить его на берег.

Несмотря, однако же, на все предосторожности, я как-то простудился, получил насморк и кашель и, к великому моему горю, должен был оставаться заключенным в комнатах, которые казались мне самой скучною тюрьмою, о какой я только читывал в своих книжках; а как я очень волновался рассказам Евсеича, то ему запретили доносить мне о разных новостях, которые весна беспрестанно приносила с собой; к тому же мать почти не отходила от меня.

Она сама была не совсем здорова. В первый день напала на меня тоска, увеличившая мое лихорадочное состояние, но потом я стал спокойнее и целые дни играл, а иногда читал книжку с сестрицей, беспрестанно подбегая, хоть на минуту, к окнам, из которых виден был весь разлив покойной воды, затопившей огород и половину сада. было даже разглядеть и птицу, но мне не позволяли долго стоять у окошка. Скорому выздоровлению моему мешала бессонница, которая, бог знает отчего, на меня напала. Это расстроивало сон моей матери, которая хорошо спала только с вечера. По совету тетюшки, для нашего усыпления позвали один раз ключницу Пелагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать.

Мать и прежде знала об этом, но она не любила ни сказок, ни сказочниц и теперь неохотно согласилась. Пришла Пелагея, не молодая, но еще белая, румяная и дородная женщина, помолилась богу, подошла к ручке, вздохнула несколько раз, по своей привычке всякий раз приговаривая: «господи помилуй нас, грешных», села у печки, подгорюнилась одною рукой и начала говорить, немного нараспев: «В неким царстве, в неким

государстве...» Это вышла сказка под названием «Аленький цветочек».⁴³ Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не спал долее обыкновенного?

Сказка до того возбудила мое любопытство и воображение, до того увлекла меня, что могла бы вылечить от сонливости, а не от бессонницы. Мать заснула сейчас; но, проснувшись через несколько часов и узнав, что я еще не засыпал, она выслала Пелагею, которая разговаривала со мной об «Аленьком цветочке», и сказыванье сказок на ночь прекратилось очень надолго. Это запрещенье могло бы сильно огорчить меня, если б мать не позволила Пелагее сказывать иногда мне сказки в продолжение дня.

На другой же день выслушал я в другой раз повесть об «Аленьком цветочке». С этих пор, до самого моего выздоровленья, то есть до середины страстной недели, Пелагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок. Более других помню я «Царь-девицу», «Иванушку-дурачка», «Жар-птицу» и «Змея-Горыныча». Сказки так меня занимали, что я менее тосковал об вольном воздухе, не так рвался к оживающей природе, к разлившейся воде, к разнообразному царству прилетевшей птицы. В страстную субботу мы уже гуляли с сестрицей по высохшему двору. В этот день мой отец, тетюшка Татьяна Степановна и тетюшка Александра Степановна, которая на то время у нас гостила, уехали ночевать в Неклюдово, чтобы встретить там в храме божием светлое Христово воскресенье. Проехать было очень трудно, потому что полоя вода хотя и пошла на убыль, но все еще высоко стояла; они пробрались по плотине в крестьянских телегах и с полверсты ехали полоями; вода хватала выше колесных ступиц, и мне сказывали провожавшие их верховые, что тетюшка Татьяна Степановна боялась и громко кричала, а тетюшка Александра Степановна смеялась. Я слышал, как Параша тихо сказала Евсеичу: «Эта чего испугается!» – и дивился тетюшкиной храбрости. С четверга на страстной начали красить яйца: в красном и синем сандале,⁴⁴ в серпухе⁴⁵ и луковых перьях; яйца выходили красные, синие, желтые и бледно-розового, рыжеватого цвета. Мы с сестрицей с большим удовольствием присутствовали при этом крашенье. Но мать умела мастерски красить яйца в мраморный цвет разными лоскутками и шемаханским шелком.

Сверх того, она с необыкновенным искусством простым перочинным ножичком выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова: «Христос воскрес». Она всем приготовила по такому яичку, и только я один видел, как она над этим трудилась. Мое яичко было лучше всех, и на нем было написано: «Христос воскрес, милый друг Сереженька!» Матери было очень грустно, что она не услышит заутрени светлого Христова воскресенья, и она удивлялась, что бабушка так равнодушно переносила это лишение; но бабушке, которая бывала очень богомольна, как-то ни до чего уже не было дела.

Я заснул в обыкновенное время, но вдруг отчего-то ночью проснулся: комната была ярко освещена, кивот с образами растворен, перед каждым образом, в золоченой ризе, теплилась восковая свеча, а мать, стоя на коленях, вполголоса читала молитвенник, плакала

⁴³ Эту сказку, которую слышал я в продолжение нескольких годов не один десяток раз, потому что она мне очень нравилась, впоследствии выучил я наизусть и сам сказывал ее, со всеми прибаутками, ужимками, оханьем и вздыханьем Пелагеи. Я так хорошо ее передразнивал, что все домашние хохотали, слушая меня. Разумеется, потом я забыл свой рассказ; но теперь, восстанавливая давно прошедшее в моей памяти, я неожиданно наткнулся на грудку обломков этой сказки; много слов и выражений ожило для меня, и я попытался вспомнить ее. Странное сочетание восточного вымысла, восточной постройкой и многих, очевидно переводных, выражений с приемами, образами и народною нашею речью, следы прикосновенья разных сказочников и сказочниц, – показали мне стоящими вниманья. Примеч. молодого Багрова.

Чтобы не прерывать рассказа о детстве, эта сказка помещается в приложении. С.А. (Примеч. автора.)

⁴⁴ Сандал – краска, извлекаемая из древесины различных деревьев при помощи спирта или эфира.

⁴⁵ Серпуха – желтая растительная краска для тканей.

и молилась. Я сам почувствовал непреодолимое желание помолиться вместе с маменькой и попросил ее об этом. Мать удивилась моему голосу и даже смутилась, но позволила мне встать. Я проворно вскочил с постели, стал на коленки и начал молиться с неизвестным мне до тех пор особого рода одушевлением; но мать уже не становилась на колени и скоро сказала: «Будет, ложись спать». Я прочел на лице ее, услышал в голосе, что помешал ей молиться. Я из всех сил старался поскорее заснуть, но не скоро утихло детское мое волнение и непостижимое для меня чувство умиления. Наконец мать, помолясь, погасила свечи и легла на свою постель. Яркий свет потух, теплилась только тусклая лампада; не знаю, кто из нас заснул прежде. К большой моей досаде, я проснулся довольно поздно: мать была совсем одета; она обняла меня и, похристосовавшись заранее приготовленным яичком, ушла к бабушке. Вошел Евсеич, также похристосовался со мной, дал мне желтое яичко и сказал: «Эх, соколик, проспал! Ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как солнышко на восходе играет и радуется Христову воскресенью». Мне самому было очень досадно; я поспешил одеться, заглянул к сестрице и братцу, перецеловал их и побежал в тетушкину комнату, из которой видно было солнце, и, хотя оно уже стояло высоко, принялся смотреть на него сквозь мои кулаки. Мне показалось, что солнышко как будто прыгает, и я громко закричал: «Солнышко играет! Евсеич правду сказал». Мать вышла ко мне из бабушкиной горницы, улыбнулась моему восторгу и повела меня христосоваться к бабушке. Она сидела в шелковом платке и шушуне на дедушкиных креслах; мне показалось, что она еще более опустилась и постарела в своем праздничном платье. Бабушка не хотела разгавливаться до получения петой пасхи и кулича, но мать сказала, что будет пить чай со сливками, и увела меня с собою.

Отец с тетушками воротился еще до полден, когда нас с сестрицей только что выпустили погулять. Назад проехали они лучше, потому что воды в ночь много убыло; они привезли с собой петые пасхи, куличи, крутые яйца и четверговую соль. В зале был уже накрыт стол; мы все собрались туда и разговелись. Правду сказать, настоящим-то образом разгавливались бабушка, тетушки и отец: мать постничала одну страстную неделю (да она уже и пила чай со сливками), а мы с сестрицей – только последние три дня; но зато нам было голоднее всех, потому что нам не давали обыкновенной постной пищи, а питались мы ухой из окуней, медом и чаем с хлебом. Для прислуги была особая пасха и кулич. Вся дворня собралась в лакейскую и залу; мы перехристосовались со всеми; каждый получил по кусочку кулича, пасхи и по два красных яйца, каждый крестился и потом начинал кушать. Я заметил, что наш кулич был гораздо белее того, каким разгавливались дворовые люди, и громко спросил: «Отчего Евсеич и другие кушают не такой же белый кулич, как мы?» Александра Степановна с живостью и досадой отвечала мне: «Вот еще выдумал! едят и похуже». Я хотел было сделать другой вопрос, но мать сказала мне: «Это не твое дело». Через час после разгавливания пасхою и куличом приказали подавать обед, а мне с сестрицей позволили еще побегать по двору, потому что день был очень теплый, даже жаркий. Дворовые мальчишки и девочки, несколько принаряженные, иные хоть тем, что были в белых рубашках, почище умыты и с приглаженными волосами, – все весело бегали и начали уже катать яйца, как вдруг общее внимание привлечено было двумя какими-то пешеходами, которые сойдя с Кудринской горы, шли вброд по воде, прямо через затопленную урему. В одну минуту сбежалась вся дворня, и вскоре узнали в этих пешеходах старого мельника Болтуненка и дворового молодого человека, Василия Петрова, возвращающихся от обедни из того же села Неклюдова. По безрассудному намерению пробраться полями к летней кухне, которая соединялась высокими мостками с высоким берегом нашего двора, все угадали, что они были пьяны. Очевидно, что они хотели избежать длинного обхода на мельничную плотину. Конечно, вода уже так сбыва, что в обыкновенных местах доставала не выше колена, но зато во всех ямах, канавках и старицах, которые в летнее время высыхали и которые окружали кухню, глубина была еще значительна. Сейчас начались опасения, что эти люди могут утонуть, попав в глубокое место, что могло бы случиться и с трезвыми людьми; дали знать отцу. Он пришел, увидел опасность и приказал как скорее заложить лошадь в роспуски и

привезть лодку с мельницы, на которой было бы не трудно перевезти на берег этих безумцев. Болтуненок и Васька Рыжий (как его обыкновенно звали), распевая громко песни, то сходясь вместе, то расходясь врозь, потому что один хотел идти налево, а другой – направо, подвигались вперед: голоса их становились явственно слышны. Вся толпа дворовых, к которым беспрестанно присоединялись крестьянские парни и девки, принимала самое живое участие: шумела, смеялась и спорила между собой. Одни говорили, что беды никакой не будет, что только выкупаются, что холодная вода выгонит хмель, что везде мелко, что только около кухни в старице будет по горло, но что они мастера плавать; а другие утверждали, что, стоя на берегу, хорошо растабарывать, что глубоких мест много, а в старице и с руками уйдешь; что одежда на них намокла, что этак и трезвый не выплывет, а пьяные пойдут как ключ ко дну. Забывая, что хотя слышны были голоса, а слов разобрать невозможно, все принялись кричать и давать советы, махая изо всей мочи руками: «Левее, правее, сюда, туда, не туда» и проч.

Между тем пешеходы, попав несколько раз в воду по пояс, а иногда и глубже, в самом деле как будто отрезвились, перестали петь и кричать и молча шли прямо вперед. Вдруг почему-то они переменили направление и стали подаваться влево, где текла скрытая под водою, так называемая новенькая, глубокая тогда канавка, которую только было различить по быстроте течения. Вся толпа подняла громкий крик, которого нельзя было не слышать, но на который не обратили никакого внимания, а может быть и сочли одобрительным знаком, несчастные пешеходы. Подойдя близко к канаве, они остановились, что-то говорили, махали руками, и видно было, что Василий указывал в другую сторону. Наступила мертвая тишина: точно все старались вслушаться, что они говорят... Слава богу, они пошли вниз по канавке, но по самому ее краю. В эту минуту прискакал с лодкой молодой мельник, сын старого Болтуненка.

Лодку подвезли к берегу, спустили на воду; молодой мельник замахал веслом, перебил материк Бугуруслана, вплыл в старицу, как вдруг старый Болтуненок исчез под водою... Страшный вопль раздался вокруг меня и вдруг затих. Все догадались, что старый Болтуненок оступился и попал в канаву; все ожидали, что он вынырнет, всплывет наверх, канавка была узенькая и сейчас было попасть на берег... но никто не показывался на воде. Ужас овладел всеми.

Многие начали креститься, а другие тихо шептали: «Пропал, утонул»; женщины принялись плакать навзрыд. Нас увели в дом. Я так был испуган, поражен всем виденным мною, что ничего не мог рассказать матери и тетушкам, которые принялись меня расспрашивать: «Что такое случилось?» Евсич же с Парашей только впустили нас в комнату, а сами опять убежали. В целом доме не было ни одной души из прислуги. Впрочем, мать, бабушка и тетушки знали, что пьяные люди идут вброд по полям, а как я, наконец, сказал слышанные мною слова, что старый Болтуненок «пропал, утонул», то несчастное событие вполне и для них объяснилось. Тетушки сами пошли узнать подробности этого несчастья и прислать к нам кого-нибудь. Вскоре прибежала глухая бабушка Груша и сестрицыня нянька Параша. Они сказали нам, что старого мельника не могут найти, что много народу с шестами и баграми переехало и перабралось кое-как через старицу, и что теперь хоть и найдут утопленника, да уж он давно захлебнулся. «Больно жалко смотреть, – прибавила Параша, – на ребят и на хворую жену старого мельника, а уж ему так на роду написано».

Все были очень огорчены, и светлый веселый праздник вдруг сделался печален. Что же происходило со мной, трудно рассказать. Хотя я много читал и еще больше слышал, что люди то и дело умирают, знал, что все умрут, знал, что в сражениях солдаты погибают тысячами, очень живо помнил смерть дедушки, случившуюся возле меня, в другой комнате того же дома; но смерть мельника Болтуненка, который перед моими глазами шел, пел, говорил и вдруг пропал навсегда, – произвела на меня особенное, гораздо сильнее впечатление, и утонуть в канавке показалось мне гораздо страшнее, чем погибнуть при каком-нибудь кораблекрушении на беспредельных морях, на бездонной глубине (о кораблекрушениях я

много читал). На меня напал безотчетный страх, что каждую минуту может случиться какое-нибудь подобное неожиданное несчастье с отцом, с матерью и со всеми нами. Мало-помалу возвращалась наша прислуга. У всех был один ответ: «Не нашли Болтуnenка».

Давно уже прошло обычное время для обеда, который бывает ранее в день разговенья. Наконец накрыли стол, подали кушать и послали за моим отцом. Он пришел огорченный и расстроенный. Он с детских лет своих знал старого мельника Болтуnenка и очень его любил. Обед прошел грустно, и, как только встали из-за стола, отец опять ушел. До самого вечера искали тело несчастного мельника. Утомленные, передрогшие от мокрети и голодные люди, не успевшие даже хорошенько разговеться, возвращались уже домой, как вдруг крик молодого Болтуnenка: «Нашел!» – заставил всех воротиться. Сын зацепил багром за зипун утонувшего отца и при помощи других с большим усилием вытащили его труп. Оказалось, что утонувший как-то попал под оголившийся корень старой ольхи, растущей на берегу не новой канавки, а глубокой старицы, огибавшей остров, куда снесло тело быстротою воды. Как скоро весть об этом событии дошла до нас, опять на несколько времени опустел наш дом: все сбегали посмотреть утопленника и все воротились с такими страшными и подробными рассказами, что я не спал почти всю ночь, воображая себе старого мельника, дрожа и обливаясь холодным потом. Но я имел твердость одолеть мой ужас и не будить отца и матери. Прошла мучительная ночь, стало светло, и на солнечном восходе затихло, улеглось мое воспаленное воображение – я сладко заснул.

Погода переменилась, и остальные дни святой недели были дождливы и холодны. Дождя выпало так много, что сбывавшая полая вода, подкрепленная дождями и так называемую земляною водою, вновь поднялась и, простояв на прежней высоте одни сутки, вдруг слила. В то же время также вдруг наступила и летняя теплота, что бывает часто в апреле. В конце Фоминой недели началась та чудная пора, не всегда являющаяся дружно, когда природа, пробудясь от сна, начнет жить полною, молодою, торопливою жизнью: когда все переходит в волнение, в движение, в звук, в цвет, в запах. Ничего тогда не понимая, не разбирая, не оценивая, никакими именами не называя, я сам почуял в себе новую жизнь, сделался частью природы, и только в зрелом возрасте сознательных воспоминаний об этом времени сознательно оценил всю его очаровательную прелесть, всю поэтическую красоту. Тогда я узнал то, о чем догадывался, о чем мечтал, встречая весну в Уфе, в городском доме, в дрянном саду или на грязной улице. В Сергеевку я приехал уже поздно и застал только конец весны, когда природа достигла полного развития и полного великолепия; беспрестанного изменения и движения вперед уже не было.

Горестное событие, смерть старого мельника, скоро было забыто мной, подавлено, вытеснено новыми, могучими впечатлениями. Ум и душа стали чем-то полны, какое-то дело легло на плечи, озабочивало меня, какое-то стремление овладело мной, хотя в действительности я ничем не занимался, никуда не стремился, не читал и не писал. Но до чтения ли, до письма ли было тут, когда душистые черемухи зацветают, когда пучок на березах лопается, когда черные кусты смородины опушаются беловатым пухом распускающихся сморщенных листочков, когда все скаты гор покрываются подснежными тюльпанами, называемыми сон, лилового, голубого, желтоватого и белого цвета, когда полезут везде из земли свернутые в трубочки травы и завернутые в них головки цветков; когда жаворонки с утра до вечера висят в воздухе над самым двором, рассыпаясь в своих журчащих, однообразных, замирающих в небе песнях, которые хватали меня за сердце, которых я заслушивался до слез; когда божьи коровки и все букашки выползают на божий свет, крапивные и желтые бабочки замелькают, шмели и пчелы жужжат; когда в воде движение, на земле шум, в воздухе трепет, когда и луч солнца дрожит, пробиваясь сквозь влажную атмосферу, полную жизненных начал...

А сколько было мне дела, сколько забот! Каждый день надо было два раза побывать в роще и осведомиться, как сидят на яйцах грачи; надо было послушать их докучных криков; надо было посмотреть, как разворачиваются листья на сиренях и как выпускают они сизые кисти будущих цветов; как поселяются зорьки и малиновки в смородинных и барбарисовых

кустах; как муравьиные кучи ожили, зашевелились; как муравьи показались сначала понемногу, а потом высыпали наружу в бесчисленном множестве и принялись за свои работы; как ласточки начали мелькать и нырять под крыши строений в старые свои гнезда; как клохтала наседка, оберегая крошечных цыплят, и как коршуны кружились, плавали над ними... О, много было дела и заботы мне! Я уже не бегал по двору, не катал яиц, не качался на качелях с сестрицей, не играл с Суркой, а ходил и чаще стоял на одном месте, будто невеселый и беспокойный, ходил, глядел и молчал против своего обыкновения. Обветрил и загорел я, как цыган. Сестрица смеялась надо мной. Евсейч не мог надивиться, что я не гуляю как следует, не играю, не прошусь на мельницу, а все хожу и стою на одних и тех же местах. «Ну, чего, соколик, ты не видал тут?» – говорил он. Мать также не понимала моего состояния и с досадою на меня смотрела; отец сочувствовал мне больше. Он ходил со мной подглядывать за птичками в садовых кустах и рассказывал, что они завивают уж гнезда. Он ходил со мной и в грачовую рошу и очень сердился на грачей, что они сушат вершины берез, ломая ветви для устройства своих уродливых гнезд, даже грозился разорить их. Как был отец доволен, увидев в первый раз медуницу!

Он научил меня легонько выдергивать лиловые цветки и сосать белые, сладкие их корешочки. И как он еще более обрадовался, услыша издали, также в первый раз, пение варакушки. «Ну, Сережа, – сказал он мне, – теперь все птички начнут петь: варакушка первая запекает. А вот когда оденутся кусты, то запоют наши соловьи, и еще веселее будет в Багрове!»

Наконец пришло и это время: зазеленела трава, распустились деревья, оделись кусты, запели соловьи – и пели, не устая, и день и ночь. Днем их пенье не производило на меня особенного впечатления; я даже говорил, что и жаворонки поют не хуже; но поздно вечером или ночью, когда все вокруг меня утихало, при свете потухающей зари, при блеске звезд, соловьиное пение приводило меня в волнение, в восторг и сначала мешало спать. Соловьев было так много и ночью они, казалось, подлетали так близко к дому, что, при закрытых ставнях окнах, свисты, раскаты и щелканье их с двух сторон врывались с силою в нашу закупоренную спальню, потому что она углом выходила на загибающуюся реку, прямо в кусты, полные соловьев. Мать посылала ночью пугать их. И тут только поверил я словам тетушки, что соловьи не давали ей спать. Я не знаю, исполнились ли слова отца, стало ли веселее в Багрове? Вообще я не умею сказать: было ли мне тогда весело? Знаю только, что воспоминание об этом времени во всю мою жизнь разливало тихую радость в душе моей.

Наконец я стал спокойнее, присмотрелся, попривык к окружающим меня явлениям, или, вернее сказать, чудесам природы, которая, достигнув полного своего великолепия, сама как будто успокоилась. Я стал заниматься иногда играми и книгами, стал больше сидеть и говорить с матерью и с радостью увидел, что она была тем довольна. «Ну, теперь ты, кажется, очнулся, – сказала она мне, лаская и целуя меня в голову, – а ведь ты был точно помешанный. Ты ни в чем не принимал участия, ты забыл, что у тебя есть мать». И слезы показались у ней на глазах. В самое сердце уколол меня этот упрек. Я уже смутно чувствовал какое-то беспокойство совести; вдруг точно пелена спала с моих глаз. Конечно, я не забыл, что у меня была мать, но я не часто думал о ней. Я не спрашивал и не знал, в каком положении было ее слабое здоровье. Я не делился с ней в это время, как бывало всегда, моими чувствами и помышлениями, и мной овладело угрызение совести и раскаяния, я жестоко обвинял себя, просил прощенья у матери и обещал, что этого никогда не будет. Мне казалось, что с этих пор я стану любить ее еще сильнее. Мне казалось, что я до сих пор не понимал, не знал всей цены, что я не достоин матери, которая несколько раз спасла мне жизнь, жертвуя своею. Я дошел до мысли, что я дурной, неблагодарный сын, которого все должны презирать. По несчастию, мать не всегда умела или не всегда была способна воздерживать горячность, крайность моих увлечений; она сама тем же страдала, и когда мои чувства были согласны с ее собственными чувствами, она не охлаждала, а возбуждала меня страстными порывами своей души. Так часто бывало в гораздо позднее время и так именно было в то время, которое я описываю.

Подстрекая друг друга, мы с матерью предались пламенным излияниям взаимного раскаяния и восторженной любви; между нами исчезло расстояние лет и отношений, мы оба иступленно плакали и громко рыдали. Я раскаивался, что мало любил мать; она – что мало ценила такого сына, и оскорбила его упреком... В самую эту минуту вошел отец. Взглянув на нас, он так перепугался, что побледнел: он всегда бледнел, а не краснел от всякого внутреннего движения. «Что с вами случилось?» – спросил он встревоженным голосом. Мать молчала; но я принялся с жаром рассказывать все. Он смотрел на меня сначала с удивлением, а потом с сожалением. Когда я кончил, он сказал: «Охота вам мучить себя понапрасну из пустяков и расстраивать свое здоровье. Ты еще ребенок, а матери это грех». Ушатом холодной воды облил меня отец. Но мать горячо заступилась за наши чувства и сказала много оскорбительного и несправедливого моему доброму отцу! Увы! несправедливость оскорбления я понял уже в зрелых годах, а тогда я поверил, что мать говорит совершенную истину и что у моего отца мало чувств, что он не умеет так любить, как мы с маменькой любим. Разумеется, через несколько дней совсем утихло мое волнение, успокоилась совесть, исчезло убеждение, что я дурной мальчик и дурной сын. Сердце мое опять раскрылось впечатлениям природы; но я долго предавался им с некоторым опасением; горячность же к матери росла уже постоянно. Несмотря на мой детский возраст, я сделался ее другом, поверенным и узнал много такого, чего не мог понять, что понимал превратно и чего мне знать не следовало...

Между тем как только слила полая вода и река пришла в свою летнюю межень, даже прежде, чем вода совершенно прояснилась, все дворовые начали уже удить. Я сказал все, потому что тогда удил всякий, кто мог держать в руке удище, даже некоторые старухи, ибо только в эту пору, то есть с весны, от цвета черемухи до окончания цвета калины, чудесно брала крупная рыба, язи, голавли и лини. Стоило сбегать пораньше утром на один час, чтоб принести по крайней мере пару больших язей, упустив столько же или больше, и вот у целого семейства была уха, жареное или пирог. Евсеич уже давно удил и, рассказывая мне свои подвиги, обыкновенно говорил: «Это, соколик, еще не твое уженье. Теперь еще везде мокро и грязно, а вот недельки через две солнышко землю прогреет, земля повысохнет: к тем порам я тебе и удочки приготовлю»...

Пришла пора и моего ужения, как предсказывал Евсеич. Теплая погода, простояв несколько дней, на Фоминой неделе еще раз переменялась на сырую и холодную, что, однако ж, ничему не мешало зеленеть, расти и цвести. Потом опять наступило теплое время и сделалось уже постоянным. Солнце прогрело землю, высушило грязь и тину. Евсеич приготовил мне три удочки: маленькую, среднюю и побольше, но не такую большую, какие употреблялись для крупной рыбы; такую я и сдержать бы не мог. Отец, который ни разу еще не ходил удить, может быть потому, что матери это было неприятно, пошел со мною и повел меня на пруд, который был спущен. В спущенном пруде удить и ловить рыбу запрещалось, а на реке позволялось везде и всем. Я видел, что мой отец сбирался удить с большой охотой. «Ну, что теперь делать, Сережа, на реке? – говорил он мне дорогой на мельницу, идя так скоро, что я едва поспевал за ним. – Кивацкий пруд пронесло, и его нес скоро запрудят; рыбы теперь в саду мало. А вот у нас на пруду вся рыба свалилась в материк, в трубу, и должна славно брать. Ты еще в первый раз будешь удить в Бугуруслане; пожалуй, после Сергеевки тебе покажется, что в Багрове клюет хуже». Я уверял, что в Багрове все лучше. В прошлом лете я не брал в руки удочки, и хотя настоящая весна так сильно подействовала на меня новыми и чудными своими явлениями – прилетом птицы и возрождением к жизни всей природы, – что я почти забывал об уженье, но тогда, уже успокоенный от волнений, пресыщенный, так сказать, тревожными впечатлениями, я вспомнил и обратился с новым жаром к страстно любимой мною охоте, и чем ближе подходил я к пруду, тем нетерпеливее хотелось мне закинуть удочку. Спущенный пруд грустно изумил меня. Обширное пространство, затопляемое обыкновенно водою, представляло теперь голое, нечистое, неровное дно, состоящее из тины и грязи, истрескавшейся от солнца, но еще не высохшей внутри; везде валялись жерди, сучья и коряги или торчали колья, воткнутые прошлого года

для вятелей. Прежде все это было затоплено и представляло светлое, гладкое зеркало воды, лежащее в зеленых рамах и проросшее зеленым камышом. Молодые его побеги еще были не приметны, а старые гривы сухого камыша, не скошенного в прошедшую осень, неприятно желтели между зеленеющих краев прудового разлива и, волнуемые ветром, еще неприятнее, как-то безжизненно шумели. Надобно прибавить, что от высыхающей тины и рыбы, погибшей в камышах, пахло очень дурно. Но скоро прошло неприятное впечатление. Выбрав места посуше, неподалеку от кауза, стали мы удить – и вполне оправдались слова отца: беспрестанно брали окуни, крупная плотва, средней величины язи и большие лини. Крупная рыба попадалась все отцу, а иногда и Евсеичу, потому что удил на большие удочки и насаживали большие куски, а я удил на маленькую удочку, и у меня беспрестанно брала плотва, если Евсеич насаживал мне крючок хлебом, или окуни, если удочка насаживалась червяком. Я никогда не видел, чтоб отец мой так горячился, и у меня мелькнула мысль, отчего он не ходит удить всякий день? Евсеич же, горячившийся всегда и прежде, сам говорил, что не помнит себя в таком азарте! Азарт этот еще увеличился, когда отец вытащил огромного окуня и еще большего линя, а у Евсеича сорвалась какая-то большая рыба и вдобавок щука оторвала удочку. Он так смешно хлопал себя по ногам ладонями и так жаловался на свое несчастье, что отец смеялся, а за ним и я. Впрочем, щука точно так же и у отца перекусила лесу. Мне тоже захотелось выудить что-нибудь покрупнее, и хотя Евсеич уверял, что мне хорошей рыбы не вытащить, но я упросил его дать мне удочку побольше и также насадить большой кусок. Он исполнил мою просьбу, но успеха не было, а вышло еще хуже, потому что перестала попадаться и мелкая рыба. Мне стало как-то скучно и захотелось домой; но отец и Евсеич и не думали возвращаться и, конечно, без меня остались бы на пруду до самого обеда. Собираясь в обратный путь и свертывая удочки, Евсеич сказал: «Что бы вам, Алексей Степаныч, забраться сюда на заре? Ведь это какой бы клев-то был!» Отец отвечал с некоторою досадой: «Ну, как мне поутру». – «Вот вы и с ружьем не поохотились ни разу, а ведь в старые годы хаживали». – Отец молчал. Я очень заметил слова Евсеича, а равно и то, что отец возвращался как-то невесел.

Пойманная рыба едва помещалась в двух ведрах. Мы принесли ее прямо к бабушке и тетушке Татьяне Степановне и только что приехавшей тетушке Аксинье Степановне (Александра же Степановна давно уехала в свою Каратаевку). Они равнодушно приняли наш улов; они ахали, разглядывали и хвалили рыбу, которую очень любили кушать, а Татьяна Степановна – удить; но мать махнула рукой и не стала смотреть на нашу добычу, говоря, что от нее воняет сыростью и гнилью; она даже уверяла, что и от меня с отцом пахнет прудовою тиной, что, может быть, и в самом деле было так.

Оставшись наедине с матерью, я спросил ее: «Отчего отец не ходит удить, хотя очень любит ужение? Отчего он ни разу не брал ружья в руки, а стрелять он также был охотник, о чем сам рассказывал мне?» Матери моей были неприятны мои вопросы. Она отвечала, что никто не запрещает ему ни стрелять, ни удить, но в то же время презрительно отозвалась об этих охотах, особенно об ужении, называя его забавою людей праздных и пустых, не имеющих лучшего дела, забавою, приличною только детскому возрасту, и мне немножко стало стыдно, что я так люблю удить. Я начинал уже считать себя выходящим из ребячьего возраста: чтение книг, разговоры с матерью о предметах недетских, ее доверенность ко мне, ее слова, питавшие мое самолюбие: «Ты уже не маленький, ты все понимаешь; как ты об этом думаешь, друг мой?» – и тому подобные выражения, которыми мать, в порывах нежности, уравнивала наши возрасты, обманывая самое себя, – эти слова возгордили меня, и я начинал свысока поглядывать на окружающих меня людей. Впрочем, недолго стыдился я моей страстной охоты к ужению. На третий день мне так уже захотелось удить, что я, прикрываясь своим детским возрастом, от которого, однако, в иных случаях отказывался, выпросился у матери на пруд поудить с отцом, куда с одним Евсеичем меня бы не отпустили. Я имел весьма важную причину не откладывать ужения на пруду: отец сказал мне, что через два дня его запрудят, или, как выражались тогда, займут заимку. Евсеич с отцом взяли свои меры, чтобы щуки не отгрызали крючков: они навязали их на поводки из

проволами или струны, которых щуки не могли перекусить, несмотря на свои острые зубы. Общие наши надежды и ожидания не были обмануты. Мы наудили много рыбы, и в том числе отец поймал четырех щук, а Евсеич двух.

Заимка пруда, или, лучше сказать, последствие заимки, потому что на пруд мать меня не пустила, – также представило мне много нового, никогда мною не виданного. Как скоро завалили вешняк и течение воды мало-помалу прекратилось, река ниже плотины совсем обмелела и, кроме глубоких ям, называемых омутами, Бугуруслан побежал маленьким ручейком. По всему протяжению реки, до самого Кивацкого пруда, также спущенного, везде стоял народ, и старый и малый, с бреднями, вятелями и недотками, перегораживая ими реку. Как скоро рыба послышала, что вода пошла на убыль, она начала скатываться вниз, оставаясь иногда только в самых глубоких местах и, разумеется, попадая в расставленные снасти. Мы с Евсеичем стояли на самом высоком берегу Бугуруслана, откуда далеко было видно и вверх и вниз, и смотрели на эту торопливую и суматошную ловлю рыбы, сопровождаемую криком деревенских баб и мальчишек и девчонок, последние употребляли для ловли рыбы связанные юбки и решета, даже хватали добычу руками, вытаскивая иногда порядочных плотиц и языков из-под коряг и из рачьих нор, куда во всякое время особенно любят забиваться некрупные налимы, которые также попадались.

Раки пресмешно корячились и ползали по обмелевшему дну и очень больно щипали за голые ноги и руки бродивших по воде и грязи людей, отчего нередко раздавался пронзительный визг мальчишек и особенно девчонок.

Бугуруслан был хотя не широк, но очень быстр, глубок и омутист; вода еще была жирна, по выражению мельников, и пруд к вечеру стал наполняться, а в ночь уже пошла вода в кауз; на другой день поутру замолочила мельница, и наш Бугуруслан сделался опять прежнею глубокою, многоводной рекой. Меня очень огорчало, что я не видел, как занимали заимку, а рассказы отца еще более подстрекали мою досаду и усиливали мое огорчение. Я не преминул попросить у матери объяснения, почему она меня не пустила, – и получил в ответ, что «нечего мне делать в толпе мужиков и не для чего слышать их грубые и непристойные шутки, прибаутки и брань между собою». Отец напрасно уверял, что ничего такого не было и не бывает, что никто на бранился; но что веселого крику и шуму было много... Не мог я не верить матери, но отцу хотелось больше верить.

Как только провяла земля, начались полевые работы, то есть посев ярового хлеба, и отец стал ездить всякий день на пашню. Всякий день я просился с ним, и только один раз отпустила меня мать. По моей усиленной просьбе отец согласился было взять с собой ружье, потому что в полях водилось множество полевой дичи; но мать начала говорить, что она боится, как бы ружье не выстрелило и меня не убило, а потому отец, хотя уверял, что ружье лежало бы на дорогах незаряженное, оставил его дома. Я заметил, что ему самому хотелось взять ружье; я же очень горячо этого желал, а потому поехал несколько огорченный. Вид весенних полей скоро привлек мое внимание, и радостное чувство, уничтожив неприятное, овладело моей душой. Поднимаясь от гумна на гору, я увидел, что все доломки весело зеленели сочной травой, а гривы, или кулиги дикого персика, которые тянулись по скатам крутых холмов, были осыпаны розовыми цветочками, издававшими сильный ароматический запах. На горах зацвела вишня и дикая акация, или чилизник. Жаворонки так и рассыпались песнями вверху; иногда проносился крик журавлей, вдали заливался звонкими трелями кроншнеп, слышался хриплый голос кречеток, стрепета поднимались с дороги и тут же садились. Не один раз отец говорил: «Жалко, что нет с нами ружья». Это был особый птичий мир, совсем не похожий на тот, который под горою населял воды и болота, – и он показался мне еще прекраснее. Тут только, на горе, почувствовал я неизмеримую разность между атмосферами внизу и вверху! Там пахло стоячею водой, тяжелою сыростью, а здесь воздух был сух, ароматен и легок; тут только я почувствовал справедливость жалоб матери на низкое место в Багрове. Вскоре зачернелись полосы вспаханной земли, и, подъехав, я увидел, что крестьянин, уже немолодой, мерно и бодро ходит взад и вперед по десятине, рассеивая вокруг себя хлебные семена, которые доставал он из лукошка, висящего у него

через плечо. Издали за ним шли три крестьянина за сохами; запряженные в них лошадки казались мелки и слабы, но они, не останавливаясь и без напряженного усилия, взрывали сошниками черноземную почву, рассыпая рыхлую землю направо и налево, разумеется, не новь, а мякоть, как называлась там несколько раз паханная земля; за ними тащились три бороны с железными зубьями, запряженные такими же лошадками; ими управляли мальчишки. Несмотря на утро и еще весеннюю свежесть, все люди были в одних рубашках, босиком и с непокрытыми головами. И весь этот, по-видимому, тяжелый труд производился легко, бодро и весело. Глядя на эти правильно и непрерывно движущиеся фигуры людей и лошадей, я забыл окружающую меня красоту весеннего утра.

Важность и святость труда, которых я не мог тогда вполне ни понять, ни оценить, однако глубоко поразили меня.

Отец пошел на вспаханную, но еще не заборонованную десятину, стал что-то мерить своей палочкой и считать, а я, оглянувшись вокруг себя и увидя, что в разных местах много людей и лошадей двигались так же мерно и в таком же порядке взад и вперед, – я крепко задумался, сам хорошенько не зная о чем. Отец, воротясь ко мне и найдя меня в том же положении, спросил: «Что ты, Сережа?» Я отвечал множеством вопросов о работающих крестьянах и мальчишках, на которые отец отвечал мне удовлетворительно и подробно. Слова его запали мне в сердце. Я сравнивал себя с крестьянскими мальчишками, которые целый день, от восхода до заката солнечного, бродили взад и вперед, как по песку, по рыхлым десятинам, которые кушали хлеб да воду, – и мне стало совестно, стыдно, и решил я просить отца и мать, чтоб меня заставили бороновать землю. Полный таких мыслей, воротился я домой и принялся передавать матери мои впечатления и желание работать. Она смеялась, а я горячился; наконец она с важностью сказала мне: «Выкинь этот вздор из головы. Пашня и бороньба – не твое дело. Впрочем, если хочешь попробовать – я позволяю». Через несколько времени действительно мне позволили попробовать бороновать землю. Оказалось, что я никуда не годен: не умею ходить по вспаханной земле, не умею держать вожжи и править лошадей, не умею заставить ее слушаться. Крестьянский мальчик шел рядом со мной и смеялся. Мне было стыдно и досадно, и я никогда уже не поминал об этом.

Именно в эту пору житья моего в Багрове я мало проводил времени с моей милой сестрицей и как будто отдалился от нее, но это нисколько не значило, чтоб я стал меньше ее любить. Причиной этого временного отдаления были мои новые забавы, которые она, как девочка, не могла разделять со мной, и потом – мое приближение к матери. Говоря со мной, как с другом, мать всегда высылала мою сестрицу и запрещала мне рассказывать ей наши откровенные разговоры. Она не так горячо любила ее, как меня, и менее ласкала. Я был любимец, фаворит, как многие называли меня, и, следовательно, балованное дитя. Я долго оставался таким, но это никогда не мешало горячей привязанности между мной и остальными братьями и сестрами. Бабушка же и тетушка ко мне не очень благоволили, а сестрицу мою любили; они напевали ей в уши, что она нелюбимая дочь, что мать глядит мне в глаза и делает все, что мне угодно, что «братец – все, а она – ничего»; но все такие вредные внушения не производили никакого впечатления на любящее сердце моей сестры, и никакое чувство зависти или негодования и на одну минуту никогда не омрачали светлую доброту ее прекрасной души. Мать по-прежнему не входила в домашнее хозяйство, а всем распоряжалась бабушка или, лучше сказать, тетушка; мать заказывала только кушанья для себя и для нас; но в то же время было слышно и заметно, что она настоящая госпожа в доме и что все делается или сделается, если она захочет, по ее воле. Несмотря на мой ребячий возраст, я понимал, что моей матери все в доме боялись, а не любили (кроме Евсеича и Параша), хотя мать никому и грубого слова не говаривала.

Эту мудреную загадку тогда рано было мне разгадывать.

По просухе перебивали у нас в гостях все соседи, большею частью родные нам. Приезжали также и Чичаговы, только без старушки Мертваго; разумеется, мать была им очень рада и большую часть времени проводила в откровенных, душевных разговорах наедине с Катериной Борисовной. Даже меня высылала. Я мельком вслушался раза два в ее

слова и догадался, что она жаловалась на свое положение, что она была недовольна своей жизнью в Багрове: эта мысль постоянно смущала и огорчала меня.

Петр Иванович Чичагов, так же как моя мать, не знал и не любил домашнего и полевого хозяйства. Всем занимались его теща и жена. Он читал, писал, рисовал, чертил и охотился с ружьем. Зная, что у нас много водится дичи, он привез с собой и ружье и собаку и всякий день ходил стрелять в наших болотах, около нижнего и верхнего пруда, где жило множество бекасов, всяких куликов и куличков, болотных курочек и коростелей. Один раз и отец ходил с ним на охоту; они принесли полные ягдташи дичи. Петр Иванович все подсмеивался над моим отцом, говоря, что «Алексей Степаныч большой экономай на порох и дробь, что он любит птичку покрупнее да поближе, что бекасы ему не по вкусу, а вот уточки или болотные кулички – так это его дело: тут мясца побольше». Отец мой отшучивался, признаваясь, что он точно мелкую птицу не мастер стрелять – не привык и что Петр Иванович, конечно, убил пары четыре бекасов, но зато много посеял в болотах дробин, которая на будущий год уродится... Петр Иванович громко смеялся своим особенным звучным смехом, про который мать говорила, что Петр Иванович и смеется умно. Он уделял иногда несколько времени на разговоры со мной. Обыкновенно это бывало после охоты, когда он, переодевшись в сухое платье и белье, садился на диван в гостиной и закуривал свою большую пенковую трубку. «Ну, Сережа, – так начинал он свой разговор, – как поживают старикашки Сумароков, Херасков и особенно Ломоносов? Что подделывает Карамзин с братией новых стихотворцев?» Это значило, чтоб я начинал читать наизусть заученные мною стихи этих писателей. Петр Иванович над всеми подсмеивался, даже над Ломоносовым, которого, впрочем, очень уважал. Горячо хвалил Державина⁴⁶ и в то же время подшучивал над ним; одного только Дмитриева⁴⁷ хвалил, хотя не горячо, но безусловно; к сожалению, я почти не знал ни того, ни другого. Мое восторженное чтение, или декламация, как он называл, очень его забавляли.

Единственные чтецы стихов, которых я слышал, были мои дяди Зубины.

Александр Николаич особенно любил передразнивать московских трагических актеров – и, подражая такой карикатурной декламации, образовал я мое чтение! Легко понять, что оно, сопровождаемое неуместной горячностью и уродливыми жестами, было очень забавно. Тем не менее я вспоминаю с искренним удовольствием и благодарностью об этих часах моего детства, которые проводил я с Петром Ивановичем Чичаговым. Этот необыкновенно умный и талантливый человек стоял неизмеримо выше окружающего его общества.

Остроумные шутки его западали в мой детский ум и, вероятно, приготовили меня к более верному пониманию тогдашних писателей.

Впоследствии, когда я уже был студентом, а потом петербургским чиновником, приезжавшим в отпуск, я всегда спешил повидаться с Чичаговым: прочесть ему все, что явилось нового в литературе, и поделиться с ним моими впечатлениями, молодыми взглядами и убеждениями. Его суд часто был верен и всегда остроумен. С особенною живостью припоминаю я, что уже незадолго до его смерти, очень больному, прочел я ему стихи на Державина и Карамзина, не знаю кем написанные, едва ли не Шатровым.⁴⁸ Первого куплета помню только половину:

.....

Перлово-сизых облаков.

Иль дав толчок в Кавказ ногами

⁴⁶ Державин Гаврила Романович (1743–1816) – выдающийся русский поэт.

⁴⁷ Дмитриев Иван Иванович – баснописец и сатирик конца XVIII – начала XIX века.

⁴⁸ Шатров Н.М. – третьестепенный поэт конца XVIII – начала XIX века.

И вихро-бурными крылами,
Рассекши воздух, прилети;
Хвостом серебро-злато-махровым
Иль радужно-гнедо-багровым
Следы пурпурны замети.
Но вдруг картина пременялась,
Услышал стон я голубка;
У Лизы слезка покатилась
Из левого ее глазка.
Катилась по щеке, катилась,
На щечке в ямке поселилась,
Как будто в лужице вода.
Не так-то были в стары веки
На слезы скупы человеки,
Но люди были ли тогда?
Когда... девушке случалось
В разлуке с милым другом быть,
То должно ей о нем, казалось,
Ручьями слезы горьки лить.
Но нынче слезы дорогие
.....
Сравнятся ль древние, простые
С алмазной нынешней слезой?

Забыв свою болезнь и часто возвращающиеся мучительные ее припадки, Чичагов, слушая мое чтение, смеялся самым веселым смехом, повторяя некоторые стихи или выражения. «Ну, друг мой, – сказал он мне потом с живым и ясным взглядом, – ты меня так утешил, что теперь мне не надо и приема опиума». Во время страданий, превышающих силы человеческие, он употреблял опиум в маленьких приемах.

Наступило жаркое лето. Клев крупной рыбы прекратился. Уженье мое ограничилось ловлею на булавочные крючки лошков, пескарей и маленьких плотичек, по мелким безопасным местам, начиная от дома, вверх по реке Бугуруслану, до так называемых Антошкиных мостков, построенных крестьянином Антоном против своего двора; далее река была поглубже, и мы туда без отца не ходили. Меня отпускали с Евсеичем всякий день или поутру или вечером часа на два. Около самого дома древесной тени не было, и потому мы вместе с сестрицей ходили гулять, сидеть и читать книжки в грачовую рощу или на остров, который я любил с каждым днем более. В самом деле, там было очень хорошо: берега были обсажены березами, которые разрослись, широко раскинулись и давали густую тень; липовая аллея пересекала остров посередине; она была тесно насажена, и под нею вечно был сумрак и прохлада; она служила дневным убежищем для ночных бабочек, собиранием которых, через несколько лет, я стал очень горячо заниматься. На остров нередко с нами хаживала тетюшка Татьяна Степановна. Сидя под освежительной тенью на берегу широко и резво текущей реки, иногда с удочкой в руке, охотно слушала она мое чтение; приносила иногда свой «Песенник», читала сама или заставляла меня читать, и как ни были нелепы и уродливы эти песни, принадлежавшие Сумарокову с братией, но читались и слушались они с искренним сочувствием и удовольствием. До сих пор помню наизусть охотничью песню Сумарокова.⁴⁹

Она начинается так:

Не пастух в свирель играет,

⁴⁹ Песня III.

Сидя при речных струях;
Не пастух овец сгоняет
На прекрасных сих лугах...

и проч.

Мы так нахвалили матери моей прохладу тенистого острова в полдневный зной, что она решилась один раз пойти с нами. Сначала ей понравилось, и она приказала принести большую кожу, чтобы сидеть на ней на берегу реки, потому что никогда не садилась прямо на большую траву, говоря, что от нее сыро, что в ней множество насекомых, которые сейчас наползут на человека.

Принесли кожу и даже кожаные подушки. Мы все уселись на них, но, я не знаю почему, только такое осторожное, искусственное обращение с природой расхолодило меня и мне совсем не было так весело, как всегда бывало одному с сестрицей или тетушкой. Мать равнодушно смотрела на зеленые липы и березы, на текущую вокруг нас воду; стук толчей, шум мельницы, долетавший иногда явственно до нас, когда поднимался ветерок, по временам затихавший, казался ей однообразным и скучным; сырой запах от пруда, которого никто из нас не замечал, находила она противным, и, посидев с час, она ушла домой, в свою душную спальню, раскаленную солнечными лучами. Мы остались одни; унесли кожу и подушки, и остров получил для меня свою прежнюю очаровательную прелесть. Тетушка любила делать надписи на белой и гладкой коже берез и даже вырезывала иногда ножичком или накалывала толстой булавкой разные стишки из своего песенника. Я, разумеется, охотно подражал ей. На этот раз она вырезала, что такого-то года, месяца и числа «Софья Николавна посетила остров».

Изредка ездил я с отцом в поле на разные работы, видел, как полют яровые хлеба: овсы, полбы и пшеницы; видел, как крестьянские бабы и девки, беспрестанно нагибаясь, выдергивают сорные травы и, набрав их на левую руку целую охапку, бережно ступая, выносят на межи, бросают и снова идут полоть.

Работа довольно тяжелая и скучная, потому что успех труда не заметен.

Наконец пришло время сенокоса. Его начали за неделю до Петрова дня. Эта работа, одна из всех крестьянских полевых работ, которой я до тех пор еще не видывал, понравилась мне больше всех. В прекрасный летний день, когда солнечные лучи давно уже поглотили ночную свежесть, подъезжали мы с отцом к так называемому «Потаенному колку», состоящему по большей части из молодых и уже довольно толстых, как сосна прямых, лип, – колку, давно заповеданному и сберегаемому с особенною строгостью. Лишь только поднялись мы к лесу из оврага, стал долетать до моего слуха глухой, необыкновенный шум: то какой-то отрывистый и мерный шорох, на мгновение перемежающийся и вновь возникающий, то какое-то звонкое металлическое шарканье. Я сейчас спросил: «Что это такое?» – «А вот увидишь!» – отвечал отец улыбаясь. Но за порослью молодого и частого осинника ничего не было видно; когда же мы обогнули его – чудное зрелище поразило мои глаза. Человек сорок крестьян косили, выстроясь в одну линию, как по нитке: ярко блестя на солнце, взлетали косы, и стройными рядами ложилась срезанная густая трава. Пройдя длинный ряд, вдруг косцы остановились и принялись чем-то точить свои косы, весело перебрасываясь между собою шутливыми речами, как было догадываться по громкому смеху: расслышать слов было еще невозможно. Металлические звуки происходили от точенья кос деревянными лопаточками, обмазанными глиною с песком, о чем я узнал после. Когда мы подъехали близко и отец мой сказал обыкновенное приветствие: «Бог помощь» или «Бог на помощь!», громкое: «Благодарствуйте, батюшка Алексей Степаныч!» – огласило поляну, отозвалось в овраге, – и снова крестьяне продолжали широко, ловко, легко и свободно размахивать косами! В этой работе было что-то доброе, веселое, так что я не вдруг поверил, когда мне сказали, что она тоже очень тяжела. Какой легкий воздух, какой чудесный запах разносился от близкого леса и скошенной еще рано утром травы, изобиловавшей множеством душистых цветов, которые от знойного солнца уже начали

вянуть и издавать особенный приятный ароматический запах! Нетронутая трава стояла стеной, в пояс вышиною, и крестьяне говорили: «Что за трава! медведь медведем!»⁵⁰ По зеленым высоким рядам скошенной травы уже ходили галки и вороны, налетевшие из леса, где находились их гнезда. Мне сказали, что они подбирают разных букашек, козявок и червячков, которые прежде скрывались в густой траве, а теперь бегали на виду по опрокинутым стеблям растений и по обнаженной земле.

Подойдя поближе, я своими глазами удостоверился, что это совершенная правда. Сверх того я заметил, что птица клевала и ягоды. В траве клубника была еще зелена, зато необыкновенно крупна; на открытых же местах она уже поспевала. Из скошенных рядов мы с отцом набрали по большой кисти таких ягод, из которых иные попадались крупнее обыкновенного ореха; многие из них хотя еще не покраснели, но были уже мягки и вкусны.

Мне так было весело на сенокосе, что не хотелось даже ехать домой, хотя отец уже звал меня. Из лесного оврага, на дне которого, тихо журча, бежал маленький родничок, несло воркованье диких голубей или горлинок, слышался также кошачий крик и заунывный стон иволги; звуки эти были так различны, противоположны, что я долго не хотел верить, что это кричит одна и та же милостивая, желтенькая птичка. Изредка раздавался пронзительный трубный голос желны... Вдруг копчик вылетел на поляну, высоко взвился и, кружась над косцами, которые выпугивали иногда из травы маленьких птичек, сторожил их появление и падал на них, как молния из облаков. Его быстрота и ловкость были так увлекательны, а участие к бедной птичке так живо, что крестьяне приветствовали громкими криками и удалство ловца и проворство птички всякий раз, когда она успевала упасть в траву или скрыться в лесу.

Евсей особенно горячился, также сопровождая одобрительными восклицаниями чудную быстроту этой красивой и резвой хищной птицы. Долго копчик потешал всех проворным, хотя безуспешным преследованием своей добычи; но, наконец, поймал птичку и, держа ее в когтях, полетел в лес. «А, попалась бедняга!

Подцепил, понес в гнездо детей кормить!» – раздавались голоса косцов, перерываемые и заглушаемые иногда шарканьем кос и шорохом рядами падающей травы. Отец в другой раз сказал, что пора ехать, и мы поехали. Веселая картина сенокоса не выходила из моей головы во всю дорогу; но, воротясь домой, я уже не бросился к матери, чтоб рассказать ей о новых моих впечатлениях. Опыты научили меня, что мать не любит рассказов о полевых крестьянских работах, о которых она знала только понаслышке; а если и видела, то как-нибудь мельком или издали. Я поспешил рассказать все милой моей сестрице, потом Параше, а потом и, тетушке с бабушкой. Тетушка и бабушка много раз видали косьбу и всю уборку сена и, разумеется, знали это дело гораздо короче и лучше меня. Они не могли надивиться только, чему я так рад. Тетушка, однако, прибавила: «Да, оно смотреть точно приятно, да косить-то больно тяжело в такую жару». Эти слова заставили меня задуматься.

Милая моя сестрица, не разделявшая со мной некоторых моих летних удовольствий, была зато верною моей подругой и помощницей в собирании трав и цветов, в наблюдениях за гнездами маленьких птичек, которых много водилось в старых смородинных и барбарисовых кустах, в собиранье червячков, бабочек и разных букашек. Врожденную охоту к этому роду занятий и наблюдений и вообще к натуральной истории возродили во мне книжки «Детского чтения». Заметив гнездо какой-нибудь птички, всего чаще зорьки или горихвостки, мы всякий день ходили смотреть, как мать сидит на яйцах; иногда, по неосторожности, мы спугивали ее с гнезда и тогда, бережно раздвинув колючие ветви барбариса или крыжовника, разглядывали, как лежат в гнезде маленькие, миленькие, пестренькие яички. Случалось иногда, что мать, наскучив нашим любопытством, бросала

⁵⁰ Я никогда не умел удовлетворительно объяснить себе этого выражения, употребляемого также, когда говорилось о густом, высоком, нежатом хлебе: как тут пришел медведь! Я думаю, что словом «медведь» выражалась сила, то есть плотнина, высота и вообще добротность травы или хлеба. (Примеч. автора.)

гнездо; тогда мы, увидя, что уже несколько дней птички в гнезде нет и что она не покрикивает и не вертится около нас, как то всегда бывало, доставали яички или даже все гнездо и уносили к себе в комнату, считая, что мы законные владельцы жилища, оставленного матерью. Когда же птичка благополучно, несмотря на наши помехи, высиживала свои яички и мы вдруг находили вместо них голеньких детенышей с жалобным, тихим писком, беспрестанно разевающих огромные рты, видели, как мать прилетала и кормила их мушками и червячками... Боже мой, какая была у нас радость! Мы не переставали следить, как маленькие птички росли, перились и, наконец, покидали свое гнездо. Сорванные травы и цветы мы раскладывали и сушили в книгах, на что преимущественно употреблялись «Римская история Роллена» и «Домашний лечебник Бухана»; а чтоб листы в книгах не портились от сырости и не раскрашивались разными красками, мы клали цветы между листочками писчей бумаги. Светящиеся червячки прельщали, и нас своим фосфорическим блеском (о фосфорическом блеске я знал также из «Детского чтения»), мы ловили их и держали в ящиках или бумажных коробочках, положив туда разных трав и цветов; то же делали мы со всякими червячками, у которых было шестнадцать ножек. Светляки недолго жили и почти всегда на другой же день теряли способность разливать по временам свой пленительный блеск, которым мы любовались в темной комнате. Другие червячки жили долго и превращались иногда, к великой нашей радости, в хризалиды или куколки. Это происходило следующим порядком: червячки голые посредством клейкой слизи привешивали, точно приклеивали себя хвостиком к крышке или стенке ящика, а червячки мохнатые, завернувшись в листья и замотавшись в тонкие, белые и прозрачные ниточки или шелковинки, ложились в них, как в кроватку. По прошествии известного, но весьма неравного времени сваливалась, как сухая шелуха, наружная кожа с гладкого или мохнатого червя – и висела или лежала куколка: висела угловатая, с рожками, узорчато-серая, бланжевая, даже золотистая хризалида; а лежала всегда темного цвета, настоящая крошечная, точно спеленанная куколка. Я знал, что из первых, висячих, хризалид должны были вывестись денные бабочки, а из вторых, лежачих, – ночные; но как в то время я еще не умел ходить за этим делом, то превращения хризалид в бабочки у нас не было, да и быть не могло, потому что мы их беспрестанно смотрели, даже трогали, чтоб узнать, живы ли они. У нас вывелась только одна, найденная мною где-то под застрехой, вся золотистая куколка; из нее вышла самая обыкновенная крапивная бабочка – но радость была необыкновенная!

Наконец поспела полевая клубника, и ее начали приносить уже не чашками и бураками, но ведрами. Бабушка, бывало, сидит на крыльце и принимает клубнику от дворовых и крестьянских женщин. Редко она хвалила ягоды, а все ворчала и бранилась. Мать очень любила и дорожила полевой клубникой. Она считала ее полезною для своего здоровья и употребляла как лекарство по несколько раз в день, так что в это время мало ела обыкновенной пищи. Нам с сестрой тоже позволяли кушать клубники сколько угодно. Кроме всех других хозяйственных потребностей из клубники приготавливали клубничную воду, вкусом с которой ничто сравниться не может.

В летние знойные дни протягивали по всему двору, от кладовых амбаров до погребов и от конюшен до столярной, длинные веревки, поддерживаемые в разных местах рогулками из лутошек. На эти веревки вывешивали для просушки и сбереженья от моли разные платья, мужские и женские, шубы, шерстяные платки, теплые одеяла, сукна и проч. Я очень любил все это рассматривать. И тогда уже висело там много такого платья, которого более не носили, сшитого из такого сукна или материи, каких более не продавали, как мне сказывали.

Один раз, бродя между этими разноцветными, иногда золотом и серебром вышитыми, качающимися от ветра, висячими стенами или ширмами, забрел я нечаянно к тетушкину амбару, выстроенному почти среди двора, перед ее окнами; ее девушка, толстая, белая и румяная Матрена, посаженная на крылечке для караула, крепко спала, несмотря на то что солнце пекло ей прямо в лицо; около нее висело на сошках и лежало по крыльцу множество широких и тонких полотен и холстов, столового белья, мехов, шелковых материй, платьев и

т. п. Рассмотрев все внимательно, я заметил, что некоторые полотна были желты. Любопытство заставило меня войти в амбар.

Кроме отворенных пустых сундуков и привешенных к потолку мешков, на полках, которые тянулись по стенам в два ряда, стояло великое множество всякой всячины, фаянсовой и стеклянной посуды, чайников, молочников, чайных чашек, лаковых подносов, ларчиков, ящичков, даже бутылок с новыми пробками; в одном углу лежал громадный пуховик, или, лучше сказать, мешок с пухом; в другом – стояла большая новая кадушка, покрытая белым холстом; из любопытства я поднял холст и с удивлением увидел, что кадушка почти полна колотым сахаром. В самое это время я услышал близко голоса Параша и сестрицы, которые ходили между развешанными платьями, искали и кликали меня. Я поспешил к ним навстречу и, сбегая с крылечка, разбудил Матрену, которая ужасно испугалась, увидя меня, выбегающего из амбара. «Что это, сударь, вы там делали? – сказала она с сердцем. – Там совсем не ваше место.

Теперь тетушка на меня будет гневаться. Они никому не позволяют ходить в свой амбар». Я отвечал, что не знал этого и сейчас же скажу тетеньке и попрошу у ней позволение все хорошенько разглядеть. Но Матрена перепугалась еще больше, бросилась ко мне, начала целовать мои руки и просить, чтоб я не сказывал тетушке, что был в ее амбаре. Побезженный ее ласками и просьбами, я обещал молчать; но передо мной стояла уже Параша, держа сестрицу за руку, и лукаво улыбалась. Она слышала все, и когда мы отошли подальше от амбара, она принялась меня расспрашивать, что я там видел. Разумеется, я рассказал с большою точностью и подробностью. Параша слушала равнодушно, и когда дело дошло до колотого сахара, то она вспыхнула и заговорила: «Вот не диви, мы, рабы, припрячем какой-нибудь лоскуток или утащим кусочек сахарку; а вот благородные-то барышни что делают, столбовые-то дворянки? Да ведь все что вы ни видели в амбаре, все это тетушка натаскала у покойного дедушки, а бабушка-то ей потакала. Вишь, какой себе муравейник в приданое сгоношила!

Сахар-то лет двадцать крадет да копит. Поди, чай, у нее и чаю и кофею мешки висят?..» Вдруг Параша опомнилась и точно так же, как недавно Матрена, принялась целовать меня и мои руки, просить, молить, чтоб я ничего не сказывал маменьке, что она говорила про тетушку. Она напомнила мне, какой перенесла гнев от моей матери за подобные слова об тетушках, она принялась плакать и говорила, что теперь, наверное, сошлют ее в Старое Багрово, да и с мужем, пожалуй, разлучат, если Софья Николавна узнает об ее глупых речах.

«Лукавый меня попутал, – продолжала она, утирая слезы; – за сердце взяло: жалко вас стало! Я давно слышала об этих делах, да не верила, а теперь сами видели... Ну, пропала я совсем!» – вскрикнула она, вновь заливаясь слезами.

Я уверял ее, что ничего не стану говорить маменьке, но Параша тогда только успокоилась, когда заставила меня побожиться, что не скажу ни одного слова.

«Вот моя умница, – сказала она, обнимая и целуя мою сестрицу, – она уж ничего не скажет на свою няню». Сестрица молча обнимала ее. Я побожился, то есть сказал: «ей-богу» в первый раз в моей жизни, хотя часто слышал, как другие легко произносят эти слова. Удивляюсь, как могла уговорить меня Параша и довести до божбы, которую мать моя строго осуждала!

Намерение мое не подводить под гнев Парашу осталось твердым. Я очень хорошо помнил, в какую беду ввел было ее прошлого года и как я потом раскаивался, но утаить всего я не мог. Я немедленно рассказал матери обо всем, что видел в тетушкином амбаре, об испуге Матрены и об ее просьбе ничего не сказывать тетушке. Я скрыл только слова Параша. Мать сначала улыбнулась, но потом строго сказала мне: «Ты виноват, что зашел туда, куда без позволения ты ходить не должен, и в наказание за свою вину ты должен теперь солгать, то есть утаить от своей тетушки, что был в ее амбаре, а не то она приберет Матрешу». Слово «приберет» меня смутило; я не мог себе представить, чтоб тетушка, которой жалко было комара раздавить, могла бить Матрешу. Я, конечно, попросил бы объяснения, если бы не был взволнован угрызением совести, что я уже солгал, утаил от матери все, в чем

просветила меня Параша. Целый день я чувствовал себя как-то неловко; к тетушке даже и не подходил, да и с матерью оставался мало, а все гулял с сестрицей или читал книжку. К вечеру, однако, я придумал себе вот какое оправдание: если маменька сама сказала мне, что я должен утаить от тетушки, что входил в ее амбар, для того, чтоб она не побила Матрешу, то я должен утаить от матери слова Параша, для того, чтоб она не услала ее в Старое Багрово. Я совершенно успокоился и весело лег спать.

Лето стояло жаркое и грозное. Чуть не всякий день шли дожди, сопровождаемые молнией и такими громовыми ударами, что весь дом дрожал.

Бабушка затепливала свечки перед образами и молилась, а тетушка, боявшаяся грома, зарывалась в свою огромную перину и пуховые подушки. Я порядочно трусил, хотя много читал, что не должно бояться грома; но как же не бояться того, что убивает до смерти? Слухи о разных несчастных случаях беспрестанно до меня доходили. После грозы, быстро пролетавшей, так было хорошо и свежо, так легко на сердце, что я приходил в восторженное состояние, чувствовал какую-то безумную радость, какое-то шумное веселье: все удивлялись и спрашивали меня о причине, — я сам не понимал ее, а потому и объяснить не мог. Вследствие таких частых, хотя непродолжительных, перепонок, необыкновенно много появилось грибов. Слух о груздях, которых уродилось в Потаенном колке мост-мостом, как выражался старый пчеляк, живший в лесу со своими пчелами, — взволновал тетушку и моего отца, которые очень любили брать грибы и особенно ломать грузди.

В тот же день, сейчас после обеда, они решились отправиться в лес, в сопровождении целой девичьей и многих дворовых женщин. Мне очень было неприятно, что в продолжение всего обеда мать насмеялась над охотой брать грибы и особенно над моим отцом, который для этой поездки отложил до завтра какое-то нужное по хозяйству дело. Я подумал, что мать ни за что меня не отпустит, и так, только для пробы, спросил весьма нетвердым голосом: «Не позволите ли, маменька, и мне поехать за груздями?» К удивлению моему, мать сейчас согласилась и выразительным голосом сказала мне: «Только с тем, чтоб ты в лесу ни на шаг не отставал от отца, а то, пожалуй, как займутся груздями, то тебя потеряют». Обрадованный неожиданным позволением, я отвечал, что ни на одну минуточку не отлучусь от отца. Отец несколько смутился, и как мне показалось, даже покраснел. Сейчас после обеда начались торопливые сборы. У крыльца уже стояли двое длинных дрог и телега. Все запаслись кузовьями, лукошками и плетеными корзинками из ивовых прутьев. На длинные роспуски и телегу насело столько народу, сколько могло поместиться, а некоторые пошли пешком вперед. Мать с бабушкой сидели на крыльце, и мы поехали в совершенной тишине; все молчали, но только съехали со двора, как на всех экипажах начался веселый говор, превратившийся потом в громкую болтавню и хохот; когда же отъехали от дому с версту, девушки и женщины запели песни, и сама тетушка им подтягивала. Все были необыкновенно шутливы и веселы, и мне самому стало очень весело. Я мало слышал песен, и они привели меня в восхищение, которое до сих пор свежо в моей памяти. Румяная Матреша имела чудесный голос и была запевалой. После известного приключения в тетушкином амбаре, удостоверившись в моей скромности, она при всяком удобном случае осыпала меня ласками, называла «умницей» и «милым барином».

Когда мы подъехали к лесу, я подбежал к Матреше и, похвалив ее прекрасный голос, спросил: «Отчего она никогда не поет в девичьей?» Она наклонилась и шепнула мне на ухо: «Матушка ваша не любит слушать наших деревенских песен». Она поцеловала меня и убежала в лес. Я очень пожалел о том, потому что песни и голос Матрешы заронились мне в душу. Скоро все разбрелось по лесу в разные стороны и скрылось из виду. Лес точно ожил: везде начали раздаваться разные веселые восклицания, ауканье, звонкий смех и одиночные голоса многих песен; песни Матрешы были громче и лучше всех, и я долго различал ее удаляющийся голос. Евсеич, тетушка и мой отец, от которого я не отставал ни на пядь, ходили по молодому лесу, неподалеку друг от друга.

Тетушка первая нашла слой груздей. Она вышла на маленькую полянку, остановилась и сказала: «Здесь непременно должны быть грузди, так и пахнет груздями, — и вдруг

закричала: – Ах, я наступила на них!» Мы с отцом хотели подойти к ней, но она не допустила нас близко, говоря, что это ее грузди, что она нашла их и что пусть мы ищем другой слой. Я видел, как она стала на колени и, щупая руками землю под листьями папоротника, вынимала оттуда грузди и клала в свою корзинку. Скоро и мы с отцом нашли гнездо груздей; мы также принялись ощупывать их руками и бережно вынимать из-под пелены прошлогодних полусгнивших листьев, проросших всякими лесными травами и цветами. Отец мой с жаром охотника занимался этим делом и особенно любовался молодыми груздями, говоря мне: «Посмотри, Сережа, какие маленькие груздочки! Осторожно снимай их, – они хрупки и ломки. Посмотри: точно пухом снизу-то обросли и как пахнут!» В самом деле, молоденькие груздочки были как-то очень милостивы и издавали острый запах. – Наконец, побродив по лесу часа два, мы наполнили свои корзинки одними молодыми груздями. Мы пошли назад, к тому месту, где оставили лошадей, а Евсеич принялся громко кричать: «Пора домой! Собирайтесь все к лошадям!» Некоторые голоса ему откликались. Мы не вдруг нашли свои дроги, или роспуски, и еще долее бы их проискали, если б не слышали издали фырканы и храпёны лошадей. Крепко привязанные к молодым дубкам, добрые кони наши терпели страшную пытку от нападения овода, то есть мух, слепней и строки; последняя особенно кусается очень больно, потому что выбирает для своего кусанья места на животном, не защищенные волосами. Бедные лошади, искусанные в кровь, беспрестанно трясли головами и гривами, обмахивались хвостами и били копытами в землю, приводя в сотрясение все свое тело, чтобы сколько-нибудь отогнать своих мучителей.

Форейтор, ехавший кучером на телеге, нарочно оставленный обмахивать коней, для чего ему была срезана длинная зеленая ветка, спал преспокойно под тенью дерева. Отец побранил его, а Евсеич погрозил, что скажет старому кучеру Трофиму, и что тот ему даром не спустит. Многие горничные девки, с лукошками, полными груздей, скоро к нам присоединились, а некоторые, видно, зашли далеко. Мы не стали их дожидаться и поехали домой. Матреша была в числе воротившихся, и потому я упросил посадить ее на наши дроги. Она поместилась на запятках с своим кузовом, а дорогой спела нам еще несколько песен, которые слушал я с большим удовольствием. – Мы воротились к самому чаю. Бабушка сидела на крыльце, и мы поставили перед ней наши корзины и кузова Евсеича и Матрены, полные груздей. Бабушка вообще очень любила грибы, а грузди в особенности; она любила кушать их жаренные в сметане, отварные в рассоле, а всего более соленые. Она долго, с детской радостью, разбирала грузди, откладывала маленькие к маленьким, средние к средним, а большие к большим. Бабушка имела странный вкус: она охотница была кушать всмятку несвежие яйца, а грибы любила старые и червивые и, найдя в кузове Матрешы пожелтелые трухлявые грузди, она сейчас же послала их изжарить на сковороде.

Я побежал к матери в спальню, где она сидела с сестрицей и братцем, занимаясь кройкою какого-то белья для нас. Я рассказал ей подробно о нашем путешествии, о том, что я не отходил от отца, о том, как понравились мне песни и голос Матрешы и как всем было весело; но я не сказал ни слова о том, что Матреша говорила мне на ухо. Я сделал это без всяких предварительных соображений, точно кто шепнул мне, чтоб я не говорил; но после я задумался и долго думал о своем поступке, сначала с грустью и раскаяньем, а потом успокоился и даже уверял себя, что маменька огорчилась бы словами Матрешы и что мне так и должно было поступить. Я очень хорошо заметил, что мать и без того была недовольна моими рассказами. Странно, что по какому-то инстинкту, я это предчувствовал. Весь этот вечер и на другой день мать была печальнее обыкновенного, и я, сам не зная почему, считал себя как будто в чем-то виноватым. Я грустил и чувствовал внутреннее беспокойство. Забывая, или, лучше сказать, жертвуя своими удовольствиями и охотами, я проводил с матерью более времени, был нежнее обыкновенного. Мать замечала эту перемену и, не входя в объяснения, сама была со мною еще ласковее и нежнее. Когда же мне казалось, что мать становилась спокойнее и даже веселее, – я с жадностью бросался к своим удочкам, ястребам и голубям.

Так шло время до самого нашего отъезда.

Я давно знал, что мы в начале августа поедem в Чурасово к Прасковье Ивановне, которая непременно хотела, чтоб мать увидела в полном блеске великолепный, семидесятинный чурасовский сад, заключающий в себе необъятное количество яблонь самых редких сортов, вишен, груш и даже бергамот. Отцу моему очень не хотелось уехать из Багрова в самую деловую пору. Только с неделю как начали жать рожь, а между тем уже подоспел ржаной сев, который там всегда начинался около 25 июля. Он сам видел, что после дедушки полевые работы пошли хуже, и хотел поправить их собственным надзором. Бабушка тоже роптала на наш отъезд и говорила: «Проказница, право, Прасковья Ивановна!

Приезжай смотреть ее сады, а свое хозяйство брось! На меня, Алеша, не надейся; я больно плоха становлюсь, да и не смыслю. Я с новым твоим старостой и говорить не стану: больно речист». Все это мой отец понимал очень хорошо, но послушаться Прасковьи Ивановны и не исполнить обещания – было невозможно. Отец хотел только оттянуть подальше время отъезда, вместо 1-го августа ехать 10-го, основываясь на том, что все лето были дожди и что яблоки поспеют только к усеньеву дню. Вдруг получил он письмо от Михайлушки, известного поверенного и любимца Прасковьи Ивановны, который писал, что, по тяжebному делу с Богдановыми, отцу моему надобно приехать немедленно в Симбирск и что Прасковья Ивановна приказывает ему поскорее собраться и Софью Николавну просит поторопиться. Все хозяйственные расчеты были оставлены, и мы стали поспешно собираться в путь. Бабушка очень неохотно, хотя уже беспрекословно, отпускала нас и взяла с отца слово, что мы к покрову воротимся домой. Мне также жалко было расставаться с Багровым и со всеми его удовольствиями, с удочкой, с ястребами, которыми только что начинали травить, а всего более – с мохноногими и двухохлыми голубями, которых две пары недавно подарил мне Иван Петрович Куроедов, богатый сосед тетушки Аксины Степановны, сватавшийся к ее дочери, очень красивой девушке, но еще слишком молодой. Тетушка Аксины Степановна была радехонька такому зятю, но по молодости невесты (ей было ровно пятнадцать лет) отложили совершение этого дела на год. Жених был большой охотник до голубей и, желая приласкаться к тетушкиным родным, неожиданно сделал мне этот драгоценный подарок. Все говорили, и отец, и Евсеич, что таких голубей сродясь не видывали. Отец приказал сделать мне голубятню или огромную клетку, приставленную к задней стене конюшни, и обтянуть ее старой сетью; клетка находилась близехонько от переднего крыльца, и я беспрестанно к ней бегал, чтоб посмотреть – довольно ли корму у моих голубей и есть ли вода в корытце, чтобы взглянуть на них и послушать их воркованье. Одна пара уже сидела на яйцах. Каково же было мне со всем этим расставаться? Милой моей сестрице также не хотелось ехать в Чурасово. Но я видел, что мать собиралась очень охотно. Чтобы не так было скучно бабушке без нас, пригласили к ней Елизавету Степановну с обеими дочерьми, которая обещала приехать и прожить до нашего возвращения, чему отец очень обрадовался. В несколько дней сборы были кончены, и 2-го августа, после утреннего чаю, распрощившись с бабушкой и тетушкой и оставив на их попечении маленького братца, которого Прасковья Ивановна не велела привозить, мы отправились в дорогу в той же, знакомой читателям, аглицкой мурзахановской карете и, разумеется, на своих лошадях.

ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА В ЧУРАСОВО

Ровно через три года представлялся мне случай снова испытать впечатление дальней летней дороги. Три года для восьмилетнего возраста значат очень много, и было бы ожидать, что я гораздо живее, сознательнее, разумнее почувствую красоты разнообразной, живописной природы тех местностей, по которым нам должно было проезжать. Но вышло не совсем так. Три года тому назад, уезжая из Уфы в Багрово, из города в деревню, я точно вырывался из тюрьмы на волю. На каждом шагу ожидали меня новые, невиданные мною, предметы и явления в природе; самое Багрово, по рассказам отца, представлялось мне каким-то очаровательным местом, похожим на те волшебные «Счастливые острова», которые открывал Васко де Гама в своем мореплавании, о которых читал я в «Детском чтении». В

настоящую же минуту я оставлял Багрово, которое уже успел страстно полюбить, оставлял все мои охоты – и ехал в неприятное мне Чурасово, где ожидали меня те же две комнаты в богатом, но чужом доме, которые прежде мы занимали, и те же вечные гости. Сад с яблоками, которых мне и есть не давали, меня не привлекал; ни уженья, ни ястребов, ни голубей, ни свободы везде ходить, везде гулять и все говорить, что захочется; вдобавок ко всему я очень знал, что мать не будет заниматься и разговаривать со мною так, как в Багрове, потому что ей будет некогда, потому что она или будет сидеть в гостиной, на балконе, или будет гулять в саду с бабушкой и гостями, или к ней станут приходить гости; слово «гости» начинало делаться мне противным... Такие мысли бродили у меня в голове, и я печально сидел рядом с сестрицей, прижавшись в угол кареты. Отец также был печален; ему так же, как и мне, жалко было покинуть Багрово, и еще более грустно ему было расстаться с матерью, моей бабушкой, которая очень хизнула⁵¹ в последнее время, как все замечали, и которую он очень горячо любил. Но моя мать была довольна, что уехала из Багрова: она не любила его и всегда говорила, что все ее болезни происходят от низкого и сырого местоположения этой деревни. После довольно долгого молчания мать обратилась ко мне и сказала: «Что ты забился в угол, Сережа? Ничего не говоришь и в окошко не смотришь?» Я отвечал, что мне жалко Багрова, – и высказал все, что у меня было на душе. Мать старалась меня уверить, что Чурасово гораздо лучше Багрова, что там сухой и здоровый воздух, что хотя нет гнилого пруда, но зато множество чудесных родников, которые бьют из горы и бегут по камешкам; что в Чурасове такой сад, что его в три дня не исходишь, что в нем несколько тысяч яблонь, покрытых спелыми румяными яблоками, что какие там оранжереи, персики, груши, какое множество цветов, от которых прекрасно пахнет, и что, наконец, там есть еще много книг, которых я не читал. Все это мать говорила с жаром и с увлечением, и все это в то же время было совершенно справедливо, и я не мог сказать против ее похвал ни одного слова; мой ум был совершенно побежден, но сердце не соглашалось, и когда мать спросила меня: «Не правда ли, что в Чурасове будет лучше?» – я ту ж минуту отвечал, что люблю больше Багрово и что там веселее. Мать улыбнулась и сказала: «Ты еще мал и ничего, кроме Багрова, не видывал, а когда поживешь летом в Чурасове, так заговоришь другое». Я отвечал, что всегда буду то же говорить. «Ты еще глуп», – возразила мне мать с некоторым неудовольствием. Мне стало еще грустнее. Под влиянием каких-то мыслей и чувств продолжалась наша дорога.

Хотя я уже ездил один раз в Чурасово, но местность всего пути была мне совершенно неизвестна. Во-первых, потому, что тогда стояла зима, а зимой под сугробами снега ничего не увидишь и не заметишь, а во-вторых, потому, что летняя дорога отчасти шла по другим, более степным местам. В первый же день мы ночевали возле татарской деревни Байтуган, на берегу полноводной и очень рыбной реки Сок. Разумеется, под каретой были подвязаны четыре удочки с удилищами; мы с отцом и Евсеичем успели поудить и выудили много прекрасных окуней, что несколько успокоило наше общее грустное состояние духа.

На другой или на третий день, хорошенько не помню, приехали мы поутру в огромную слободу пахотных солдат, называемую Красным поселением, расположенную на реке Кондурче, которая была немного поменьше Сока, но так же красива, омутиста и рыбна. Съехав с дороги, мы остановились кормить у самого моста. Эта кормежка мне очень памятна, потому что ею как-то все были довольны. Мы с отцом уже покорились своей судьбе и переставали тосковать о Багрове. Мать, которой, без сомнения, наскучили наши печальные лица, очень этому обрадовалась и старалась еще более развеселить нас; сама предложила нам пойти удить на мельницу, которая находилась в нескольких десятках шагов, так что шум воды, падающей с мельничных колес, и даже гуденье жерновов раздавалось в ушах и заставляло нас говорить громче обыкновенного.

Не успели мы выпрячь лошадей, как прибежали крестьянские мальчики из Красного

⁵¹ Хизнуть – хилеть, дряхлеть.

поселения и принесли нам множество крупных раков, которые изобильно водились в небольших озерах по Кондурче. Для нас с отцом, кроме вкусного блюда, раки имели особенную цену: мы запаслись ими для уженья – и не понапрасну. Отец и Евсеич выудили на раковые сырые шейки в самое короткое время очень много и очень крупной рыбы, особенно окуней и небольших жерехов, которые брали беспрестанно в глубокой яме под вешняком, около свай и кауза. К прискорбию моему, я не мог участвовать в такого рода уженье: оно было мне еще не по летам и на маленькую свою удочку таскал я маленьких рыбок на мелком, безопасном месте, сидя на плотине. Когда мы весело возвращались с богатой добычей, милая сестрица выбежала ко мне навстречу с радостным криком и с полоскательной чашкой спелой ежевики, которую набрала она (то есть Параша) по кустам мелкой уремы, растущей около живописной Кондурчи.

Мать чувствовала себя здоровою и была необыкновенно весела, даже шутлива. В тени кареты накрыли нам стол, составленный из досок, утвержденных на двух отрубках дерева; принесли скамеек с мельницы, и у нас устроился такой обед, которого вкуснее и веселее, как мне казалось тогда, не может быть на свете. Когда моя мать была здорова и весела, то все около нее делалось веселым; это я замечал уже и прежде. За этим обедом я совершенно забыл об оставленном Багрове и примирился с ожидающим меня Чурасовым. Я был уверен, что и мой отец чувствовал точно то же, потому что лицо его, как мне казалось, стало гораздо веселее: даже сестрица моя, которая немножко боялась матери, на этот раз так же резвилась и болтала, как иногда без нее.

На следующий день поутру мы приехали в Вишенки. Зимой я ничего не заметил, но летом увидел, что это было самое скучное степное место.

Пересыхающая во многих местах речка Берля, запруженная навозною плотиною, без чего летом не осталось бы и капли воды, загнившая, покрытая какой-то пеной, была очень некрасива, к тому же берега ее были завалены целыми горами навоза, над которыми тянулись ряды крестьянских изб; кое-где торчали высокие коромысла колодцев, но вода и в них была мутна и солодковата. Для питья воду доставали довольно далеко из маленького родничка. И по всему этому плоскому месту, не только деревьев, даже зеленого кустика не было, на котором мог бы отдохнуть глаз, только в нижнем огороде стояли две огромные ветлы. Впрочем, селение считалось очень богатым, чему лучшим доказательством служили гумна, полные копен старого хлеба, многочисленные стада коров и овец и такие же табуны отличных лошадей. Все это мы увидели своими глазами, когда на солнечном закате были пригнаны господские и крестьянские стада. Страшная пыль долго стояла над деревней, и мычанье коров и блеянье овец долго раздавалось в вечернем воздухе. Отец мой сказал, что еще большая половина разного скота ночует в поле. Он с восхищением говорил о хлебородной вишенской земле, состоящей в иных местах из трехаршинного чернозема. Вечером, говоря со старостой, отец мой сказал: «Все у вас хорошо, да воды только нет. Ошибся дядя Михайла Максимыч, что не поселил деревню версты три пониже: там в Берле воды уже много, да и мельница была бы у вас в деревне». Но староста с поклоном доложил, что ошибки тут не было. «Все вышло от нашей глупости, батюшка Алексей Степаныч.

Хоша я еще был махонькой, когда нас со старины сюда переселили, а помню, что не токма у нас на деревне, да и за пять верст выше, в Берлинских вершинах, воды было много и по всей речке рос лес; а старики наши, да и мы за ними, лес-то весь повырубили, роднички затоптала скотинка, вода-то и пересохла. Вот и Медвежий враг – ведь какой был лес! и тот вывели; остался один молодежник – и оглобли не вырубишь. Нонче зато и маемся, топим соломой, а на лучину и на крестьянские поделки покупаем лес в Грязнухе».

Отец мой очень сожалел об этом и тут же приказал старосте, чтобы Медвежий враг был строго заповедан, о чем хотел немедленно доложить Прасковье Ивановне и обещал прислать особое от нее приказание.

Флигель, в котором мы остановились, был точно так же прибран к приезду управляющего, как и прошлого года. Точно так же рыцарь грозно смотрел из-под забрала своего шлема с картины, висевшей в той комнате, где мы спали. На другой картине так же

лежали синие виноградные кисти в корзине, разрезанный красный арбуз с черными семечками на блюде и наливные яблоки на тарелке. Но я заметил перемену в себе: картины, которые мне так понравились в первый наш приезд, показались мне не так хороши.

После обеда отец мой ездил осматривать хлебные поля; здесь уже кончилось ржаное жнитво, потому что хлеб в Вишенках поспевает двумя неделями ранее; зато здесь только что начинали сеять господскую рожь, а в Багрове отсевались. Здесь уже с неделю, как принялись жать яровые: пшеницы и полбы. Поля были очень удалены, на каком-то наемном участке в «Орловской степи».⁵² Мать не пустила меня, да и отец не хотел взять, опасаясь, что я слишком утомлюсь.

На другой день, выехав не так рано, мы кормили на перевозе через чудесную, хотя не слишком широкую реку Черемшан, в богатом селе Никольском, принадлежавшем помещику Дурасову. Не переезжая на другую сторону реки, едва мы успели расположиться на песчаном берегу, отвязали удочки, достали червей и, по рассказам мальчишек, удививших около парома, хотели было идти на какое-то диковинное место, «где рыба так и хватает, даже берут стерляди», как явился парадноодетый лакей от Дурасова с покорнейшею просьбою откушать у него и с извещением, что сейчас приедет за нами коляска. Дурасов был известный богач, славился хлебосольством и жил великолепно; прошлого года он познакомился с нами в Чурасове у Прасковьи Ивановны. Отец и мать сочли неучтивостью отказаться и обещали приехать. Боже мой! Какой это был для меня удар, и вовсе неожиданный! Мелькнула было надежда, что нас с сестрицей не возьмут; но мать сказала, что боится близости глубокой реки, боится, чтоб я не подбежал к берегу и не упал в воду, а как сестрица моя к реке не пойдет, то приказала ей остаться, а мне переодеться в лучшее платье и отправляться в гости. Скоро приехала щегольская коляска, заложённая четверкой, с фореитором и с двумя лакеями. Мы с отцом довольно скоро переоделись; мать, устроив себе уборную в лубочном балагане, где жили перевозчики, одевалась долго и вышла такою нарядною, какою я очень давно ее не видел. Как она была хороша, как все ей шло к лицу! Перебирая в памяти всех мне известных молодых женщин, я опять решил, что нет на свете никого лучше моей матери!

Посередине большой площади, с двух боков застроенной порядками крестьянских изб, стояла каменная церковь, по-тогдашнему новейшей архитектуры. Каменный двухэтажный дом, соединяющийся сквозными колоннадами с флигелями, составлял одну сторону четырехугольного двора с круглыми башнями по углам. Все надворные строения служили как бы стенами этому двору; бесконечный старый сад, с прудами и речкою, примыкал к нему с одного бока; главный фасад дома выходил на реку Черемшан. Я ничего подобного не видывал, а потому был очень поражен и сейчас приложил к действительности жившие в моей памяти описания рыцарских замков или загородных дворцов английских лордов, читанные мною в книгах. Любопытство мое возбудилось, воображение разыгралось, и я начал уже на все смотреть с ожиданием чего-нибудь необыкновенного.

Мы въехали на широкий четвероугольный двор, посреди которого был устроен мраморный фонтан и солнечные часы: они были окружены широкими красивыми цветниками с песчаными дорожками. Великолепное крыльцо с фонарями, вазами и статуями и еще великолепнейшая лестница, посередине устланная коврами, обставленная оранжерейными деревьями и цветами, превзошли мои ожидания, и я из дворца английского лорда перелетел в очарованный замок Шехеразады. В зале встретил нас хозяин самого простого вида, невысокий ростом и немолодой уже человек. После обыкновенных учтивостей он подал руку моей матери и повел ее в гостиную.

Обитая бархатом или штофом мебель из красного дерева с бронзою, разные диковинные столовые часы, то в брюхе льва, то в голове человека, картины в раззолоченных

⁵² Название «Орловской степи» носила соседственная с Вишенками земля, отдаваемая внаймы от казны, но прежде принадлежавшая графу Орлову. (Примеч. автора.)

рамах – все было так богато, так роскошно, что чурасовское великолепие могло назваться бедностью в сравнении с Никольским дворцом. При первых расспросах, узнав, что мать оставила мою сестрицу на месте нашей кормежки, гостеприимный хозяин стал упрашивать мою мать послать за ней коляску; мать долго не соглашалась, но принуждена была уступить убедительным и настоятельным его просьбам. Между тем Дурасов предложил нам посмотреть его сад, оранжереи и теплицы. Нетрудно было догадаться, что хозяин очень любил показывать и хвастаться своим домом, садом и всеми заведениями; он прямо говорил, что у него в Никольском все отличное, а у других дрянь. «Да у меня и свиньи такие есть, каких здесь не видавали; я их привез в горнице на колесах из Англии. У них теперь особый дом. Хотите посмотреть? Они здесь недалеко. Я всякий день раза по два у них бываю».

Отец с матерью согласились, и мы пошли. В самом деле, в глухой стороне сада стоял красивый домик. В передней комнате жил скотник и скотница, а в двух больших комнатах жили две чудовищные свиньи, каждая величиною с небольшую корову. Хозяин ласкал их и называл какими-то именами. Он особенно обращал наше внимание на их уши, говоря: «Посмотрите на уши, точно печные заслоны!»

Подивившись на свиней, которые мне не понравились, а показались страшными, пошли мы по теплицам и оранжереям: диковинных цветов, растений, винограду и плодов было великое множество. Хозяин поспешил нам сказать, что это фрукты поздней пристановки и что ранней – все давно сошли. Тут Параша привела мою милую сестрицу, которая, издали увидев нас, прибежала к нам бегом, а Параша проворно воротилась. Дурасов рвал без разбора всякие цветы и плоды и столько надавал нам, что некуда было девать их. Он очень обласкал мою сестрицу, которая была удивительно как смела и мила, называл ее красавицей и своей невестой... Это напомнило мне давнопрошедшие истории с Волковым; и, хотя я с некоторой гордостью думал, что был тогда глупеньким дитятей, и теперь понимал, что семилетняя девочка не может быть невестой сорокалетнего мужчины; но слово «невеста» все-таки неприятно щекотало ухо.

Только что воротились мы в гостиную и сели отдохнуть, потому что много ходили, как вошел человек, богато одетый, точно наш уфимский губернатор, и доложил, что кушанье поставлено. Я сейчас спросил тихонько мать: «Кто это?» – и она успела шепнуть мне, что это главный официант. Я в первый раз услышал это слово, совершенно не понимал его, и оно нисколько не решало моего вопроса. Дурасов одну руку подал матери моей, а другою повел мою сестрицу. Пройдя несколько комнат, одна другой богаче, мы вошли в огромную, великолепную и очень высокую залу, так высокую, что вверх находился другой ряд окон. Небольшой круглый стол был убран роскошно: посредине стояло прекрасное дерево с цветами и плодами; граненый хрусталь, серебро и золото ослепили мои глаза. Сестрицу мою хозяин посадил возле себя и велел принести для нее вышитую подушку. Только что подали стерляжью уху, которою заранее хвалился хозяин, говоря, что лучше черемшанских стерлядей нет во всей России, как вдруг задняя стена залы зашевелилась, поднялась вверх, и гром музыки поразил мои уши! Передо мной открылось возвышение, на котором сидело множество людей, державших в руках неизвестные мне инструменты. Я не слыхивал ничего, кроме скрипки, на которой кое-как игрывал дядя, лакейской балалайки и мордовской волюнки. Я был подавлен изумлением, уничтожен. Держа ложку в руке, я превратился сам в статую и смотрел, разиня рот и выпуча глаза, на эту кучу людей, то есть на оркестр, где все проворно двигали руками взад и вперед, дули ртами, и откуда вылетали чудные, восхитительные, волшебные звуки, то как будто замиравшие, то превращавшиеся в рев бури и даже громовые удары... Хозяин, заметя мое изумление, был очень доволен и громко хохотал, напоминая мне, что уха остынет. Но я и не думал об еде.

Матери моей было неприятно мое смущение, или, лучше сказать, мое изумление, и она шепнула мне, чтоб я перестал смотреть на музыкантов, а ел... Трудно было мне вполне повиноваться! Черпая ложкой уху, я беспрестанно заглядывался на оркестр музыкантов и беспрестанно обливался. Дурасов еще громче хохотал, отец улыбался, а мать краснела и сердилась. Сестрица моя сначала также была удивлена, но потом сейчас успокоилась,

принялась кушать и смеялась, глядя на меня.

Немного съел я диковинной ухи и сдал почти полную тарелку. Музыка прекратилась. Все хвалили искусство музыкантов. Я принялся было усердно есть какое-то блюдо, которого я никогда прежде не ел, как вдруг на возвышенности показались две девицы в прекрасных белых платьях, с голыми руками и шеей, все в завитых локонах; держа в руках какие-то листы бумаги, они подошли к самому краю возвышения, низко присели (я отвечал им поклоном) и принялись петь. Мой поклон вызвал новый хохот у Дурасова и новую краску на лице моей матери. Но пение меня не увлекло: слова были мне непонятны, а напевы еще менее. Я вспомнил песни наших горничных девушек и решил, что Матреша поет гораздо лучше. Вследствие такого решения я стал заниматься кушаньем и до конца обеда уже не привлек на себя внимания хозяина. Прежним порядком воротились мы в гостиную. После кофе Дурасов предложил было нам катанье на лодке с роговой музыкой по Черемшану, приговаривая, что «таких рогов ни у кого нет», но отец с матерью не согласились, извиняясь тем, что им необходимо завтра рано поутру переправиться через Волгу. Дурасов не стал долее удерживать; очень ласково простился с нами, расцеловал мою сестрицу и проводил нас до коляски, которая была нагружена цветами, плодами и двумя огромными свертками конфет.

Воротясь, мы поспешили переодеться и пустились в дальнейший путь. Во всю дорогу, почти до самой ночевки, я не переставал допрашивать отца, и особенно мать, обо всем слышанном и виденном мною в этот день. Ответы вели к новым вопросам, и объяснения требовали новых объяснений. Наконец я так надоел матери, что она велела мне более не расспрашивать ее об Никольском.

Я обратился к отцу и вполголоса продолжал говорить с ним о том же, сообщая при случае и мои собственные замечания и догадки. Вполне не разрешенными вопросами остались: отчего вода из фонтана била вверх? отчего солнечные часы показывают время? как они устроены? и что такое значит возвышение, на котором сидели музыканты? Когда же я спросил, кто такие эти красавицы барышни, которые пели, отец отвечал мне, что это были крепостные горничные девушки Дурасова, выученные пенью в Москве. Что же они такое пели и на каком языке – этого опять не знали мой отец и мать. Когда речь дошла до хозяина, то мать вмешалась в наш разговор и сказала, что он человек добрый, недалкий, необразованный, и в то же время самый тщеславный, что он, увидев в Москве и Петербурге, как живут роскошно и пышно знатные богачи, захотел и сам так же жить, а как устроить ничего не умел, то и нанял себе разных мастеров, немцев и французов, но, увидя, что дело не ладится, приискал какого-то промотавшегося господина, чуть ли не князя, для того чтоб он завел в его Никольском все на барскую ногу; что Дурасов очень богат и не щадит денег на свои затеи; что несколько раз в год он дает такие праздники, на которые съезжается к нему вся губерния. Мать пожурила меня, зачем я был так смешон, когда услышал музыку: «Ты точно был крестьянский мальчик, который сроду ничего не видывал, кроме своей избы, и которого привели в господский дом». Я отвечал, что я точно сроду ничего подобного не видывал и потому был так удивлен. Мать возразила, что не надобно показывать своего удивления, а я спросил, для чего не надобно его показывать. «Для того, что это было смешно, а мне стыдно за тебя», – сказала мать. У меня вертелось на уме и на языке новое возражение в виде вопроса, но я заметил, что мать сердится, и замолчал; мы же в это самое время приехали на ночевку в деревню Красный Яр, в двенадцати верстах от Симбирска и в десяти от переправы через Волгу. Мы должны были поспеть на перевоз на солнечном восходе, чтоб переправиться через реку в тихое время, потому что каждый день, как только солнышко обогреет, разыгрывался сильный ветер.

Проснувшись рано поутру, я увидел, что наша карета отпряжена и стоит на отлогом песчаном берегу. Солнышко только что взошло. Было очень прохладно, и даже в карете пахло какой-то особенной свежей сыростью, которая чувствуется только на песчаных берегах больших рек. Это совсем не то, что сырость от прудов или болот, всегда имеющая неприятный запах.

Двухверстная быстро текущая ширина Волги поразила меня, и я с ужасом смотрел на это пространство, которое надобно нам переплыть. Нас одели потеплее и посадили на опрокинутую лодку. По берегам тянулись, как узоры, следы сбежавших волн, и было видеть, как хлестали и куда доставали они во время бури. Это были гладкие окраины из крупного песка и мелкой гальки. Стаи мартышек с криком вились над водой, падая иногда на нее и ныряя, чтоб поймать какую-нибудь рыбку. Симбирск с своими церквами и каменным губернаторским домом, на высокой горе, покрытой сплошными плодовитыми садами, представлял великолепный вид; но я мало обращал на него внимания. Около меня кипела шумная суматоха. На перевозе ночевало много народу, и уже одна большая завозня, битком набитая лошадьми и телегами с приподнятыми передками и торчащими вверх оглоблями, чернелась на середине Волги, а другая торопливо грузилась, чтобы воспользоваться благополучным временем. Перевозчиков из деревни Часовни, лежащей на берегу, набегало множество, предлагая нам свои услуги. У них был какой-то староста, который говорил моему отцу, чтоб он не всем верил, и что многие из них вовсе не перевозчики, и чтобы мы положились во всем на него. Нагрузилась до последней возможности и другая завозня, отвязали причалы, оттолкнулись от пристани и тихо пошли на шестах вверх по реке, держась около берега.

Подвели третью завозню, самую лучшую и прочную, как уверяли, поставили нашу карету, кибитку и всех девять лошадей. Не привыкшие к подобным переправам, добрые наши кони храпели и фыркали; привязать их к карете или перекладинам, которыми с двух сторон загораживали завозню, было невозможно, и каждую пару держали за поводья наши кучера и люди: с нами остались только Евсеич да Параша. Никому из посторонних не позволили грузиться, и вот тронулась и наша завозня, и тихо пошла вверх, также на шестах. «Взводись выше, молодцы! – кричал с берега староста. – Надо убить прямо на перевоз».

Неравнодушно смотрел я на эту картину и со страхом замечал, что ветерок, который сначала едва тянул с восхода, становился сильнее, и что поверхность Волги беспрестанно меняла свой цвет, – то темнела, то светлела, – и крупная рябь бесконечными полосами бороздила ее мутную воду. Проворно подали большую косную лодку, шестеро гребцов сели в весла, сам староста или хозяин стал у кормового весла. Нас подхватили под руки, перевели и перенесли в это легкое судно; мы расселись по лавочкам на самой его середине, оттолкнулись, и лодка, скользнув по воде, тихо поплыла, сначала также вверх; но, проплыв сажен сто, хозяин громко сказал: «Шапки долой, призывай бога на помощь!»

Все и он сам сняли шапки и перекрестились; лодка на минуту приостановилась.

«С богом, на перебой, работайте, молодцы», – проговорил кормщик, налегши обеими руками и всем телом на рукоятку тяжелого кормового весла, опустя ее до самого дна кормы и таким образом подняв нижний конец, он перекинул весло на другую сторону и повернул нос лодки поперек Волги. Гребцы дружно легли в весла, и мы быстро понеслись. Страх давно уже овладевал мною; но я боролся с ним и скрывал сколько мог; когда же берег стал уходить из глаз моих, когда мы попали на стрежень реки и страшная громада воды, вертящейся кругами, стремительно текущей с непреодолимою силою, обхватила со всех сторон и понесла вниз, как щепку, нашу косную лодочку, – я не мог долее выдерживать, закричал, заплакал и спрятал свое лицо на груди матери. Глядя на меня, заплакала и сестрица. Отец смеялся, называя меня трусишкой, а мать, которая и в бурю не боялась воды, сердилась и доказывала мне, что нет ни малейшей причины бояться. Прележав несколько времени с закрытыми глазами и понимая, что это стыдно, я стал понемногу открывать глаза и с радостью заметил, что гора с Симбирском приближалась к нам. Сестрица уже успокоилась и весело болтала. Страх мой начал проходить; подплывая же к берегу, я развеселился, что всегда со мной бывало после какого-нибудь страха. Мы вышли на крутой берег и сели на толстые бревна, каких там много лежало.

Завозня с нашей каретой плыла еще посередине Волги; маханье веслами казалось издали ребячьей игрушкой и, по-видимому, нисколько завозни к нам не приближало. Ветер усиливался, карета парусила, и все утверждали, что наших порядочно снесет вниз. Около

нас, по крутому скату, были построены лубочные лавочки, в которых продавали калачи, пряники, квас и великое множество яблок. Мать, которая очень их любила, пошла сама покупать, но нашла, что яблоки продавались не совсем спелые, и сказала, что это все падаль; кое-как, однако, нашла она с десяток спелых и, выбрав одно яблоко, очень сладкое, разрежала его, очистила и дала нам с сестрицей по половинке.

Я вообще мало едал сырых плодов, и яблоко показалось мне очень вкусным. В ожидании завозни отец мой, особенно любивший рыбу, поехал на рыбачьей лодке к прорезям и привез целую связку нанизанных на лычко стерлядей, чтоб в Симбирске сварить из них уху. Я и не думал проситься с отцом: меня бы, конечно, не пустили, да я и сам боялся маленькой лодочки, но зато я с большим удовольствием рассмотрел стерлядок; живых мне еще не удавалось видеть, и я выпросил позволение подержать их по крайней мере в руках. В ближайшей церкви раздался благовест, и колокольный звон, которого я давно не слышал и как-то даже мало замечал в Уфе, поразил мое ухо и очень приятно отозвался у меня в душе. Наконец и наша завозня с каретой и лошадьми, которую точно несколько снесло, причалила к пристани; экипажи выгрузили и стали запрягать лошадей; отец расплатился за перевоз, и мы пошли пешком на гору. Симбирская гора, или, лучше сказать, подъем на Симбирскую гору, высокую, крутую и кособористую, был тогда таким тяжелым делом, что даже в сухое время считали его более затруднительным, чем самую переправу через Волгу; во время же грязи для тяжелого экипажа это было препятствие, к преодолению которого требовались невероятные усилия; это был подвиг, даже небезопасный. По счастью, погода стояла сухая. Когда мы взойшли на первый взлобок горы, карета догнала нас; чтобы остановиться как-нибудь на кособоре и дать вздохнуть лошадям, надобно было подтормозить оба колеса и подложить под них камни или поленья, которыми мы запаслись: без того карета стала бы катиться назад. Потом все взойшли, пешком же, на другую крутизну, на которой также кое-как остановили карету. Мать устала и не могла более идти и потому со мной и с моей сестрицей села в экипаж, а все прочие пошли пешком.

Крепкие и сильные наши лошади были все в мыле и так тяжело дышали, что мне жалко было на них смотреть. Таким образом, останавливаясь несколько раз на каждом удобном месте, поднялись мы благополучно на эту исполинскую гору.⁵³ У бабушки Прасковьи Ивановны был свой дом в Симбирске, в который она, однако, никогда не въезжала. Мы остановились в нем. Дом был по-тогдашнему прекрасный, хорошо убран и увешан картинами, до которых покойный Михайла Максимыч, как видно, был большой охотник. Если б я не видел Никольского, то и этот дом показался бы мне богатым и роскошным; но после Никольского дворца я нашел его не стоящим внимания.

Отец с матерью ни с кем в Симбирске не виделись; выкормили только лошадей да поели стерляжьей ухи, которая показалась мне лучше, чем в Никольском, потому что той я почти не ел, да и вкуса ее не заметил: до того ли мне было!..

Часа в два мы выехали из Симбирска в Чурасово и на другой день около полден туда приехали.

Прасковья Ивановна давно ожидала нас и чрезвычайно нам обрадовалась; особенно она ласкала мою мать и говорила ей: «Я знаю, Софья Николавна, что если б не ты, то Алексей не собрался бы подняться из Багрова в деловую пору; да, чай, и Арина Васильевна не пускала. Ну, теперь покажу я тебе свой сад во всей его красоте. Яблоки только что поспели, а иные еще поспевают.

Как нарочно, урожай отличный. Посмотрю я, какая ты охотница до яблок?» Мать с искреннею радостью обнимала приветливую хозяйку и говорила, что если б от нее зависело, то она не выехала бы из Чурасова. Александра Ивановна Ковригина также очень

⁵³ Впоследствии этот въезд понемногу срывали, и он год от году становился положе и легче; но только недавно устроили его окончательно, то есть сделали вполне удобным, спокойным и безопасным. (Примеч. автора.)

обрадовалась нам и сейчас послала сказать Миницким, что мы приехали. Гостей на этот раз никого не было, но скоро ожидали многих.

Прасковья Ивановна, не дав нам опомниться и отдохнуть после дороги, сейчас повела в свой сад. В самом деле, сад был великолепен: яблони, в бесчисленном количестве, обремененные всеми возможными породами спелых и поспевающих яблок, блиставших яркими красками, гнулись под их тяжестью; под многие ветви были подставлены подпорки, а некоторые были привязаны к стволу дерева, без чего они бы сломились от множества плодов. Сильные родники били из горы по всему скату и падали по уступам натуральными каскадами, журчали, пенились и потом текли прозрачными, красивыми ручейками, освежая воздух и оживляя местность. Прасковья Ивановна была неутомимый ходок; она водила нас до самого обеда то к любимым родникам, то к любимым яблоням, с которых сама снимала какой-то длинную рогулькою лучшие спелые яблоки и потчевала нас.

Мать в самом деле была большая охотница до яблок и ела их так много, что хозяйка, наконец, перестала потчевать, говоря: «Ты этак, пожалуй, обедать не станешь». Старый буфетчик Иванушка уже два раза приходил с докладом, что кушанье остынет. Мы не исходили и половины сада, но должны были воротиться. Мы прямо прошли в столовую и сели за обед. В первый раз случилось, что и нас с сестрицей в Чурасове посадили за один стол с большими. С этих пор мы уже всегда обедали вместе, чем мать была особенно довольна. Прасковья Ивановна была так весела, так разговорчива, проста и пряма в своих речах, так добродушно смеялась, так ласково на нас смотрела, что я полюбил ее гораздо больше прежнего. Она показалась мне совсем другою женщиной, как будто я в первый раз ее увидел. Мы по-прежнему заняли кабинет и детскую, то есть бывшую спальню, но уже не были стеснены постоянным сиденьем в своих комнатах, и стали иногда ходить и бегать везде; вероятно, отсутствие гостей было этому причиной, но впоследствии и при гостях продолжалось то же. На другой день приехали из своей Подлесной Миницкие, которых никто не считал за гостей. Они встретились с моим отцом и матерью, как искренние друзья. Точно так, как и вчера, мы все вместе с Миницкими до самого обеда осматривали остальную половину сада, осмотрели также оранжереи и грунтовые сараи; но Прасковья Ивановна до них была небольшая охотница.

Она любила все растущее привольно, на открытом, свежем воздухе, а все добытое таким трудом, все искусственное ей не нравилось; она только терпела оранжереи и теплицы, и то единственно потому, что они были уже заведены прежде. В чурасовском саду всего более нравились мне родники, в которых я находил, между камешками, множество так называемых чертовых пальцев необыкновенной величины; у меня составилось их такое собрание, что не помещалось на одном окошке. Впрочем, это удовольствие скоро мне наскучило, а яблонный сад – еще более, и я стал с грустью вспоминать о Багрове, где в это время отлично клевали окуни и где охотники всякий день травили ястребами множество перепелок. Гораздо больше удовольствия доставляли мне книги, которые я читал с большою свободою, чем прежде. Тут прочел я несколько романов, как-то: «Векфильдский священник»,⁵⁴ «Герберт, или Прощай богатство».⁵⁵ Особенно понравилась мне своей таинственностью «Железная маска»;⁵⁶ интерес увеличивался тем, что это была не выдумка, а истинное происшествие, как уверял сочинитель.

Отец мой, побывав в Старом Багрове, уехал хлопотать по делам в Симбирск и

⁵⁴ «Векфильдский священник» – роман английского писателя О.Голдсмита (1728–1774). Переведен с французского в 1786 году.

⁵⁵ «Герберт, или Прощай богатство» – нравоучительный роман. Перевод с английского был сделан в 1791 году.

⁵⁶ «Железная маска, или Удивительные приключения отца и сына» – французский авантюрный роман.

Лукоянов. Он оставался там опять гораздо более назначенного времени, чем мать очень огорчалась.

Между тем опять начали наезжать гости в Чурасово и опять началась та же жизнь, как и в прошлом году. В этот раз я узнал и разглядел эту жизнь поближе, потому что мы с сестрицей всегда обедали вместе с гостями и гораздо чаще бывали в гостиной и диванной. В гостиной обыкновенно играли в карты люди пожилые и более молчали, занимаясь игрою, а в диванной сидели все неиграющие, по большей части молодые; в ней было всегда шумнее и веселее, даже пели иногда романсы и русские песни. До сих пор осталось у меня в памяти несколько куплетов песенки князя Хованского,⁵⁷ которую очень любила петь сама Прасковья Ивановна. Вот эти куплеты:

Пастухи бегут ко стаду,
Всяк с подружкою своей;
Мне твердят лишь то в досаду:
Нет, здесь нет твоих друзей.
На поля зефиры мчатся
И опять летят с полей;
Шумом их слова твердятся:
Нет, здесь нет твоих друзей.
Травка, былие, цветочек,
Желты класы, вид полей,
Всякий мне твердит листочек:
Нет, здесь нет твоих друзей.
Так, их нет со мной, конечно,
Нет друзей души моей!
Я мучение сердечно
Без моих терплю друзей.

И эти бедные вирши (напечатанные, кажется, в «Аонидах») не только в пении, где мелодия и голос певца или певицы придают достоинство и плохим словам, но даже в чтении производили на меня живое и грустное впечатление.

Я выучил их наизусть и читал с большим увлечением; окружающие хвалили меня.

Мать сказала об этом Прасковье Ивановне, и она очень была довольна, что мне так нравится любимая ее песня. Она заставила меня прочесть ее вслух при гостях в диванной и очень меня хвалила. С этих пор я стал пользоваться ее особенной благосклонностью.

Чурасовская лакейская и девичья по-прежнему, или даже более, возбуждали опасения моей матери, и она заранее взяла все меры, чтоб предохранить меня от вредных впечатлений. Она строго приказала мне ни с кем не разговаривать, не вслушиваться в речи лакеев и горничных и даже не смотреть на их неприличное между собой обращение. Евсеичу и Параше было приказано отдалять нас от чурасовской прислуги. Но исполнение таких приказаний трудно, и никогда нельзя на него полагаться. Ушей не заткнешь и глаз не зажмуришь, а услышав или увидав кое-что новое и любопытное – захочешь услышать или увидеть продолжение. Самая строгость запрещения подстрекала любопытство, и я невольно обращал внимание на многое, чего мне не надо было ни слышать, ни видеть. Опасаясь, чтоб не вышло каких-нибудь неприятных историй, сходных с историей Параша, а главное, опасаясь, что мать будет бранить меня, я не все рассказывал ей, оправдывая себя тем, что она сама позволила мне не сказывать тетушке Татьяне Степановне о моем посещении ее заповедного амбара. Дети необыкновенно внимательны, и часто неосторожно сказанное при них слово служит им поощрением к такого рода поступкам, которых они не сделали бы, не

⁵⁷ Князь Г.А.Хованский – второстепенный поэт XVIII века.

услыхав этого ободрительного слова.

Я всегда предпочитал детскому обществу общество людей взрослых, но в Чурасове оно как-то меня не удовлетворяло. Сидя в диванной и внимательно слушая, о чем говорили, чему так громко смеялись, я не мог понять, как не скучно было говорить о таких пустяках? Ничто не возбуждало моего сочувствия, и все рассказы разных анекдотов о соседях, видно очень смешные, потому что все смеялись, казались мне не занимательными и незабавными. Я пробовал даже сидеть в гостиной подле играющих в карты, но и там мне было скучно, потому что я не понимал игры, не понимал слов и не понимал споров играющих, которые иногда довольно горячились. Любимыми гостями Просковьи Ивановны были Александр Михайлыч Карамзин и Никита Никитич Философов, женатый на его сестре. Карамзина все называли богатырем; и в самом деле редко было встретить человека такого крепкого, могучего сложения. Он был высок ростом, необыкновенно широк в плечах, довольно толст и в то же время очень строен; грудь выдавалась у него вперед колесом, как говорится; нрав имел он горячий и веселый; нередко показывал он свою богатырскую силу, играя двухпудовыми гириями, как легкими шариками. Один раз, в припадке веселости, схватил он толстую и высокую Дарью Васильевну и начал метать ею, как ружьем солдатский артикул. Отчаянный крик испуганной старухи, у которой свалился платок и волосник с головы и седые косы растрепались по плечам, поднял из-за карт всех гостей, и долго общий хохот раздавался по всему дому; но мне жалко было бедной Дарьи Васильевны, хотя я думал в то же время о том, какой бы чудесный рыцарь вышел из Карамзина, если б надеть на него латы и шлем и дать ему в руки щит и копье. Н.Н.Философов был небольшого роста, но очень жив и ловок. Язык его называли бритвой: он шутил беспрестанно, и я часто слышал выражение, что он «мертвого рассмешит». Но повторяю, что все это как-то мало меня занимало, и я обратился к детскому обществу милой моей сестрицы, от которого сначала удалялся. Ей было не скучно в это время, потому что в Чурасове постоянно гостили две дочери Миницких, с которыми она очень подружилась. Старшая из них, А.П., была мне ровесница и так же, как я, очень любила читать книжки. Она привезла с собой тетрадку стихотворений князя Ив. М.Долгорукова. Она очень любила его стихи и предпочитала всем другим стихам, которые слышала от меня. Я горячо вступался за своих, известных мне стихотворцев, выученных мною почти наизусть, и у нас с ней почти всегда выходили прежаркие споры.

Противница моя не соглашалась со мной, и я, чтоб отомстить ей за оскорбленную честь любимых мною сочинителей, бранил князя Ивана Михайловича Долгорукова, хотя, сказать по правде, он мне очень нравился,⁵⁸ особенно стихи «Бедняку», начинающиеся так:

Парфен! Напрасно ты вздыхаешь
О том, что должен жить в степи,
Где с горя, скуки изнываешь.
Ты беден – следственно, терпи.
Блаженство даром достается
Таким, как ты, – на небеси;
А здесь с поклона все дается,
Ты беден – следственно, терпи!

и пр.

Потихоньку я выучил лучшие его стихотворения наизусть. Дело доходило иногда до ссоры, но ненадолго: на мировой мы обыкновенно читали наизусть стихи того же князя Долгорукова, под названием «Спор». Речь шла о достоинстве солнца и луны. Я восторженно декламировал похвалы солнцу, а Миницкая повторяла один и тот же стих, которым

⁵⁸ Надобно признаться, что и теперь, не между детьми, а между взрослыми, заслуженными литераторами и дилетантами литературы, очень часто происходит точно то же. (Примеч. автора.)

заканчивался почти каждый куплет: «Все так, да мне луна милей». Вот как мы это делали:

Я

Луч солнца греет и питает;
Что может быть его светлей?
Он с неба в руды проникает...

Миницкая

Все так, да мне луна милей.

Я

Когда весной оно проглянет
И верх озолотит полей,
Все вдруг цвести, рождаться станет...

Миницкая

Все так, да мне луна милей...

и пр. и пр.

Потом Миницкая читала последующие куплеты в похвалу луне, а я – окончательные четыре стиха, в которых вполне выражается любезность князя Долгорукова:

Вперед не спорь, да будь умнее
И знай, пустая голова,
Что всякой логики сильнее
Любезной женщины слова.

Из такого чтения выходило что-то драматическое. Я много и усердно хлопотал, передавая мои литературные убеждения, наконец довел свою противницу до некоторой уступки; она защищала кн. Долгорукова его же стихом и говорила нараспев звучным голосом своим, не заботясь о мере: Все так, да Долгорукой мне милей!

Долгое отсутствие моего отца, сильно огорчавшее мою мать, заставило Прасковью Ивановну послать к нему на помощь своего главного управляющего Михайлушку, который в то же время считался в Симбирской губернии первым поверенным, ходоком по тяжёлым делам: он был лучший ученик нашего слепого Пантелея. Не говоря ни слова моей матери, Прасковья Ивановна написала письмо к моему отцу и приказала ему сейчас приехать. Отец мой немедленно исполнил приказание и, оставя вместо себя Михайлушку, приехал в Чурасово.

Мать обрадовалась, но радость ее очень уменьшилась, когда она узнала, что отец приехал по приказанию тетушки. Я слышал кое-какие об этом неприятные разговоры. Через несколько дней, при мне, мой отец сказал Прасковье Ивановне: «Я исполнил, тетушка, вашу волю; но если я оставлю дело без моего надзора, то я его проиграю». Прасковья Ивановна отвечала, что это все вздор и что Михайлушка побольше смыслит в делах. Отец мой остался, но весьма неохотно. Предсказание его сбылось: недели через две Михайлушка воротился и объявил, что дело решено в пользу Богдановых. Отец мой пришел в отчаяние, и все уверения Михайлушки, что это ничего не значит, что дело окончательно должно решиться в сенате (это говорил и наш Пантелей), что тратиться в низших судебных местах – напрасный убыток, потому что, в случае выгодного для нас решения, противная сторона взяла бы дело на

апелляцию и перенесла его в сенат и что теперь это самое следует сделать нам, – нисколько не успокаивали моего отца. Прасковья Ивановна и мать соглашались с Михайлушкой, и мой отец должен был замолчать. Михайлушке поручено было немедленно выхлопотать копию с решения дела, потому что прошение в сенат должен был сочинить поверенный, Пантелей Григорьич, в Багрове.

Между тем наступал конец сентября, и отец доложил Прасковье Ивановне, что нам пора ехать, что к покрову он обещал воротиться домой, что матушка все нездорова и становится слаба; но хозяйка наша не хотела и слышать о нашем отъезде. «Все пустое, – говорила она, – матушка твоя совсем не слаба, и ей с дочками не скучно, да и внучек ей оставлен на утешение. Я отпущу вас к вашему празднику, к знаменью». Отец мой докладывал, что до знаменья, то есть до 27 ноября, еще с лишком два месяца и что в половине ноября всегда становится зимний путь, а мы приехали в карете. Прасковья Ивановна признала такое возражение справедливым и сказала: «Ну, так и быть, отпускаю вас к Михайлину дню».

Как ни хотелось моему отцу исполнить обещание, данное матери, горячо им любимой, как ни хотелось ему в Багрово, в свой дом, в свое хозяйство, в свой деревенский образ жизни, к деревенским своим занятиям и удовольствиям, но мысль послушаться Прасковьи Ивановны не входила ему в голову. Он повиновался, как и всегда. Я был огорчен не меньше отца. С каждым днем более надоедала мне эта городская жизнь в деревне; даже мать скорее желала воротиться в противное ей Багрово, потому что там оставался маленький братец мой, которому пошел уже третий год. Отец очень грустил и даже плакал. П.И.Миницкий и А.И.Ковригина, как самые близкие люди к Прасковье Ивановне, решились попробовать упросить ее, чтоб она нас отпустила или, по крайней мере, хоть одного моего отца. Но Прасковья Ивановна приняла такое ходатайство с большим неудовольствием и сказала: «Алексея я, пожалуй бы, отпустила, да это огорчит Софью Николавну, а я так ее люблю, что не хочу с ней скоро расстаться и не хочу ее огорчить». Делать было нечего. Отложили мысль об отъезде, попринаудили себя, и веселая чурасовская жизнь потекла по-прежнему. Пришел покров. Проснувшись довольно рано поутру, я увидел, что отец мой сидит на постели и вздыхает. Я спросил его о причине, и он, встав потихоньку, чтоб не разбудить мою мать, подошел ко мне, сел на диван, на котором я обыкновенно спал, и сказал вполголоса: «Я уж давно не сплю. Я видел дурной сон, Сережа. Верно, матушка очень больна». Слезы показались у него на глазах. Мне стало так жаль бедного моего отца, что я начал его обнимать и сам готов был заплакать. В самую эту минуту проснулась мать и очень удивилась, увидя, что мы с отцом обнимаемся. Она подумала, не захворал ли я; но отец рассказал ей, в чем состояло дело, рассказал также и свой сон, только так тихо, что я ни одного слова не слышал. Мать старалась его успокоить и говорила, что он видел сон страшный, а не дурной и что «праздничный сон – до обеда». Эти слова запали в мой ум, и я принялся рассуждать: «Как же это маменька всегда говорила, что глупо верить снам и что все толкования их – совершенный вздор, а теперь сама сказала, что отец видел страшный, а не дурной сон? Стало, бывают сны дурные? Стало, праздничный сон сбывается до обеда? Сегодня большой праздник. Вот увидим, что случится до обеда». Кажется, мать успела успокоить моего отца, потому что после они разговаривали весело. Вскоре все встали, начали одеваться и потом пошли к обедне. Прасковья Ивановна была уже в церкви. Мало-помалу собрались все гости и домашние: началась служба; священник и дьякон были в новых золотых ризах. Прасковья Ивановна пела, стоя у клироса, вместе с своими певчими. По окончании обедни все поздравили ее с праздником и весело возвратились в дом, кто пешком, кто в дрожках и линейках, потому что накрапывал дождь. В гостиной нас ожидал чай и кофе. Вдруг вошел человек, подал моему отцу письмо и сказал, что его привез нарочный из Багрова. Отец мой побледнел, руки у него затряслись; он с трудом распечатал конверт, прочел первые строки, зарыдал, опустил письмо на колени и сказал: «Матушка отчаянно больна». Все очень встревожились, но мать и я были особенно поражены, потому что вспомнили сон. Не дочитывая письма, отец обратился к Прасковье Ивановне и твердым

голосом сказал: «Как вам угодно, тетушка, а мы сегодня же едем; если вы не пустите Софью Николавну, то я поеду один, на перекладных, в телеге». Прасковья Ивановна, сама очень встревоженная, торопливо сказала: «Поезжайте все, я вас не держу». Отец ту же минуту вышел, чтоб распорядиться к немедленному отъезду. Письмо дочитали; тетушка Татьяна Степановна писала: «Поспешите, братец, своим приездом. Матушка отчаянно больна. Третий день в жару и без памяти. Послали за священником. Я к вам посылаю нарочного, моего Николая. Приказала ему и день и ночь ехать на переменных. Матушка как опомнится на минутку, то все спрашивает вас». В конце была приписка, что священник приехал, исповедовал больную глухою исповедью и приобщиł запасными дарами и говорит, что она очень трудна.

Видно было, что Прасковью Ивановну сильно взволновало и огорчило это известие. Она не пустила моего отца к покрову в Багрово без всякой основательной причины и, конечно, очень в том раскаивалась. Печально и строго было ее лицо, брови сдвинуты. Она долго молчала; молчали и все.

Потом, сказав: «Боже сохрани и помилуй, если он не застанет матери!» – встала и ушла в свою спальню. Страх и жалость боролись в моей душе. Мне жалко было бабушку и еще более жалко моего отца. Но скоро суеверный страх взял верх, овладел всеми моими чувствами. К покрову отец обещал приехать, в покров видел дурной сон, и в тот же день, через несколько часов, – до обеда сон исполнился. Что же это значит? ли после этого не верить снам? Не бог ли посылает их? И я верил им, хотя мои сны не сбывались.

Мать пошла укладываться, и к обеду было все уложено. Подали кушать.

Прасковья Ивановна наперед зашла к нам в кабинет. Она была уже спокойна и твердым голосом уговаривала моего отца не сокрушаться заранее, а положиться во всем на милость божию. «Я надеюсь, – между прочим, сказала она, – что господь не накажет так строго меня, грешную, за мою неумышленную вину.

Надеюсь, что ты заставишь Арину Васильевну живою, и что в день покрова божией матери, то есть сегодня, она почувствует облегчение от болезни».

Отец мой как будто несколько ободрился от ее слов. Прасковья Ивановна взяла за руки моего отца и мать и повела их в залу, где ожидало нас множество гостей, съехавшихся к празднику. Она посадила нас всех около себя и особенно занималась нами. Покуда мы обедали, карета была подана к крыльцу.

После стола, выпив кофею, без чего Прасковья Ивановна не хотела нас пустить, она первая встала и, помолясь богу, сказала: «Прощайте, друзья мои. Благодарю Алексея Степаныча за исполнение моего желанья и за послушание. А тебя, Софья Николавна, за твою родственную любовь и дружбу.

Кажется, мы с тобой друг друга не разлюбим. Пришлите ко мне нарочного с известием об Арине Васильевне...»

Через несколько минут мы уже ехали небольшой рысью и по грязной дороге. Осенний мелкий дождь с ветром так и рубил в поднятое окно, подле которого я сидел, и водяные потоки, нагоняя и перегоняя друг друга, невольно наблюдаемые мною, беспрестанно текли во всю длину стекла. Не успел я опомниться, как уже начало становиться темно, и сумерки, как мне казалось, гораздо ранее обыкновенного, обхватили нашу карету. Чуть-чуть светлела красноватая полоса там, где село солнышко. У нас была совершенная тишина; никто не говорил ни одного слова.

ОСЕННЯЯ ДОРОГА В БАГРОВО

На другой день, часов в десять утра, въехали мы в Симбирск. Погода стояла самая неблагоприятная: по временам шел мелкий, осенний дождь и постоянно дул страшный ветер. Мы остановились в том же доме, выкормили лошадей и сейчас поехали на перевоз. Спуск с Симбирской горы представлял теперь несравненно более трудностей, чем подъем на нее: гора ослизла, тормоза не держали и карета катилась боком по кособокому. Остаться в

экипаже было опасно, и мы, несмотря на грязь и дождь, должны были идти пешком. Волга... страшно вообразить, что такое была Волга! Она вся превратилась в водяные бугры, которые ходили взад и вперед, желтые и бурые около песчаных отмелей и черные посередине реки; она билась, кипела, металась во все стороны и точно стонала; волны беспрестанно хлестали в берег, взбегая на него более, чем на сажень. По всему водяному пространству, особенно посреди Волги, играли беляки: так называются всплески воды, когда гребни валов, достигнув крайней высоты, вдруг обрушиваются и рассыпаются в брызги и белую пену. Невыразимый ужас обнял мою душу, и одна мысль плыть по этому страшному пути леденила мою кровь и почти лишала меня сознания. На берегу сказали нам, что теперь перевозу нет и что все перевозчики разошлись, кто в кабак, кто в харчевню. Но отец мой немедленно хотел ехать и послал отыскать перевозчиков; сейчас явилось несколько человек и сказали, что надо часок погодить, что перед солнечным закатом ветер стихнет и что тогда будет благополучно доставить нас на ту сторону. Между тем, в ожидании этого благополучного часа, стали грузиться. Опять выбрали лучшую и новую завозню, поставили нашу карету, кибитку и всех лошадей. Ветер в самом деле стал как будто утихать.

Заметили, что с той стороны отвалила завозня, и наша проворно отчалила от пристани и пошла на шестах вверх около берега, намереваясь взвестись как выше. С нами остались Параша и Евсеич. Приготовили и для нас большую косную лодку. Явился знакомый нам хозяин, или перевозчик староста, как его иногда называли; он сам хотел править кормовым веслом и отобрал отличных шестерых гребцов, но предложил подождать еще с полчаса. Слава богу, что он сделал нам это предложение, потому что ветер, утихнув на несколько минут, разыгрался пуще прежнего, и пуще прежнего закипела Волга, и сами перевозчики сказали, что «оно, конечно, доставить, да будет маленько страховито; лодка станет нырять, и, пожалуй, господа напугаются».

Тут я точно очнулся от какого-то оцепенения и со слезами принялся просить и молить, чтоб сегодня не ездить. В первый раз я видел, что отец сердился на меня и говорил, что я «дрянь, трусишка!» «Ну, посмотри на сестру, – продолжал он, – ведь тебе стыдно! Она девочка, а не плачет и не просит, чтоб остались». Сестрица моя точно не плакала. Но когда спросили ее: «Ты не боишься? Хочешь ехать?» – она отвечала, что боится и ехать не хочет. Мать, видя, что я весь дрожу от страха, стала уговаривать отца остаться до утра.

Отец все не соглашался. Перевозчики молча смотрели на нас несколько времени; наконец хозяин сказал: «Али до утра, ваше благородие? На заре беспрременно ветер затихнет, и мы вас мигом доставим. Погодка точно разыгралась, и вашу завозню больно далеко снесет. Вот она только что пошла на перебой, а уж теперь ниже пристани. Версты две снесет. Придется им заночевать у Гусиной Луки⁵⁹ и завтра навряд теперь им добиться до пристани прежде вас». Эти слова порешили дело. Но возник вопрос, где ночевать, на чем спать и что есть? Платье, подушки, постели, съестные припасы – все было отправлено на ту сторону, а утренней зари надо дожидаться часов двенадцать.

Хозяин вывел нас из затруднения: он предложил нам свою квартиру, которую нанимал для себя и работников на самом берегу, а что-нибудь поесть обещал достать нам из харчевни. Мы с благодарностью воспользовались его предложением; дождь порядочно уже нас вымочил, и мы с радостью вошли в теплую избу, которую всю нам уступили. Чаю в харчевне нельзя было достать, но и тут помог нам хозяин: под горою, недалеко от нас, жил знакомый ему купец; он пошел к нему с Евсеичем, и через час мы уже пили чай с калачами, который был и приятен, и весьма полезен всем нам; но ужинать никто из нас не хотел, и мы очень рано улеглись кое-как по лавкам на сухом сене.

Чуть брезжилось, когда нас разбудили; даже одеваться было темно. Боже мой, как нам с сестрицей не хотелось вставать! Из теплого гнездышка идти на сырой и холодный осенний воздух, на самом рассвете, когда особенно сладко спится, да еще прямо на лодку!.. Но отец

⁵⁹ Гусиною Лукою назывался длинный залив позади песчаной косы. (Примеч. автора.)

беспреданно торопил, и мы, одевшись, почти бегом побежали на пристань: красная заря горела сквозь серое небо и предвещала сильный ветер. Дождя не было, но нельзя сказать, чтоб было тихо: резкий ветерок уже упорно тянул и крупной рябью подергивал водяную поверхность. Гребцы, держа в руках весла, сидели на своих местах.

Хозяин поспешно перевел нас по доскам на лодку и усадил в ней по лавкам на самой середине. Страх сжимал мое сердце, и я сидел, как говорится, ни жив ни мертв. Мы недолго взводились вверх и скоро пошли на перебой. Гребцы работали с необыкновенным усилием, лодка летела; но едва мы, достигнув середины Волги, вышли из-под защиты горы, подул сильный ветер, страшные волны встретили нас, и лодка начала то подыматься носом вверх, то опускаться кормою вниз; я вскрикнул, бросился к матери, прижался к ней и зажмурил глаза. Я открыл их тогда, когда услышал, что до берегу недалеко.

Точно, берег был уже близок, но в лодке происходила суматоха, которой я с закрытыми глазами до тех пор не замечал, и наш кормщик казался очень озабоченным и даже испуганным. Гребли только четверо, а двое гребцов выливали воду, один – каким-то длинным ковшом, а другой – шляпой. Вода в лодке выступила уже сквозь пол и подмочила нам ноги, а в корме было ее очень много. Я не вполне понял важность происшествия и очень удивился, когда отец, высадив нас всех на берег, накинулся с бранью на хозяина гребцов. «Ах ты, разбойник, – говорил мой отец, – как мог ты подать нам худую лодку! Ведь ты нас едва не утопил! Да знаешь ли ты, что я тебя сейчас отправлю к симбирскому городничему?» Бедный наш кормщик, стоя без шляпы и почтительно кланяясь, говорил: «Помилуйте, ваше благородие, разве я этому делу рад, разве мне свой живот надоел? Ведь и я потонул бы вместе с вами.

Грех такой вышел. Хотел поусердствовать вам, самую лучшую посуду дал, новую; только большим господам ее дают. Всего раз десять была в деле. С успеньева дня ее и не трогали. Воды не было ни капли, как мы поехали. Ума не приложу, отчего такая беда случилась. Я, вестимо, без вины виноват.

Помилосердствуйте, простите, заставьте за себя век бога молить...» – и он повалился в ноги моему отцу. Ему сейчас велели встать и сказали, что прощают ему его вину и жаловаться не будут.

Завозни нашей с каретой еще у пристани не было: предсказание нашего хозяина-кормщика сбылось из слова в слово. Она медленно подвигалась на шестах снизу и находилась еще от нас не менее версты, как говорили перевозчики. Отцу моему захотелось узнать, отчего потекла наша лодка; ее вытащили на берег, обернули вверх дном и нашли, что у самой кормы она проломлена чем-то острым; дыра была пальца в два шириною. Как это случилось, никто объяснить не мог. Долго толковали перевозчики и наконец порешили, что это кто-нибудь со зла проломил железным ломом. Отверстие было довольно высоко над водою, и в тихую погоду было плавать на лодке безопасно, но гребни высоких валов попадали в дыру. Если б не доглядели и не принялись вовремя выливать воду, лодка наполнилась бы ею, села глубже, и тогда гибель была неизбежна. Тут только я понял, какой опасности мы подвергались, и боязнь, отвращение от переправ через большие реки прочно поселилась в моей душе. Наконец приплыла наша завозня; она точно ночевала у Гусиной Луки, на мели, кое-как привязавшись к воткнутым в песок шестам.

Люди наши рассказывали, что натерпелись такого страха, какого сроду не видывали, что не спали всю ночь и пробились с голодными лошадьми, которые не стояли на месте и несколько раз едва не опрокинули завозню. Нас ожидала новая остановка и потеря времени: надо было заехать в деревню Часовню, стоящую на самом берегу Волги, и выкормить лошадей, которые около суток ничего не ели.

Нельзя было узнать моего отца. Всегда тихий и спокойный, он рвался с досады, что столько времени пропадало даром, и беспреданно сердился. Мать принуждена была его уговаривать и успокаивать, что всегда, бывало, делывал отец с нею, и я с любопытством смотрел на эту перемену. Мать говорила очень долго и так хорошо, как и в книжках не пишут. Между прочим, она сказала ему, что безрассудно сердиться на Волгу и бурю, что

такие препятствия не зависят от воли человеческой, и что грешно роптать на них, потому что их посылает бог, что, напротив, мы должны благодарить его за спасение нашей жизни... Но я не умею так рассказать, как она говорила. Наконец мало-помалу отец мой успокоился, хотя все оставался очень грустен. Выкормив лошадей, мы пустились в дальнейший путь. Мы не жалели своих добрых коней, и в две упряжки, то есть в два переезда, проехали почти девяносто верст, и на другой день в обед были уже в Вишенках. Простояв часа четыре, мы опять пустились в дорогу и ночевали в деревне, называемой «Один двор». Судьба захотела испытать терпение моего отца. Когда душа его рвалась в Багрово, к умирающей матери, препятствия вырастали на каждом шагу. Все путешествие наше было самое неудачное, утомительное, печальное. После постоянного ненастья, от которого размокла черноземная почва, сначала образовалась страшная грязь, так что мы с трудом стали уезжать по пятидесяти верст в день; потом вдруг сделалось холодно, и, поднявшись на заре, чтоб выбраться пораньше из грязного «Одного двора», мы увидели, что грязь замерзла и что земля слегка покрыта снегом. Сначала отец не встревожился этим и говорил, что лошадям будет легче, потому что подмерзло, мы же с сестрицей радовались, глядя на опрятную белизну полей; но снег продолжал идти час от часу сильнее и к вечеру выпал с лишком в полторы четверти; езда сделалась ужасно тяжела, и мы едва тащились шагом, потому что мокрый снег прилипал к колесам и даже тормозил их. Так ехали мы целый следующий день и проехали только тридцать верст. К вечеру пошел дождь, снег почти растаял, и хотя дорога стала еще грязнее, но все лошадям было легче. Тут явилась новая беда: мать захворала, и так сильно, что, отъехав двадцать пять верст, мы принуждены были остановиться и простоять более суток. Как было грустно мне и моей милой сестрице! Мы жили в грязной чувашской избе. Мать лежала под пологом, отец с Парашей беспрестанно подавали ей какие-то лекарства, и мы, сидя в другом углу, перешептывались вполголоса между собой и молились богу, чтоб он послал маменьке облегчение.

Только на седьмой день, довольно рано утром, добрались мы до Неклюдова и подъехали к крыльцу очень странно построенного дома Кальпинских, всего в двадцати верстах от Багрова. Мы с сестрицей никогда там не бывали, да и теперь бы отец не заехал, но так пришлось, что надобно было выкормить усталых лошадей. Хозяйка встретила мою мать в сенях и ушла с нею в дом, а отец посадил меня и сестру из кареты и повел за руку. В зале встретил нас И.Н.Кальпинский; отец, здороваясь с ним, поспешно спросил: «А что матушка?» – «Разве вы не знаете?» – возразил хозяин. «Вот другая неделя, как ничего не знаем», – отвечал отец. «Приказала долго жить, – преспокойно сказал Кальпинский, – скончалась в самый покров». Боже мой, что сделалось с моим отцом! Он всплеснул руками, тихо промолвил: «В покров», – побледнел, весь задрожал и, конечно бы упал, если б Кальпинский не подхватил его и не посадил на стул. Между тем матери в гостиной успели уже сказать о кончине бабушки; она выбежала к нам навстречу и, увидя моего отца в таком положении, ужасно испугалась и бросилась помогать ему. Принесли холодной воды, вспрыснули ему лицо, облили голову, отец пришел в себя, и ручьи слез полились по его бледному лицу. Ему дали выпить стакан холодной воды, и Кальпинский увел его к себе в кабинет, где отец мой плакал навзрыд более часу, как маленькое дитя, повторяя только иногда: «Бог судья тетушке! На ее душе этот грех!» Между тем вокруг него шли уже горячие рассказы и даже споры между моими двоюродными тетушками, Кальпинской и Лупеневской, которая на этот раз гостила у своей сестрицы. С мельчайшими подробностями рассказывали они, как умирала, как томила моя бедная бабушка; как понапрасну звала к себе своего сына; как на третий день, именно в день похорон, выпал такой снег, что не было возсти провезти тело покойницы в Неклюдово, где и могилка была для нее вырыта, и как принуждены были похоронить ее в Мордовском Бугуруслане, в семи верстах от Багрова. «Вот бог-то все по-своему делает, – говорила Флена Ивановна Лупеневская, – покойный дядюшка Степан Михайлыч, царство ему небесное, не жаловал нашего Неклюдова и слышать не хотел, чтоб его у нас похоронили, а косточки его лежат возле нашей церкви. Тетушка же так нас любила, как родных дочерей, и всей душенькой желала и приказывала,

чтоб положить ее в Неклюдове, рядом с Степаном Михайлычем, а пришлось лечь в Мордовском Бугуруслане у отца Василия». Катерина же Ивановна Кальпинская прибавляла вполголоса, как будто про себя: «Так уж сами не захотели. Все генеральша. И провезти было и подождать было, снег-то всего лежал одни сутки». Но Флена Ивановна, вслушавшись, возразила: «Полно, матушка-сестрица, что ты грешишь на Елизавету Степановну и на всех. Проезду не было ни на санях, ни на колесах.

Ведь мы и сами поехали на похороны, да от Бахметевки воротились, ведь на Савруше-то мост снесло, а ждать тоже было нельзя, да и снег-то, может, и не сошел бы. Нет, сестрица, не греши; уж так было угодно богу; а вот братец-то не застал Арины Васильевны, так это жалко». Такими-то утешительными разговорами успокаивали хозяйки огорченного сына! Наконец сестры заспорили и подняли крик. Мать упростила всех оставить моего отца одного. Даже нас выслала и сама с ним осталась. После она сказала мне, что отец долго еще плакал и, наконец заснул у нее на груди. У Катерины Ивановны Кальпинской было три дочери и один сын, еще маленький. Мы их совсем не знали. Они сначала дичились нас, но потом стали очень ласковы и показались нам предобрými; они старались нас утешить, потому что мы с сестрицей плакали о бабушке, а я еще более плакал о моем отце, которого мне было так жаль, что я и пересказать не могу. Нас потчевали чаем и завтраком; хотели было потчевать моего отца и мать, но я заглянул к ним в дверь, мать махнула мне рукой, и я упрости, чтоб к ним не входили. Часа через два вышла к нам мать и сказала: «Слава богу, теперь Алексей Степаныч спокойнее, только хочет поскорее ехать». Но лошадям надо было хорошенько отдохнуть и выкормиться, а потому мы пробыли еще часа два и даже пообедали; отец не выходил за стол и ничего не ел. После обеда мы распростились с хозяевами и тотчас поехали.

Всю остальную дорогу я смотрел на лицо моего отца. На нем выражалась глубокая, неутешная скорбь, и я тут же подумал, что он более любил свою мать, чем отца; хотя он очень плакал при смерти дедушки, но такой печали у него на лице я не замечал. Мать старалась заговаривать с ним и принуждала отвечать на ее вопросы. Она с большим чувством и нежностью вспоминала о покойной бабушке и говорила моему отцу: «Ты можешь утешаться тем, что был всегда к матери самым почтительным сыном, никогда не огорчал ее и всегда свято исполнял все ее желания. Она прожила для женщины долгий век (ей было семьдесят четыре года); она после смерти Степана Михайлыча ни в чем не находила утешения и сама желала скорее умереть». Отец мой отвечал, проливая уже тихие слезы, что это все правда и что он бы не сокрушался так, если б только получил от нее последнее благословение, если б она при нем закрыла свои глаза. «Тетушка всему причиной, – с горячностью сказал мой отец. – Зачем она меня не пустила? Из каприза...» Мать прервала его и начала просить, чтоб он не сердился и не винил Прасковью Ивановну, которая и сама ужасно огорчена, хотя и скрывала свои чувства, которая не могла предвидеть такого несчастья. «Правда, правда, – сказал мой отец со вздохом, – видно, уж так угодно богу», снова залился слезами и обнял мою мать. Мы с сестрицей во все время плакали потихоньку, и даже Параша утирала свои глаза. В разговорах такого рода прошла вся дорога от Неклюдова до Багрова, и я удивился, как мы скоро доехали. Карета с громом въехала на мост через Бугуруслан, и тут только я догадался, что мы так близко от нашего милого Багрова. Эта мысль на ту минуту рассеяла мое печальное расположение духа, и я бросился к окошку, чтоб посмотреть на наш широкий пруд. Боже мой! Как показался он мне печален! Дул жестокий ветер, мутные валы ходили по всему пруду, так что напомнили мне Волгу; мутное небо отражалось в них; камыши высохли, пожелтели, волны и ветер трепали их во все стороны, и они глухо и грустно шумели. Зеленые берега, зеленые деревья – все пропало. Деревья, берега, мельница и крестьянские избы – все было мокро, черно и грязно. На дворе радостным лаем встретили нас Сурка и Трезор (легавая собака, которую я тоже очень любил); я не успел им обрадоваться, как увидел, что на крыльце уже стояли двое дядей, Ерлыкин и Каратаев, и все четыре тетушки: они приветствовали нас громким вытьем, какое уже слышал я на дедушкиных похоронах. Нашу карету видели еще издали, когда она только

начала спускаться с горы, а потому не только тетушки и дяди, но вся дворня и множество крестьян и крестьянок толпою собрались у крыльца.

ЖИЗНЬ В БАГРОВЕ ПОСЛЕ КОНЧИНЫ БАБУШКИ

Можно себе вообразить, сколько тут было слез, рыданий, причитаний, обниманья и целованья. Мать со мной и сестрицей скоро вошла в дом, а отец долго не приходил; он со всеми поздоровался и со всеми поплакал. Наконец собрались в гостиную, куда привели и милого моего братца, который очень обрадовался нам с сестрицей. В короткое время нашей разлуки он вырос, очень похорошел и стал лучше говорить. Двоюродные сестры наши, Ерлыкины, также были там. Мы увиделись с ними с удовольствием, но они обошлись с нами холодно. Целый вечер провели в печальных рассказах о болезни и смерти бабушки. У ней было предчувствие, что она более не увидит своего сына, и она, даже еще здоровая, постоянно об том говорила; когда же сделалась больна, то уже не сомневалась в близкой смерти и сказала: «Не видать мне Алеши!» Впрочем, причина болезни была случайная и, кажется, от жирной и несвежей пищи, которую бабушка любила. Перед кончиной она не отдала никаких особенных приказаний, но поручала тетушке Аксинье Степановне, как старшей, просить моего отца и мать, чтоб они не оставили Танюшу, и, сверх того, приказала сказать моей матери, что она перед ней виновата и просит у ней прощенья. Все это Аксинья Степановна высказала при всех, к изумлению и неудовольствию своих сестер. После я узнал, что они употребляли все средства и просьбы и даже угрозы, чтоб заставить Аксинью Степановну не говорить таких, по мнению их, для покойницы унижительных слов, но та не послушалась и даже сказала при них самих. Мать отвечала: «Я от всей души прощаю, если матушка (царство ей небесное!) была против меня в чем-нибудь несправедлива. Я и сама была виновата перед ней и очень сокрушаюсь, что не могла испросить у ней прощенья. Но надеюсь, что она, по доброте своей, простила меня». После этого долго шли разговоры о том, что бабушка к покрову просила нас приехать и в покров скончалась, что отец мой именно в покров видел страшный и дурной сон, и в покров же получил известие о болезни своей матери. Все эти разговоры я слушал с необыкновенным вниманием. Припоминая наше первое пребывание в Багрове и некоторые слова, вырывавшиеся у моей матери, тогда же мною замеченные, я старался составить себе сколько-нибудь ясное и определенное понятие: в чем могла быть виновата бабушка перед моею матерью и в чем была виновата мать перед нею? Верование же мое в предчувствие и в пророческие сны получило от этих разговоров сильное подкрепление.

На другой день, рано поутру, отец мой вместе с тетушкой Татьяной Степановной уехали в Мордовский Бугуруслан. Хотя на следующий день, девятый после кончины бабушки, все собирались ехать туда, чтобы слушать заупокойную обедню и отслужить панихиду, но отец мой так нетерпеливо желал взглянуть на могилу матери и поплакать над ней, что не захотел дожидаться целые сутки.

Он воротился еще задолго до обеда, бледный и расстроенный, и тетушка Татьяна Степановна рассказывала, что мой отец как скоро завидел могилу своей матери, то бросился к ней, как иступленный, обнял руками сырую землю, «да так и замер». «Напугал меня братец, — продолжала она, — я подумала, что он умер, и начала кричать, прибежал отец Василий с попадьей, и мы все трое насилу стащили его и почти бесчувственного привели в избу к попу; насилу-то он пришел в себя и начал плакать; потом, слава богу, успокоился, и мы отслужили панихиду. Обедню я заказала, и как мы завтра приедем, так и ударят в колокол». — Я опять подумал, что отец гораздо горячее любил свою мать, чем своего отца.

В тот же день послали нарочного к Прасковье Ивановне. Мать написала большое письмо к ней, которое прочла вслух моему отцу: он только приписал несколько строк. И тогда показалось мне, что письмо написано удивительно хорошо; но тогда я не мог понять и оценить его достоинств. После я имел это письмо в своих руках — и был поражен изумительным тактом и даже искусством, с каким оно было написано: в нем заключалось

совершенно верное описание кончины бабушки и сокрушения моего отца, но в то же время все было рассказано с такою нежною пощадой и такою мягкостью, что оно могло скорее успокоить, чем растравить горечь Прасковьи Ивановны, которую известие о смерти бабушки до нашего приезда должно было очень сильно поразить.

В девятый день, в день обычного поминовения по усопшим, рано утром, все, кроме нас, троих детей и двоюродных сестер, отправились в Мордовский Бугуруслан. Отправились также и Кальпинская с Лупеневской, приехавшие накануне. Мать хотела взять и меня, но я был нездоров, да и погода стояла сырая и холодная; я чувствовал небольшой жар и головную боль. Вероятно, я простудился, потому что бегал несколько раз смотреть моих голубей и ястребов, пущенных в зиму. На просторе я заглянул в бабушкину горницу и нашел ее точно такою же, пустою и печальною, какою я видел ее после кончины дедушки. Тот же Мысеич и тот же Васька Рыжий читали псалтырь по усопшей. Я хотел было также почитать псалтырь, но не прочел и страницы, – каждое слово болезненно отдавалось мне в голову. К обеду все воротились и привезли с собой попа с попадьей, накрыли большой стол в зале, устали его множеством кушаний; потом подали разных блинов и так же аппетитно все кушали (разумеется, кроме отца и матери), крестясь и поминая бабушку, как это делали после смерти дедушки. Я почти ничего не ел, потому что разнемогался, даже дремал; помню только, что мать не захотела сесть на первое место хозяйки и сказала, что «покуда сестрица Татьяна Степановна не выйдет замуж, – она будет всегда хозяйкой у меня в доме». Помню также, что оба мои дяди, и даже Кальпинская с Лупеневской, много пили пива и наливки и к концу обеда были очень навеселе. Встав из-за стола, я прилег на канапе, заснул – и уже ничего не помню, как меня перенесли на постель. Я пролежал в жару и в забытии трое суток. Опомнившись, я сначала подумал, что проснулся после долгого сна. Мать сидела подле меня бледная, желтая и худая, но какое счастье выразилось на ее лице, когда она удостоверилась, что я не брежу, что жар совершенно из меня вышел! Какие радостные слезы потекли по ее щекам! Как она на меня смотрела, как целовала мои руки!.. Но я с удивлением принимал ее ласки; я еще более удивился, заметив, что голова и руки мои были чем-то обвязаны, что у меня болит грудь, затылок и икры на ногах. Я хотел было встать с постели, но не имел сил приподняться... Тут только мать рассказала мне, что я был болен, что я лежал в горячке, что к голове и рукам моим привязан черный хлеб с уксусом и толчеными можжевельными ягодами, что на затылке и на груди у меня поставлены шпанские мушки, а к икрам горчичники. Может быть, все это было не нужно, а может быть, именно дружное действие всех этих лекарств прервало горячку так скоро. Ничего нет приятнее выздоравливания после трудной болезни, особенно когда видишь, какую радость производит оно во всех окружающих. Пришел отец, сестрица с братцем, все улыбались, все обнимали и целовали меня, а мать бросилась на колени перед кивотом с образами, молилась и плакала. Я сейчас вспомнил, что маменька никогда при других не молится, и подумал, что же это значит?

Сердце сказало мне причину... Но мать уже перестала молиться и обратила все свое внимание, всю себя на попечение и заботы обо мне. Опасаясь, чтоб разговоры и присутствие других меня не взволновали, она не позволила никому долго у меня оставаться. Я в самом деле был так слаб, что утомился и скоро заснул. Это уже был сон настоящий, восстановитель сил, и через несколько часов я проснулся гораздо бодрее и крепче. Тут уже пришли ко мне и тетушки Аксиныя и Татьяна Степановны, очень обрадованные, что мне лучше, а потом пришел Евсеич, который даже плакал от радости. От него я узнал, что все гости и родные на другой же день моей болезни разъехались; одна только добрейшая моя крестная мать, Аксиныя Степановна, видя в мучительной тревоге и страхе моих родителей, осталась в Багрове, чтоб при случае в чем-нибудь помочь им, тогда как ее собственные дети, оставшиеся дома, были не очень здоровы. Мать горячо ценила ее добрую и любящую душу и благодарила ее как умела. Видя, что мне гораздо лучше, что я выздоравливаю, она упростила Аксиныю Степановну уехать немедленно домой.

Выздоровление мое тянулось с неделю; но мне довольно было этих дней, чтоб понять и почувствовать материнскую любовь во всей ее силе. Я, конечно, и прежде знал, видел на

каждом шагу, как любит меня мать; я слышался и даже помнил, будто сквозь сон, как она ходила за мной, когда я был маленький и такой больной, что каждую минуту ждали моей смерти; я знал, что неусыпные заботы матери спасли мне жизнь, но воспоминание и рассказы не то, что настоящее, действительно сейчас происходящее дело. Обыкновенная жизнь, когда я был здоров, когда никакая опасность мне не угрожала, не вызвала так ярко наружу лежащего в глубине души, беспредельного чувства материнской любви. Я несколько лет сряду не был болен, и вдруг в глуши, в деревне, без всякой докторской помощи, в жару и бреде увидела мать своего первенца, любимца души своей. Понятен испытанный ею мучительный страх – понятен и восторг, когда опасность миновалась. Я уже стал постарше и был способен понять этот восторг, понять любовь матери. Эта неделя много вразумила меня, много развила, и моя привязанность к матери, более сознательная, выросла гораздо выше моих лет. С этих пор, во все остальное время пребывания нашего в Багрове, я беспрестанно был с нею, чему способствовала и осенняя ненастная погода. Разумеется, половина времени проходила в чтении вслух, иногда мать читала мне сама, и читала так хорошо, что я слушал за новое – известное мне давно, слушал с особенным наслаждением и находил такие достоинства в прочитанных матерью страницах, каких прежде не замечал.

Между тем еще прежде моего совершенного выздоровления воротился нарочный, посланный с письмом к бабушке Прасковье Ивановне. Он привез от нее, хотя не собственноручную грамотку, потому что Прасковья Ивановна писала с большим трудом, но продиктованное ею длинное письмо. Я говорю длинное относительно тех писем, которые диктовались ею или были писаны от ее имени и состояли обыкновенно из нескольких строчек. Прасковья Ивановна вполне оценила, или, лучше сказать, почувствовала письмо моей матери. Она благодарила за него в сильных и горячих выражениях, часто называя мою мать своим другом. Она очень огорчилась, что бабушка Арина Васильевна скончалась без нас, и обвиняла себя за то, что удержала моего отца, просила у него прощенья и просила его не сокрушаться, а покориться воле божией. «Если б не боялась наделать вам много хлопот, – писала она, – сама бы приехала к вам по первому снегу, чтоб разделить с вами это грустное время. У вас ведь, я думаю, тоска смертная; посторонних ни души, не с кем слова промолвить, а сами вы только скуку да хандру друг на друга наводите. Вот бы было хорошо всем вам, с детьми и с Танюшей, приехать на всю зиму в Чурасово.

Подумайте-ка об этом. И я бы об вас не стала беспокоиться и скучать бы не стала без Софьи Николавны», – и проч. и проч. Приглашение Прасковьи Ивановны приехать к ней, сказанное между слов, было сочтено так, за мимолетную мысль, мелькнувшую у ней в голове, но не имеющую прочного основания. Отец мой сказал: «Вот еще что придумала тетушка! Целый век жить в дороге да в гостях; да эдак и от дому отстанешь». Тетушка Татьяна Степановна прибавила, что куда ей, деревенщине, соваться в такой богатый и модный дом, с утра до вечера набитый гостями, и что у ней теперь не веселье на уме. Даже мать сказала: «Как же зимою тащиться нам с тремя маленькими детьми». Согласно таким отзывам, было написано письмо к Прасковье Ивановне и отправлено на первой почте. Предложение ее было предано забвению.

Отец мой целые дни проводил сначала в разговорах с слепым поверенным Пантелеем, потом принялся писать, потом слушать, что сочинил Пантелей Григорьич (читал ученик его, Хорев) и, наконец, в свою очередь читать Пантелею Григорьичу свое, написанное им самим. Дело состояло в том, что они сочиняли вместе просьбу в сенат по богдановскому делу. Я слышал нередко споры между ними, и довольно горячие, в которых слепой поверенный всегда оставался победителем, самым почтительным и скромным. Говорили, что он все законы знает наизусть, и я этому верил, потому что сам слышал, как он, бывало, начнет приводить указы, их годы, числа, пункты, параграфы, самые выражения, – и так бойко, как будто разогнутая книга лежала перед его не слепыми, а зрячими глазами. Собственная речь Пантелея была совершенно книжная, и он выражался самыми отборными словами, говоря о самых обыкновенных предметах. К отцу моему, например, он всегда обращался так: «Соблаговолите, государь мой Алексей Степанович...» и т. д. Диктовал он очень скоро и

горячо, причем делал движения головой и руками. Я прокрадывался иногда в его горницу так тихо, что он не слышал, и подолгу стоял там, прислонясь к печке: Пантелей Григорыч сидел с ногами на высокой лежанке, куря коротенькую трубку, которую беспрестанно сам вычищал, набивал, вырубал огня на трут и закуривал. Он говорил громко, с одушевлением, и проворный писец Иван Хорев (Большак по прозванию), давно находившийся постоянно при нем, едва поспевал писать и повторять вслух несколько последних слов, им написанных. Я с благоговением смотрел на этого слепца, дивясь его великому уму и памяти, заменявшим ему глаза.

Проводя почти все свое время неразлучно с матерью, потому что я и писал и читал в ее отдельной горнице, где обыкновенно и спал, – там стояла моя кровать и там был мой дом, – я менее играл с сестрицей, реже виделся с ней. Я уже сказал, что мать не была к ней так ласкова и нежна, как ко мне, а потому естественно, что и сестрица не была и не могла быть с ней нежна и ласкова, даже несколько робела и смущалась в ее присутствии. Мать не высылала ее из своей спальни, но сестрице было там как-то несвободно, неловко, – и она неприметно уходила при первом удобном случае; а мать говорила: «Эта девочка совсем не имеет ко мне привязанности. Так и смотрит, как бы уйти от меня к своей няне». Мне самому так казалось тогда, и я грустно молчал, не умея оправдать сестрицу, и сам думал, что она мало любит маменьку. В самом же деле, как после оказалось, она всегда любила свою мать гораздо горячее и глубже, чем я.

Поведение тетушки Татьяны Степановны, или, лучше сказать, держанье себя с другими, вдруг переменялось, по крайней мере, она казалась уже совершенно не такою, какою была прежде. Из девушки довольно веселой и живой, державшей себя в доме весьма свободно и самостоятельно, как следует барышне-хозяйке, она вдруг сделалась печальна, тиха, робка и до того услужлива, особенно перед матерью, что матери это было неприятно. Мать сказала один раз моему отцу: «Алексей Степаныч, посоветуй, пожалуйста, своей сестрице, чтоб она не кидалась мне так услуживать, как горничная девка. Мне совестно принимать от нее такие услуги, и вообще это мне противно». Но отец мой совсем иначе смотрел на это дело. «Помилуй, матушка, – возразил он, – я ничего противного в этом не вижу. Сестра привыкла уважать и услуживать старшему в доме. Так услуживала она покойнику батюшке, потом покойнице матушке, а теперь услуживает тебе, поэтому что ты хозяйка и госпожа в Багрове». Мать не стала спорить, но через несколько дней, при мне, когда тетушка кинулась подать ей скамеечку под ноги, мать вдруг ее остановила и сказала очень твердо: «Прошу вас, сестрица, никогда этого не делать, если не хотите рассердить меня. Кстати, я давно собираюсь поговорить с вами откровенно о теперешнем нашем положении; сядьте, пожалуйста, ко мне на постель и выслушайте меня внимательно. Многое вам будет неприятно, но я стану говорить не для ссоры, а для того, чтоб у нас на будущее время не было причин к неудовольствиям. Я хочу, чтоб вы не ошибались на мой счет, не думали, что я ничего не знаю и не понимаю. Нет, я очень хорошо знаю, что сестры ваши, кроме Аксиньи Степановны, меня не любили, клеветали на меня покойнику батюшке и желали сделать мне всякое зло. Покойница матушка верила им во всем, на все смотрела их глазами и по слабости своей даже не смела им противиться; вы – также; но вам простительно: если родная мать была на стороне старших сестер, то где же вам, меньшей дочери, пойти против них? Вы с малых лет привыкли верить и повиноваться им. Я не хочу притворяться, я не люблю ваших сестер и помню их обиды; но мстить им никогда не буду. Вам же я давно все простила и все неприятное забыла. Вас уверяли, что я злодейка ваша, и вы иногда верили, хоть сердце у вас доброе; я, напротив, желаю вам добра и докажу это на деле. Вы знаете характер вашего брата: по своей мешкотности и привычке все откладывать до завтра, он долго не собрался бы устроить ваше состояние, то есть укрепить в суде за вами крестьян и перевести их на вашу землю, которая также хотя сторгована, но еще не куплена. Если я только замолчу, то он ничего не сделает, пожалуй, до тех самых пор, покуда вы не выйдете замуж; а как неустройство вашего состояния может помешать вашему замужеству и лишить вас хорошего жениха, то я даю вам слово, что в продолжение нынешнего же года все

будет сделано. Я не отстану от Алексея Степаныча, покуда он не выполнит воли своих родителей и не сдержит своего обещания. Тогда, имея свой собственный угол, если вы захотите жить со мной, то сделаете это уже добровольно, по вашему желанию. Я же, с моей стороны, очень буду рада, если вы останетесь у нас. Я не люблю домашнего хозяйства и буду благодарна вам, если вы будете им заниматься по-прежнему. Но я требую, чтоб вы не вскакивали передо мной, не услуживали мне, чтоб вы держали тебя со мной, как равная мне, одним словом, как вы держали себя при жизни Арины Васильевны. Согласны ли вы?» Татьяна Степановна давно разливалась в слезах и несколько раз хотела было броситься обнимать «матушку-сестрицу», а может быть, и поклониться в ноги, но мать всякий раз останавливала ее рукой.

Разумеется, Татьяна Степановна охотно на все согласилась и не находила слов благодарить мою мать за ее «великие милости и благодеяния». Она прибавила, что «все добро, оставшееся после покойницы матушки, собрано, переписано ею и будет представлено сестрице». Мать с горячностью возразила: «И вы думаете, что я захочу воспользоваться какими-нибудь вещами или платьями после покойницы свекрови, когда у ней осталась незамужняя родная дочь?..

Вот как вы меня мало знаете. Мне ничего не надобно; я и видеть этого не хочу; это все ваше». Засим последовала новая и очень горячая благодарность от Татьяны Степановны. Тогда только вполне объяснилось для меня положение матери, в котором жила она в семействе моего отца. Припомнив все слышанное мною в разное время от Параша и вырывавшиеся иногда слова у матери во время горячих разговоров с отцом, я составил себе довольно ясное понятие о свойствах людей, с которыми она жила. себе представить, каким высшим существом являлась мне моя мать! Я начинал смотреть на нее с благоговением, гордился ею и любил с каждым днем более.

Вдруг, вовсе неожиданно, привезли нам с почты письмо от бабушки Прасковьи Ивановны, и, к общему удивлению, вдвое длиннее первого! Прасковья Ивановна подробно высчитывала причины, по которым нам не следует оставаться эту зиму в Багрове, и уже требовала настоятельно, чтоб мы после шести недель переехали к ней в Чурасово, а великим постом воротились бы домой.

Письмо состояло из таких нежных просьб и в то же время из таких положительных приказаний, что все хотя ни слова не сказали, но почувствовали невозможность им противиться. К Татьяне Степановне было приложено особое письмецо, самое ласковое и убедительное. Прасковья Ивановна писала, что приготовит ей прекрасную, совершенно отдельную комнату, в которой жила Дарья Васильевна, теперь переведенная уже во флигель; что Татьяна Степановна будет жить спокойно, что никто к ней ходить не будет и что она может приходить к хозяйке и к нам только тогда, когда сама захочет. По прочтении обоих писем несколько времени все молчали и, казалось, все были недовольны. Наконец отец мой прервал молчание и первый заговорил: «Как же тут быть, Софья Николавна? Как же нам не исполнить желания тетушки? Ведь настоящих причин к отказу нет. Ведь тетушка прогневается». Мать отвечала, что она сама не знает, как тут быть, и что ее затрудняет только перевозка детей в зимнюю пору. «А что ты скажешь, Танюша?» – спросил мой отец. Татьяна Степановна, не задумавшись, отвечала, что ни за что не поедет, что она в Чурасове с тоски умрет и что «не хочет удалиться так скоро и так далеко от могилы своей матушки». – «Где же ты будешь жить? – продолжал мой отец. – Неужели останешься одна в Багрове?»

Тетушка задумалась и потом отвечала, что она переедет к сестрице Александре Степановне и что каждый месяц вместе с ней будет приезжать молиться и служить панихиды на могиле матери. Поговоря таким образом и ничего не решив положительно, все разошлись.

Я догадался, однако, что мы непременно поедем, и был огорчен больше всех. Как нарочно, за несколько дней до получения письма я узнал новое деревенское удовольствие, которое мне очень полюбилось: Евсеич выучил меня крыть лучком птичек, в нашем саду и огороде было их очень много. Маленький снежок покрывал уже землю; Евсеич расчистил точок и положил на него приваду из хлебной мякины и ухвостного конопляного семени.

Голодные птички очень обрадовались корму, которого доставать им уже было трудно, и дня в три привыкли летать на приваду. Тогда Евсеич поставил позади точка лучок, обтянутый сеткой, привязал к нему веревочку и протянул ее сквозь смородинный куст, за которым легко было притаиться одному человеку или даже двоим. Когда птички привыкли к лучку, стали смело возле него садиться и клевать зерна, Евсеич привел меня осторожно к кусту, сквозь голые ветки которого было видно все, что делается на точке. «Наклонись, соколики, и нишкни, — шепотом говорил Евсеич, присев на корточки. — Вот как налетят птички получше, — а теперь сидят все бески да чечетки, — тогда ты возьми за веревочку, да и дерни. Птичек-то всех и накроет лучком, а мы с тобой хорошеньких-то выберем да в клеточки и посадим». Я готов был все исполнять; через несколько времени Евсеич сказал мне: «Ну, бери веревочку; дергай!»

Дрожа от радостного нетерпения, я дернул изо всей мочи, и мы, выскочив из-за куста, прибежали к лучку. Я дернул неудачно, слишком сильно, так что лучок сорвался с места одним краем и покрыл только половину точка; но все-таки несколько птичек билось под сеткой, и мы, взяв пару щеглят, чижики и беленького бесочка, побежали домой с своей добычей. Евсеич бежал так же, как и я. И вот чем был неоцененный человек Евфрем Евсеич: он во всякой охоте горячился не меньше меня!.. Я скоро выучился крыть хорошо; а как мне жалко было выпускать пойманных птичек, то я, кроме клеток, насажал их множество в пустой садок, обтянутый сеткою, находившийся в нескольких саженьях от крыльца, где летом жили мои голуби, зимовавшие теперь по дворовым избам, в подпечках. У меня сидели в садке белые, голубые и зеленые бески или синицы, щеглята, чижи, овсянки и чечетки. Я поставил им водопойку, а когда вода замерзала, то клал снегу; поставил две небольшие березки, на которых птички сидели и ночевали, и навалил на пол всякого корма. Смотреть в этот садок, любоваться живыми и быстрыми движениями миловидных птичек и наблюдать, как они едят, пьют и ссорятся между собой — было для меня истинным наслаждением. Иногда, не довольный тепло одетый, я не чувствовал холода наступающего ноября и готов был целый день простоять, прислонив лицо к опушенной инеем сетке, если б моя мать не присылала за мною или если б Евсеич не уводил насильно в горницу.

На другой же день после получения письма от Прасковьи Ивановны, вероятно переговорив обо всем наедине, отец и мать объявили решительное намерение ехать в Чурасово немедленно, как только ляжет зимний путь. В тот же день отданы были приказания всем кому следует, чтоб все было готово и чтоб сами готовились в дорогу. Отъезд наш зависел от времени, когда станет Волга, о чем должны были немедленно уведомить нас из Вишенки. Татьяна Степановна осталась твердою в своем намерении не ехать в Чурасово и жить до нашего возвращения у сестрицы своей Александры Степановны. Мать не уговаривала тетюшку ехать с нами и при мне сказала отцу, что сестрице будет там несвободно и скучно. В тот же день написали Александре Степановне об этом решении. Татьяну Степановну смущало только одно: как ей расстаться с своим амбаром, то есть со всем тем, чем он был нагружен. Она высказала свои опасения отцу, говоря, что боится, как бы без господ в ночное время не подломали амбара и не украли бы все ее добро, которое она «сгношила сначала по милости покойного батюшки и матушки, а потом по милости братца и сестрицы». Она просила у моего отца лошадей, чтоб хоть кое-что получше заблаговременно перевезти в Каратаевку. Отец считал это ненужным, но согласился на убедительные просьбы своей сестры. Я после слышал, как перешептывались Евсеич с Парашей и смеялись потихоньку над страхом моей тетки.

Снег выпадал постепенно почти каждую ночь, и каждое утро была отличная пороша. Отец очень любил сходить с ружьем по следу русаков и охотился иногда за ними; но, к сожалению, он не брал меня с собою, говоря, что для меня это будет утомительно и что я буду ему мешать. Зато, чтоб утешить меня, он приказал Танайченку верхом объехать русака и взял меня с собою, чтоб при мне поймать зайца тенетами. Часа за два до обеда мы с отцом в санках приехали к верховью пруда. «Вот где лежит русак, Сережа!» — сказал мой отец и указал на гриву желтого камыша, проросшую кустами и примыкавшую к крутцу. «Русак

побежит в гору, и потому все это место обметано тенетами.

Видишь их, как они висят на кустиках? Ну, смотри же, что будут делать».

Народу было с нами человек двадцать; одни зашли сзади, а другие с боков и, таким образом подвигаясь вперед полукругом, принялись шуметь, кричать и хлестать холудинами по камышу. В одну минуту вылетел русак, как стрела покати́л в гору, ударился в тенета, вынес их вперед на себе с сажень, увязил голову и лапки, запутался и завертелся в сетке. Люди кричали и бежали со всех ног к попавшему зайцу, я также кричал во всю мочь и бежал изо всех сил. Что за красавец был этот старый матерой русак! Черные кончики ушей, черный хвостик, желтоватая грудь и передние ноги, и пестрый в завитках ремень по спине... я задыхался от охватившего меня восторга, сам не понимая его причины!..

И от всего этого надобно было уехать, чтоб жить целую зиму в неприятном мне Чурасове, где не нравились мне многие из постоянных гостей, где должно избегать встречи с томошной противной прислугой и где все-таки надо будет сидеть по большей части в известных наших, уже опостылевших мне, комнатах; да и с матерью придется гораздо реже быть вместе. Милой моей сестрице также не хотелось ехать в Чурасово, хотя собственно для нее тамошнее житье представляло уже ту выгоду, что мы с нею бывали там почти неразлучны, а она так нежно любила меня, что в моем присутствии всегда была совершенно довольна и очень весела.

Прошло сорок дней, и пришло время поминок по бабушке, называемых в народе «сорочинами». Несмотря на то что не было ни тележного, ни санного пути, потому что снегу мало лежало на дороге, превратившейся в мерзлые кочки грязи, родные накануне съехались в Багрово. 9-го ноября поутру все, кроме нас, маленьких детей, ездили в Мордовский Бугуруслан, слушали заупокойную обедню и отслужили панихиду на могиле бабушки. Потом воротились, кушали чай и кофе, потом обед, за которым происходило все точно то же, что я уже рассказывал не один раз: гости пили, ели, плакали, поминали и – разъехались.

Вот уже выпал довольно глубокий снег и пошли сильные морозы, которые начали постукивать в стены нашего дома, и уже Александра Степановна приехала за Татьяной Степановной. Наконец получили известие, что Волга стала и что чрез нее потянулись обозы. Назначили день отъезда; подвезли к крыльцу возок, в котором должны были поместиться: я, сестрица с Парашей и братец с своей бывшей кормилицей Матреной, которая, перестав его кормить, поступила к нему в няньки. Подвезли и кибитку для отца и матери; настрапали в дорогу разного кушанья, уложились, и 21 ноября заскрипели, завизжали полозья, и мы тронулись в путь. Мы с матерью терпеть не могли этого скрипа.

Я все время плакал, сидя в возке. Тетушка Татьяна Степановна должна была в тот же день уехать вместе с Александрой Степановной в Каратаевку.

Переезд из Багрова в Чурасово совершился благополучно и скоро. Первый зимний путь, если снег выпал ровно, при тихой погоде, если он достаточно покрывает все неровности дороги и в то же время так умеренно глубок, что не мешает ездить тройками в ряд, – бывает у нас на Руси великолепно хорош.

Именно таков он был тогда. Мы ехали так скоро на своих лошадях, как никогда не езжали. Скрип полозьев был мало слышен от скорости езды и мелкости снега, и мы с матерью во всю дорогу почти не чувствовали противной тошноты.

В Вишенках мы только покормили лошадей. Отец, разумеется, повидался со старостой, обо всем расспросил и все записал, чтоб доложить Прасковье Ивановне. Зимний вид Никольского замка, или дворца напомнил мне великолепное угощение гостеприимного хозяина, и хотя тому прошло только несколько месяцев, но мне казалось уже смешным мое тогдашнее изумление и увлечение... Помещика Дурасова не было в Никольском. Мы остановились у одного зажиточного крестьянина. Отец мой любил всегда разговаривать с хозяевами домов, в которых мы кормили или ночевали, а я любил слушать их разговоры. Мать иногда скучала ими; но в этот раз попался нам хозяин – необыкновенно умный мужик, который своими рассказами о барине всех нас очень занял и очень смешил мою мать. Он как будто хвалил своего господина и в то же время выставлял его в самом смешном виде. Речь

зашла о великолепных свиньях, из которых одна умерла. «То-то горе-то у нас было, – говорил хозяин, – чушка-то что ни лучшая сдохла. Барин у нас, дай ему бог много лет здравствовать, добрый, милосливый, до всякого скота жалосливый, так печаловался, что уехал из Никольского; уж и мы ему не взмилились. Оно и точно так: нас-то у него много, а чушек-то всего было две, и те из-за моря, а мы доморощина. А добрый барин; уж сказать нельзя, какой добрый, да и затейник! У нас на выезде из села было два колодца, вода преотменная, родниковая, холодная. Мужики, выезжая в поле, завсегда ею пользовались. Так он приказал над каждым колодцем по деревянной девке поставить, как есть одетые в кумашные сарафаны, подпоясаны золотым позументом, только босые; одной ногой стоит на колодце, а другую подняла, ровно прыгнуть хочет. Ну, всяк, кто ни едет, и конный и пеший, остановится и заглядится. Только крестьяне-то воду из колодцев брать перестали: говорят, что непригоже».

Словоохотливый хозяин долго и много говорил в этом роде; многого я не понимал, но мать говорила, что все было очень умно и зло. Впрочем, и того, что я понял, было достаточно для меня; я вывел заключение и сделал новое открытие: крестьянин насмеялся над барином, а я привык думать, что крестьяне смотрят на своих господ с благоговением и все их поступки и слова считают разумными. Я решился обратить особенное внимание на все разговоры Евсеича с Парашей и замечать, не смеются ли они над нами, говоря нам в глаза разные похвалы и целуя наши ручки?.. Я сообщил мое намерение матери.

Она улыбнулась и сказала: «Зачем тебе это знать? Параша, особенно Евсеич служат нам очень усердно, а что они про нас думают – я и знать не хочу». Но мне было очень любопытно это узнать, и я не оставил своего намерения.

На другой день переехали мы по гладкому, как зеркало, льду страшную для меня Волгу. Она даже и в этом виде меня пугала. В этот год Волга стала очень чисто, наголо, как говорится. Снегу было мало, снежных буранов тоже, а потому мало шло по реке льдин и так называемого сала, то есть снега, пропитанного водою. Одни морозы сковали поверхность реки, и сквозь прозрачный лед было видно, как бежит вода, как она завертывается кругами и как скачут иногда по ней белые пузыри.⁶⁰ Признаюсь, я не мог смотреть без содрогания из моего окошечка на это страшное движение огромной водяной глубины, по которой скакали наши лошади. Вдруг увидел я в стороне, недалеко от наезженной дороги, что-то похожее на длинную прорубь, которая дымилась.

Я пришел в изумление и упросил Парашу посмотреть и растолковать мне. Параша взглянула и со смехом сказала: «Это полынья. Тут вода не мерзнет. Это Волга дышит, оттого и пар валит; а чтоб ночью кто-нибудь не ввалился, по краям хворост накидан». Как ни любопытна была для меня эта новость, но я думал только об одном: что мы того и гляди обязательно провалимся и нырнем под лед. Страх одолел меня, и я прибегнул к обыкновенному моему успокоительному средству, то есть сильно зажмурил глаза и открыл их уже на другом берегу Волги.

В Симбирске получили мы известие, что Прасковья Ивановна не совсем здорова и ждет не дождется нас. На другой день, в пятые сутки по выезде из Багрова, в самый полдень, засветились перед нами четыре креста чурасовских церквей и колоколен.

Прасковья Ивановна так нам обрадовалась, что я и пересказать не умею.

Она забыла свое нездоровье и не вышла, а выбежала даже в лакейскую. Я никогда не видывал у ней такого веселого лица! Она крепко и долго обнимала моего отца и особенно мать; даже нас всех перецеловала, чего никогда не делывала, а всегда только давала целовать нам руку. «А, и чернушка здесь! – говорила она смеясь. – Да как похорошел! Откуда взялся у него такой нос?

Ну, здравствуйте, заволжские помещики! Как поживают ваши друзья и соседи, мордва

⁶⁰ Редко бывает, чтоб большая река становилась без снега. Я один раз только видел Волгу в таком виде, в каком описывает ее молодой Багров. (Примеч. автора.)

и чуваши? Милости прошу, друзья мои! А Татьяны нет? Одичала и уперлась. Верно, уехала в Каратаевку? Ну, вот как каратаевский барин под пьяную руку ее поколотит, так она и пожалеет, что не приехала в Чурасово.

Ну, слава богу, насилу вас дождалась. Пойдемте прямо в гостиную».

В зале и гостиной приветливо встретили нас неизменные гости.

Мы опять разместились по знакомым нам углам и опять зажили прежнюю жизнью. Только Прасковья Ивановна стала несравненно ласковее и добрее, как мне казалось. Для всех было очевидно, что она горячо привязалась к моей матери и ко всем нам. Она не знала, как угостить нас и чем употчевать. Но в то же время я заметил, что Дарья Васильевна и Александра Ивановна Ковригина не так нам обрадовались, как в прежние приезды. В мужской и женской прислуге еще было заметнее, что они просто нам не рады. Я сообщил мое замечание матери, но она отвечала мне, что это совершенный вздор и что мне даже не следует этого замечать. Я, однако, не удовольствовался таким объяснением и повторил мое замечание Евсеичу в присутствии Параша, и он сказал мне: «Да, видно, надоели. Больно часто стали ездить». Параша прибавила: «Других гостей здесь не боятся, а вас опасаются, чтобы вы Прасковье Ивановне чего-нибудь не пересказали». Я внутренне убедился, что это совершенно справедливо и что мать не хотела сказать мне правды.

Миницкие не замедлили приехать и привезти с собою двух старших дочерей. Мы с сестрицей любили их, очень им обрадовались, и у нас опять составились и прежние игры и прежние чтения. С утра до самого вечера мы все время были неразлучны с моей сестрой, потому все комнатные наши занятия и забавы были у нас общие.

Что касается до вредного влияния на нас чурасовской лакейской и девичьей, то моя мать могла быть теперь на этот счет совершенно спокойна: вся прислуга как будто сговорилась избегать нас и ничего при нас не говорить. Даже Иванушка-буфетчик перестал при нас подходить к Евсеичу и болтать с ним, как бывало прежде, и Евсеич, добродушно смеясь, однажды сказал мне: «Вот так-то лучше! Стали нас побаиваться!»

Прасковья Ивановна вскоре совершенно выздоровела от небольшой простуды. Рождество Христово было у ней храмовой праздник в ее новой, самой ею выстроенной церкви, и она праздновала этот день со всевозможною деревенскою пышностью. Гостей наехало столько, что в обоих флигелях негде было помещаться; некоторые мелкопоместные и бессемейные соседи жили даже по крестьянским избам. Все говорили, что никогда не бывало такого съезда, как в этот год. Я этого не утверждаю, но знаю, что в этот раз еще более надоели мне гости. Отца с матерью я почти не видел, и только дружба с милой моей сестрицей, выраставшая не по дням, а по часам, утешала меня в этом скучном и как-то тяжелом для нас Чурасове. Сестра становилась уже моим настоящим другом, с которым мог я делиться всеми моими детскими чувствами и мыслями.

Так прошел декабрь и наступил новый год, который я встретил с каким-то особенным чувством и ожиданием. Вдруг на другой день мать говорит мне: «Сережа, хочешь ехать со мной в Казань? Мы едем туда с отцом на две недели». Я обрадовался выезду из Чурасова и отвечал, что очень хочу. «Ну, так собирайся». Я обещал собраться в полчаса, но вдруг вспомнил о сестрице и спросил: «А сестрица поедет с нами?» Мать отвечала, что она останется в Чурасове. Это меня огорчило. Когда же я сказал сестрице о моем отъезде, она принялась горько плакать. Хотя я был горячо привязан к матери и не привык расставаться с нею, но горесть сестрицы так глубоко меня потрясла, что я, не задумавшись, побежал к матери и стал ее просить оставить меня в Чурасове. Мать удивилась, узнала причину такой быстрой перемены, обняла меня, поцеловала, но сказала, что ни под каким видом не оставит, что мы проездим всего две недели и что сестрица скоро перестанет плакать. Я печально воротился в детскую. Бедная моя сестрица плакала навзрыд. Ей предстояло новое горе: мать брала с собою Парашу, а сестрицу мою Прасковья Ивановна переводила жить к себе в спальню и поручала за нею ходить своей любимой горничной, Акулине Борисовне, женщине очень скромной, а также очень заботливой.

Неожиданную поездку в Казань устроила сама Прасковья Ивановна. Мать еще прежде

не один раз говорила, что она хотела бы побывать в Казани и помолиться тамошним чудотворцам; что она не видывала мощей и очень бы желала к ним приложиться; что ей хотелось бы посмотреть и послушать архиерейской службы. Прасковья Ивановна, казалось, и не заметила этих слов.

Когда стало приближаться крещение, которое было в то же время днем рождения моей матери, то мать сказала один раз, разговаривая с Александрой Ивановной в присутствии Прасковьи Ивановны, которая играла с моим отцом в пикет, что очень бы желала на шестое число куда-нибудь уехать, хоть в Старое Багрово.

«Я терпеть не могу дня своего рождения, – прибавила мать; – а у вас будет куча гостей; принимать от них поздравления и желания всякого благополучия и всех благ земных – это для меня наказание божие». Вдруг Прасковья Ивановна обратилась к матери моей и сказала: «Послушай, Софья Николавна, что я вздумала. Тебе хотелось помолиться казанским чудотворцам, ты не любишь дня своего рождения (я и сама не люблю моего) – чего же лучше? Поезжай в Казань с Алексеем Степанычем. Вы ведь все равно больше двух недель не проедите: до Казани всего два девяноста».

Мать очень охотно приняла такое предложение, и 3 января, в прекрасной повозке со стеклами, которую дала нам Прасковья Ивановна, мы уже скакали в Казань. Вместо радости, что я хоть на время уезжаю из Чурасова и увижу новый богатый город, о котором много слышался, я чувствовал, что сердце мое разрывалось от горя.

Милая моя сестрица, вся в слезах, с покрасневшими глазами, тоскующая по своему братцу и по своей няне, но безмолвно покоряющаяся своей судьбе, беспрестанно представлялась мне, и я долго сам потихоньку плакал, не обращая внимания на то, что вокруг меня происходило, и, против моего обыкновения, не мечтая о том, что ожидало меня впереди.

А впереди ожидало меня начало важнейшего события в моей жизни...

х х х

Здесь прекращается повествование Багрова-внука о своем детстве. Он утверждает, что дальнейшие рассказы относятся уже не к детству его, а к отрочеству.

С.А.